

НОВЫЙ МИР

(8-й ГОД ИЗДАНИЯ).

Под редакцией:

И. М. ГРОНСКОГО,
А. Г. МАЛЫШКИНА,
В. П. ПОЛОНСКОГО
(ответ. редактор),
В. И. СОЛОВЬЕВА.

В 1932 ГОДУ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

ФЕДОР ГЛАДКОВ

Энергия

роман

И. БАБЕЛЬ

Рассказы I. Иван-да-Марья II. У Троицы
III. Медь IV. Весна V. Адриан Маринец

К. ГОРБУНОВ

Камень

повесть

П. ПАВЛЕНКО

Баррикады

роман

В. СТАВСКИЙ

Путь Анки

рассказ

П. СЛЕТОВ

Широкая падь

роман

АЛ. ТОЛСТОЙ

I. Петр Первый II. Ижорский завод

роман, 2-я часть

повесть

Юрий ОЛЕША

I. Смерть Занда

пьеса

II. Рассказы

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Цусима

главы из романа

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Свидание

роман

АРТЕМ ВЕСЕЛЫИ

Россия, кровью умытая

последние главы романа

Н. АСЕЕВ

Пятилетка

повесть

К. ФИНН

Преображение

повесть

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Путешествие в Армению

повесть

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ

В английском плену

воспоминания

Г. НИКИФОРОВ

Творчество

роман

и ряд новых произведений:

Н. АСЕЕВА, Э. БАГРИЦКОГО, К. БОЛЬШАКОВА, С. ГЕХТА, М. ЗЕНКЕВИЧА, Л. ЛЕОНОВА, ВЛ. ЛИДИНА, А. МАЛЫШКИНА, О. МАНДЕЛЬШТАМА, С. МАРКОВА, П. НИЗОВОГО, Н. НИКАНДРОВА, Л. НИКУЛИНА, Б. ПАСТЕРНАКА, АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА, М. ПРИШВИНА, В. РЯХОВСКОГО, В. САЯНОВА, М. СВЕТЛОВА, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, С. СПАСКОГО, Н. ТИХОНОВА, К. ФИННА, П. ШИРЯЕВА и др.

Статьи и очерки:

А. АГРАНОВСКОГО, АДАЛИС, А. АЛЕШИНА, Л. АЛПАТОВА, Н. АШУКИНА, Н. БЕЛЬЧИКОВА, Д. БЛАГОГО, С. БОРИСОВА, П. ВОРОБЬЕВА, Г. ГАЙДОВСКОГО, С. ГАЛЬПЕРИНА, Д. ГАТУЕВА, АРК. ГЛАГОЛЕВА, Б. ГЛИНКИ, Е. ГНЕДИНА, И. ГРОНСКОГО, М. ГРЮНЕР, Б. ГУБЕРА, С. ДАЛИНА, Ю. ДАНИЛИНА, А. ДЕРМАНА, А. ЕНУКИДЗЕ, Н. ЗАМОШКИНА, К. ЗЕЛИНСКОГО, М. ЗЕНКЕВИЧА, М. ЗИНГЕРА, ИБРАГИМА, А. ИВИНА, Н. ИЗГОНОВА, С. ИНГУЛОВА, ЕВГ. КНИПОВИЧ, М. И. КАЛИНИНА, В. КОЗИНА, Д. КРЕПТЮКОВА, Е. ЛАННА, ВС. ЛЕБЕДЕВА, Г. ЛЕЛЕВИЧА, К. ЛОКСА, ВЛ. ЛОСЬЕВА, А. ЛУНАЧАРСКОГО, В. Е. ЛЬВОВА, ИГ. МАЛЕЕВА, П. МАРКОВА, С. МАРКОВА, Н. МЕЩЕРЯКОВА, Х.-М. МУГУЕВА, ИНН. ОКСЕНОВА, В. ОСИНСКОГО, П. ПАРФЕНОВА, АЛ. ПЛАТОНОВА, АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА, Н. ПИКСАНОВА, Н. А. ПОДКОПАЕВА, ВЯЧ. ПОЛОНСКОГО, И. ПОСТУПАЛЬСКОГО, Н. ПРЯНИШНИКОВА, М. ПРИШВИНА, К. РАДЕКА, А. РАКИТНИКОВА, А. РАШКОВСКОЙ, Ф. РИЗА-ЗАДЕ, В. РЯХОВСКОГО, И. СЕРГЕЕВСКОГО, НИК. СМИРНОВА, А. СМИРНОВА-КУТАЧЕСКОГО, В. И. СОЛОВЬЕВА, Д. СТОНОВА, И. ТАЙГИНА, Н. ТАРУССКОГО, Б. ТЕРНОВЦА, К. ТИХОНОВОЙ, Д. ФИБИХА, Я. ФРИДА, И. ХВОЙНИКА, М. ЦЯВЛОВСКОГО, А. ЧИЧЕРИНА, Л. ЮДКЕВИЧА, В. ЮРЕЗАНСКОГО, М. ШАГИНЯН, М. ЭГАРТА, А. ЯКОВЛЕВА и других.

Литературный архив. Наука и техника

Книжное обозрение

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА «НОВЫЙ МИР» НА 1932 ГОД:

1 год — **10 р. 80 к.**

9 мес. — 8 р. 10 к.
6 мес. — 5 р. 40 к.

3 мес. — 2 р. 70 к.
1 мес. — 90 к.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 1 р. 10 к.

Подписку сдавайте исключительно **ПОЧТЕ**, организатору под иски, потребкооперации, письмомоску

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ь

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 1

СТАТ-формат В/5 178×256.

Уполн. Глав. 11769 Объем 18 печ. лист. по 64.000 знаков. Техн. ред. В. В. Попов. В. 1640
Типография им. И. Н. Островцова-Степанова «Известий ЦИК ООН и БЦИС», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Владимир ЛУГОВСКОЙ. — Англия, стихотворение	7
2. Артем ВЕСЕЛЫЙ. — Россия, кровью умытая, главы из романа, продолжение	9
3. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Море, люди, дни, из книги «Полход «Седова», окончание, с иллюстрациями.	20
4. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение.	41
5. Ал. РАКИТНИКОВ. — БЫК, рассказ.	52
6. Ник. ТАРУССКИЙ. — Два стихотворения.	67
7. Леонид ГРОССМАН. — Апрельские бунтари, главы из романа о Достоевском.	68
8. Илья СЕЛЬВИНСКИЙ. — Баллада о барабанщике, стихотворение.	107

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Иг. МАЛЕЕВ. — Ковчег, очерки о людях саратовского Комбайнстроя.	108
10. Петр ВОРОБЬЕВ. — Парафин белый, очерк.	120

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

11. Г. ГРИГОРОВ. — Гегельянство В. Г. Белинского	128
12. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Проблемы марксистского литературоведения, статья третья.	141
13. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — О повести Митрофанова.	170
14. Н. ЗАМОШКИН. — О смежных и касательных сторонах диалектико-материалистического метода в литературе, заметки.	175
15. Ю. ДАНИЛИН. — «Красный человек», к столетию первого японского восстания.	194

ЗА РУБЕЖОМ:

16. С. ГАЛЬПЕРИН. — Под национальной этикеткой (после английских выборов).	202
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Борис АНИБАЛ. — Николай Москвин «Гибель реального»	206
Ю. ДОБРАНОВ. — Ольга Форш «Сумасшедший корабль».	206
Я. БУЧИЛОВ. — Н. Юргин «Перпендикуляр».	207
Борис ГРОССМАН. — М. Галяу «Муть».	208
К. ЛОКС. — Н. Ашукин «Литературная мозаика».	208

В ДВЕНАДЦАТОЙ (ДЕКАБРЬСКОЙ) КНИГЕ «НОВОГО МИРА» БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. Россия, кровью умытая, главы из романа. — БОРИС ПАСТЕРНАК. Кавказские стихи. — ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ. Чужой век, рассказ. — С. ЛЕВМАН. Закон жертвы, рассказ. — АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ. Истина, стихотворение. — КОНСТАНТИН ФИНН. Окраина, рассказ. — АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ. Главы из «Повести о братьях Тургеневых». М. СВЕТЛОВ. Германия, стихотворение. — С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. Инвалидный мерин, рассказ. — АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. Черное золото, роман. СЕМЕН ОЛЕНДЕР. Испанская песнь, стихотворение. ЛЮДИ И ФАКТЫ. С. БОРИСОВ. В горах Тянь-Шаня, очерк. Н. РУНОВА. Наши женщины, очерк. А. Н. ЧИЧЕРИН. Люди на ходу, очерк. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. АРК. ГЛАГОЛЕВ. Обзор журнала «Красная Новь». М. ЗЕНКЕВИЧ. О новинках английской и американской литературы. ИНН. ОКСЕНОВ. О «Прологе» В. Каверина. ИЗ ПРОШЛОГО. НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ О СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА. ЗА РУБЕЖОМ.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Англия

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

Я знал тебя розовой и полногрудой,
в шорохе школьных хрестоматий.

Ты была усеяна
листьями терновника.
ветками омелы
и лаврами старины.

Мы с детства помним твое лицо—
лицо пожилой
богоматери, —

Очень привлекательное
со стороны.

На кожаных скамьях парламента
покачивались виги и тории.

Прошлое было юным,
а будущее — седым.

И на отечные ноги
глухой королевы Виктории
Кадильница фабрик и верфей
стлала угрюмый дым.

Приказом,
тупым и коротким,
на мачтах,
высоких и острых,

Горели флажки сигнала:

«Взять
или умереть!..»

Горький запах колоний
тек в мясистые ноздри

Англии,
Англии,
Англии —

Владычицы морей.

И золото,
золото,
золото —

желтая песня золота.

Белая песня пены,
синяя песня рельс,

Будущее было мудро,
прошлое было молодо,

И машину времени
мастерил Уэллс.

Я знал тебя розовой и полногрудой,
укрытая ангельской сенью,
На мускулистых колоннах биржи,
в облаке вечных рент.

От грохота барабанов
Армии спасенья

Пятились проститутки,
и выл Ист-Энд.

— Это длинные входы гаваней,
Это рев городов до утра,
Это колониальное плаванье,
Это спящие башни дредноута —

Мы знаем тебя худой и зловещей,
в синих подпалинах тлена —
Седой маяк тревоги
на океанском ветру.

В час,
когда мчат по конторам
тонны бумажной пены,

В час,
когда ставка бита
и нужно менять игру.

На катафалке скромном
давно уже и бесстрастно

Гордые доминионы
дружбу свою погребли.

Потные лапы кризиса
покрыли ржавчиной красной

Самую душу империи —
торговые корабли.

Склерозные жилы Сити
услышали в цокоте пульса,

Как, взметываясь и покачиваясь,
идет мировой тайфун, —

Это вставали
на стачку
манчестерцы и ливерпульцы.

Это по лестницам банков
летел, спотыкаясь,

фунт,

И флот, выходя на маневры, —
суровое, серое чудо, —

Вернулся в военные гавани,
как шхуна перед грозой:

Сорок две тысячи тонн
сверхдредноута «Худа»,

Крича,
Топоча,
бузили

лихой матросской бузой.

Мы знаем тебя пасмурной и зловещей
у двери времени большого.

Это время — лучший текстильщик.

Кружится веретено,

Двусмысленная улыбка
старого Бернарда Шоу

Судорожно расплывается
над падающей страной.

Близится время сражений,
когда, сумрачной жажды полная.

Ты двинешь тела линкоров,
чтобы родиться

или умереть,

И красный квадрат восстанья
или океанские волны

Взлетят через башни и рубки
на тонкие плечи рей.

Глазго схватит винтовки,

Ирландия ответит тем же,

Индия вызовет Африку

на боевой труд.

Белые иглы выстрелов

помчатся над телом Темзы,

Время рванется вперед,

Время взорвется.

Тут

Начало новой Англии.

Россия, кровью умытая

Главы из романа

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

(Продолжение¹)

В России революция, ото всего-то света поднялась пыль столбом.

На перевале

Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести: ...Большевики берут верх по всей России.

...На Дону — война.

...На Украине — война.

...В Новороссийске — советская власть.

...По Ставрополю народным собранием поставлена советская власть.

...Казачи за народ.

...Казачи против народа.

...Под станцией Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.

...В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.

...Ростов взят красными.

...В станице Крымской, на съезде представителей революционных станиц, избран кубанский областной военно-революционный комитет.

Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до благовещения прихватывали заморозки, перепалал снежок, но уже близилась пора пашни и зазвонисто, горланили петухи; под цветнями на пригреве босые ребятишки

уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.

Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузницах день и ночь кипела работа, над станицей плыла и таяла в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.

У кузниц и на базаре, и в церковной ограде — всюду, где сходились люди, — неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.

Фронтвики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили — какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от азиатцев привычке строгали ножами палочки да, поглядывая друг на друга, качали головами. Завернуло было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, обляял их последними словами и вытолкал в шею — не вашего, мол, тут ума дело.

— Я так думаю, надо нам самый зуб выдернуть — арестовать атаманов, такую-сякую его мать.

— Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана — казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие...

¹ См. «Новый мир», кн. 10 с. г.

— Ху, дурак,—осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. — Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его нехитро, а когд поставим хозяином станицы?

— Вот Емельку, — смеялся под'есаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. — За такой головой жить не тужить.

Смущенный Пересвет, как бугай, молтал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:

— Брысь под лавку.

— Он и свинье замесить не умеет.

— Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял... Послушаешь — уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.

— И христос плотником был,—вставил благообразный мужик Потапов, вжак секты евангелистов.

— Быть того не мoгёт, — отмахнулся Сотниченко. — Какой там плотник? Может статья, был он подрядчиком или кем... Но чтоб плотником — руби голову, не поверю.

Хохот пошел такой, будто поленница дров развалилась.

Сбитый с позиции Сотниченко не унился:

— Я — природный казак. Два георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того во век не будет.

Взяло Максима за сердце, опрокинул ся на под'есаула:

— Во, во, братику: генеральская палка еще не доже вам прискучила... Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах—и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-соброром будем за ихними делами смотреть. Выборный комиссар, будь он хоть чорт, — весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать — по шапке его, выбирай другого...

— Господина Григорова просить будем, говорок.

— Он и говорок, да смирный, а дело.— Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел

ему в глаза,—дело к войне, нам смрных не надо.

Григоров порывисто вскакивал и говорил, говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и условий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но, когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики... Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением набивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенснэ. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.

Когда наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрителный шопот:

— Башка...

— Это действительно... Говорит, как по книжке читает.

— Господи, твоя воля, что-то с нами будет? — мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, пооосиюу золотистой шерстью грудь, подмышкккк и, редко расставляя слова, хрипел:—По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.

Максим на него:

— Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами устраивать сучью свадьбу. Раздергивать их на все концы, и никакая гайка.

— Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да—не балуй!—хвост короток.

— Куда мне, я малограмотный... Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересуется меня, что у нас получится?.. Ночей не сплю, думаю.

Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к

выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:

— Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу... А тут— адов смрад, хула, вертеп разбойников... Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас... Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли...

Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствовавшие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?

Максим долбил свое:

— Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю...

— Да, время не ждет, пора бы и делить.

— А чего ее делить? Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.

— Грех между нами будет.

— Старость придет, замолим.

— Умно сказал: «свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ не мало— три сына, племян, дед, зять да сам большой... Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.

— А ты чужой не считай, мозги свихнешь... Гоня аренду по триста целкашей за десятину и вваривай, на сколько сила взребет.

— Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.

— Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь. Кому надо, придут да еще и в ножки мне поклонятся.

— Ой, Алексей Миронович, не протчитайся.

— И чего ты, Игнат, к нему присваиваешься? — вступил в разговор инвалид Савка. — Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.

— Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим. как-нибудь и сами справимся.

— Разувайся, скидавай штаны и ложись спать... Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой поря-

док не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанями, братства. Вся сила в нас, что захотим, то и сделаем.

— Погавкай, собака хромяя.

— Это я — собака?

— Нет, не ты, а твоя милость.

Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:

— Я ему голову отвинчу...

— Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят...

— Провались она в преисподню, эта самая война... Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение — жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полная хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.

Казак Загинайло, дослужившийся за войну до чина подхорунжего, щелкал себя по щегольскому сапогу плетью и бойко рассказывал о своем побеге из турецкого плена.

— ...Иду неделю, иду вторую, иду голодный... Горы, снега, все тропы и дороги позамело. позамело. Иду. Орудия бухают. Ну, думаю, едрена мать, фронт недалече. Сердце радостью обилось. Иду. А ноги уж не шагают. В ущельи речка гремит, над речкой аул. И до чего мне кушать захотелось, ну крутит кишки, как клещами. Пропадать — так пропадать, что будет, а глядишь, чего и пожевать достану. Дождался ночи, спускаюсь... Ни огонька, ни визгу... Захожу в саклю — пусто, в другую — пусто. Весь аул облазил и, вот тебе, ни живой души, ни крохоточки хлеба. Разложил огонек, и так чего-то мне неудобно. Дай переобуюсь. Не тут-то было, вмерзли ноги в сапоги, хоть отрубь да выкин. Сидеть у огня, думаю, не годится. А пушки, ну, совсем близко грохочут. Мне умирать не любопытно. Мне любопытно за родину вернуться. Помолился пресвятой богородице и кое-кому из самых главных угодников и — ходу. Иду. Стоит под лунной гора крута да высока, — поглядеть, заламя голову, — и втемяшилось мне забраться на нее. Оттуда, смекаю, и позицию, и свой курень на Кубани увижу: така высочай-

на гора. Лез-лез, лез-лез, снега подо мной подломились, гу-гу, обвал... Закружило, завертело меня и обратно под аул в речку кинуло. Вылез, отряхнулся, как пудель, руки в крови, морда в крови, на коленках и локтях мясо до мослов ободрано. Что тут будешь делать? Посушил на ветру лохмотья и опять на гору... Лез-лез, лез-лез, снова дрогнули снега, и снова меня в речку совлекло. Хоть плачь, хоть смейся. Больше суток я на ту проклятую гору царапался и все-таки влез, влез на самую вершину... Мать честная! Вот они, шагнуть раз, турецкие окопы. Под горой, чуть видно, наша позиция. На турок мне глядеть не любопытно, любопытно мне, как бы поскорее к своим. Поднимаюсь во весь рост и кричу: «Братцы!» А до братцев верст пяток с гаком, где ж там услышать? Турки загалдела и ко мне. Шалишь, кардаш, теперь я научился с гор кататься. Перекрестился, подвернул под себя потуже полы шинели и в свою сторону с обрыва — бух! Крики, стрельба, снежная пыль надо мной столбом. Как летел до своих окопов, не помню. Очнулся аж в тифлисском лазарете...

— Лихо.

— Бог не без милости, казак не без счастья.

— И язык турецкий, вы господин подхорунжий, заучили? — скрив почтительную мину, спросил Захар Догонай.

— Не так чтобы очень, разве выпросить или купить чего, а украсть и так можно.

Дружно засмеялись.

— Было дело.

— Да, почудили на свой пай, — сказал гвардеец Серега Остроухов. — Не знаю как кого, а меня ионе на войну и арканом не затынешь. Погеройствовали, сватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.

— Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.

— Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а звать не миновать.

— Горюшко-головушка.

— До стены дошли, — говорит Максим, — стену ломать надо. С кого на-

чинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?

Мысль рождалась туго.

Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые, хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.

Жил еще в станице матерой анархист Степан Абрамович Лихаренко. Изгнанный из Киевского университета за вольнодумство, он отважно кинулся в стремительный поток событий 1905 года. Подпольные кружки, массовки, уличные демонстрации, — сколько во всем для молодого было гремущей и блещущей всеми красками поэзии. Не увлекли его ни половинчатая эсеровская программа, ни подслащенная философия либералов, ни марксистская теория и тактика. Сердце жаждало чего-то яркого и необычайного. Сошелся с анархистами — полный простор. В пороховом дыму и в зареве несбыточных мечтаний летела сама дерзость: экссы, взрывы, налеты, разгром помещичьих экономий. Ростов, Одесса, Николаев, Екатеринослав, Крым. В севастопольском восстании Лихаренко потерял руку, был захвачен и — шесть страшных лет орловского централа: карцер, розги, муштра, зуботычины, голодовка, могильная тишина и в тишине густой мат тюремщиков и лютые вопли засекаемых насмерть каторжан. Потом этапы, Сибирь, но с дороги посчастливилось бежать. Оглушили беглеца вокзалы, города, вольный ветер, большое небо. Каторга не сломила его неукротимой воли, но сила сдала — начал харкать кровью. Тщетно искал боевых соратников: иные были давно казнены, иные еще гремели кандалами, немало было и таких, что упятились под серое знамя обывательщины. В одном из одесских притонов встретил налетчика первой руки Сашку Громобоя, с которым судьба еще раньше свела его в тюрьме. Разговоры были коротки. Вскоре они едовоем подняли на штурм уездное каначейство. Сашка без лишних слов отказался от своей доли. Лихаренко с большими деньгами и с паспортом на имя инженера Максимовского приехал перед войной на Кубань. Станичное начальство не тревожило залетного гостя, который жил тихо и целыми неделями жи-

куда не выходил из дому. Беспокойный ум его метался от учений основоположников анархизма к священным текстам старых раскольничьих книг и от путаницы модных течений философии к химии. В его рабочей комнате два стола, голки, подоконники и стулья были заставлены колбами, ретортами и всевозможными химическими приборами. Всюду в беспорядке валялись книги.

Реденько к нему заглядывал Григоров, смутно угадывающий в мнимом инженере что-то такое... Но тот был неразговорчив. Только один раз учитель застал его в страшно возбужденном состоянии. Диковатый и до глаз заросший седым волосом Степан Абрамович бежал по комнате и глуховато кричал:

— Безумцы, они тешатся своими бреднями, но я докажу... Народы, классы, пролетариат — все болтовня... Многовековая история борьбы есть не более как пошлый фарс: владыки сменяют владык и деспоты деспотов, а человечество, как было, так и остается стадом. Восстания, революции... Кнутом палача или грошовыми подачками стадо приводится в покорность и снова загоняется в свой хлев. Достижения науки, равно как и всякая вещь, сделанная руками фабричного раба, служат укреплением могущества паразитов... Только гений может вывести человечество на блистательный путь действительно новой жизни... — Он подал Григорову увесистую рукопись, которая была озаглавлена «Химическое равновесие в разнородной среде», и с еще большим жаром продолжал: — Проблема о непостоянстве величин действующей массы твердого тела разрешена мною совершенно по-новому.

Григоров полистал испещренную замысловатыми формулами рукопись и в большом смущении положил ее на стол:

— Простите... Я не специалист.

— Ага. Тогда я продемонстрирую опыт. — Степан Абрамович извлек из шкафа мяукающего котенка, посадил его в эмалированное блюдо и дал с'есть ломоть колбасы, посыпанный каким-то зеленоватым порошком: смерть последовала мгновенно, потянуло запахом разлагающегося мяса, распались связки костей, и не более, как через две минуты,

на блюде чернела щепотка вещества, похожего на пепел,—это все, что осталось от котенка. И само блюдо хрупнуло и развалилось в руках химика.

Ошеломленный Григоров ушел. Впрочем исчезновения собеседника Степан Абрамович и не заметил. Размахивая рукой, он продолжал бегать по комнате и говорил уже сам с собой:

— Ускоренный процесс разложения света, звука, материи... Еще одно усилие: включение в струю эфира, и — трепещите, тираны... Я предъявляю вам ультиматум, которого не знал мир. Все вы с богатствами и легионами ваших слуг будете уничтожены или... или я развалю земной шар на две половинки, как арбуз ножом. Еще одно усилие, одна догадка...

Вскоре он отправился в столицу, где многознай, знаменитый профессор, наспех ознакомившись с рукописью, сказал: «Труд ваш, милостивый государь, в основном несамостоятелен, а в частности настолько сумбурен, что не поддается никакой проверке Прощайте».

Степан Абрамович вернулся в столицу и с еще большим упорством принялся за опыты, но не суждено ему было довести их до конца: загрели грома революции, и он, как боевой конь, зашвырнувшись в трубу, перебрался на жительство в город.

Плескалась весна прибоем горячих дней.

Взыграла, разлилась Кубань-река. Налетели хлопотливые скворцы и жаворонки. Густой ветер наносил со степи волнующие запахи распаренной земли и первого полынка. Ночи — песня, визги да девичий смех — были темным-темненьки.

Станица поднялась.

По размокшим дорогам двинулись, закрипели тяжелые мажары, одноконные роспуски и заложенные парами повозки. Солнце, подобно орлу, плыло, играло в синем просторе. Клубились, летели светлые облака, по взгоркам скользили жидкие тени. По обсохшим обочинам дорог, загня хвост, скакали собаки. Далеко разносилось залиvistое ржание коней... Нет-нет, да и переблеснет высветленный зуб бороны, носок лемеха, бляха сбруйная. Оживленный говор, ликующие в румяных улыбках ро-

жицы ребятишек, насунутые на нос от загара бабьи платки, хлопанье кнутов:

— Цоб... Цоб, цобе.

Максим нагнал пару чубарых волов.

— Со степью, кум.

— И вас так же.

— Хороший денек, кто вчера умер — пожалее... Где, Николай Трофимович, пахать думаешь?

— Э-э, провались сно совсем...—кум Никола проворботал что-то невнятное и принялся с ожесточением нахлестывать волов.

— А все-таки?

Кум долго сопел, что-то обмозговывая, потом внимательно оглядел Максима, Максимова коня, оковку наново перетянутых шин и, побрякивая, туго, через силу заговорил:

— Не придумая, как оно и повернется?.. Выглядел я тут себе добрую делянку пана полковника Олтаржевского... Да-а-а... Така панска земля жирна, что ее хоть на хлеб мажь да ешь... С осени посумили мы с Мирошкой пану задаток и подняли под зябь добрый клин... Сунуть ему в задаток грошей горсть совестно, а больших денег не случилось. — Он снова надолго замолчал и, еще раз недоверчиво покосившись на Максима, досказал: — А вот тебе — ни пана, ни Мирошки. Пач, слышно, в городе казачьим полком командует, а Мирошку дядька переманил в Ейск и всадил его, дуропляса, на свой свешной завод приказчиком...

— Ну?

— Вот и ну... Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?

— Полудурок... Нашел, над чем голову ломать? Езжай и паши.

— А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрнет? Ведь он меня не масленого не вареного с'ест? Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет.

— С него уж поди-ка с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили...

— Дай бы господи.

— И велика делянка?

— Земли там уйма... Панской во-семьсот, десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай не ленись.

— Та-а-ак, дядя лапоть, — протянул Максим. — А я за гребню думаю удариться... В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит?

— И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? — кум Никола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: — Я тебе уважу, я такой человек, я для свояка хсть пополам, хоть надево разорвусь... Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня все-таки пара волов, они, прокляты, тягущи... Гоняй со мной?.. Подыме́м супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..

Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся:

— Что ж, кум, за мной дело не встанет.

— Ооо, и поедем... После рассчита-емся: ну, поставишь могарыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я... Ээх, шагай, чубарые.

Свернули на проселок.

Степь без конца, без краю.

По распаханым полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным глазом и выклеивая из борозды жирных червей. Свист сулика, крики погоничей, неспешный шаг вола.

Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора подехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.

— Вы чего? — спросил он.

— А ничего...

— Чью землю ковыряете?

— Богову.

— В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите... — сам говорит, а глазами, как шильями колет.

— Господин любезный, мы за нее аренду платили.

— Я тебе покажу аренду, бесова душа... Я с тебя, бугай, собью рога... Всю степь заставлю рылом перепахать.

— А ну, заставь! — шагнул Максим навстречу.

Казак некоторое время молча постоял на меже и унагл к хутору. Однако скоро он вернулся обратно уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:

— Поди прочь.

— Легче.

— Разнесу, косопузые! — и через лоб Максима плетью.

Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку.

Кум Микола бросился было бежать, голая:

— Ратуйте, православные.. За наше добро да нас же по соплям бьют.

Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в клоchy рубаху.

Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожухи и засучивая рукава.

— Бей.

— Злыдни.

— Заглуем, засморкаем.

Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:

— Не покорюсь... Не покорюсь.

Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.

В станице митинг, и митинг снова окончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.

На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками — у кого что нашлось.

Этюды к роману

Письмо

Братец Фомушка!

Мы о тебе, когда бою нет, частенько вспоминаем. Сами которые лежали в лазарете и сознаем — не сладко. Ты не расстраивайся, а скорее выздоравливай, чего тебе все и желаем.

Описываю наше прохождение службы.

В батарею прислали комиссара Захарчука, ты его, хренка, знаешь: Титаровской станицы, рыжая кобыла Гараськи под ним ходит. На митинге Захарчук нам и говорит:

— Клянусь до гроба, я с вами рука об-руку. Я предан советской власти костями, душой и телом. Я знаю все боевые задачи высшего командования. Долой угнетателей! Пролетарий, соединяйся!

— Ладно.

Вот выступили на станицу Невинномысскую. Ожидаем, с какой стороны покажется противник. Не прошло время один час, как последовало донесение — неприятель наступает по всему фронту.

Тут тебе кадетские пластуны, тут разворачивается с флангов кадетская кавалерия, тут — вот он! — кадетский бронепоезд.

Бронепоезд меня заинтересовал.

Командир Никита Семенович подает грозную команду:

— Батарея, к бою... Прицел 80, трубка 78... Наводить точно... Огонь! Га-гах.

Полетела моя консерва кадетам на завтрак. Влепил прямо в тендер. Из передовой цепи по телефону передают: попало. А я и так вижу: попало, аж пар зашипел.

Вот Митька Дягель грохнул, тоже попало.

Видим, сквозь пыль рельсу крутит штопором, и вот тебе, поехала железная дорога кверху. Никита Семенович глядит в прозорную трубу и смеется:

— Молодец, Половинкин! Молодец, Дягилев! Бейте еще!

Тут кадетская конница запылила, строит лаву. Тут пластуны из межевой канавы лезут в атаку. Захарчук наш заматался:

— Товарищи, надо отступить. Товарищи, побежим, пока не поздно.

Но на него некогда было оглядываться.

— Батарея, беглый, огонь! Пулеметы, огонь!

Пошла тут вот такая, начали мешать небо с землей.

Кадеты побежали.

Наша пехота поднялась, вперед! Кавалерия вперед! Батарея, известно, на передки и вперед! Ура, ура! Бронепоезд!

езд показал нам хвост и ушел. Пластуны сдаются, офицеры стреляют и колот себя, но не сдаются. Захватили обоз, патроны, муку, 120 пластунов — они борщ варили, борщ достался нам. Давно мы не видали горячей пищи, две недели питались консервами и то только тогда, когда они были, вот покушали, теперь можно воевать дальше. Прибегает Захарчук с конным ведром:

— И мне, говорит, налейте.

— А вы где были? — спрашиваем.

— Я отстал, животом расстроился.

Напомнили мы ему, кляся итти с нами рука об-руку, выплеснули остатки борща на землю, ему и одной ложки хлебнуть не дали. Кругом смеялись.

Пошли смотреть поле брани, прямо Бородинская битва. С убитого черкеса снял я маузер с золотой насечкой. Выздоровлявай, Фомка, скорее — маузер будет твой.

Подарков жителя наташили — арбузов, сметаны и так далее. Музыка играет народный гимн. Какой восторг и трепыханье кругом... Девки пришли, одна хороша: в желтых гетрах и глаза такие серые, но не удалось с ней поближе познакомиться.

Командир передал — трогайся. Прибыли на отдых в хутор, забыл его правильное название.

Ночью шестером, комиссар Захарчук седьмой, отправляемся в разведку. Чистое поле, все тихо, спокойно. Туман такой — ушей коня не видно. Захарчук ежится и говорит:

— Ох, ребята, смотри зорко. Кадет китрый, может сквозь наших ног пролезть.

— Ладно.

Дело к свету. Пробираемся балкой по-над кустами. Впереди заржали лошади, разговаривают. Что такое? Мы приготовились. Голова в голову с'езжаемся, с кадетским раз'ездом. Их шестеро, нас шестеро — Захарчука, в случае чего, и считать нечего.

— Какого полка?

— Уманского.

Эге. По голосу и по бороде признаю дядю Прохора Артемьевича.

— Это ты, дядя Прохор?

— Я.

Захарчук шумит:

— Стреляй, кадеты.

— Ты, Сенька?

— Так точно, — отвечаю я дяде.

— Стреляй!..

— Перестань гавкать, — говорю я Захарчуку. — Это есть наши станичники, интересно нам про д'малность узн'ть.

Захарчук крутнул свою рыжую кобылу и осадил за наши спины, ждет, что будет дальше.

С'ехали на три шага. У них карабины на изготовку, и у нас карабины на изготовку. Ну, поздоровались. Дядя Прохор Артемьевич, Сметанин, Васька Пьянков, Федя Стецюра, что в атаке под хутором Малеваным вгорячах отрубил хвост своему жеребцу, и двое незнакомых.

— Давно из станицы? — спрашиваю

— Не так давно, но порядочно.

— Как там моя баба?

— Скоро родить, со степью управилась.

— Как служба?

— Ничего, — отвечает дядя. — Жалованья тридцать рублей, сахару и табаку не дают. Когда будет конец этому?

— Сдавайте оружие, вот вам и конец.

— Вы пленным яйца вырезываете?

— Брехня, дядя. Зачем нам нужны ваши, у нас своих по паре. Сдавайте оружие.

— Мы погодим сдавать оружие, вы сдавайте, — а у самого глаза, как у сыча, сверкают.

— И мы погодим, — отвечаю.

Поговорили еще немного, угостили их папиросками и раз'ехались. Ни нам никто, ни мы никому.

Еще был бой у станции Овечка. Туго нам пришлось. Боевые обстоятельства предсказали нам отступить. Фронт р'терялся, везде оказались прорывы. Занялись бегством, кто кого перегонит. На каждом сапогу по пуду грязи, ноги потеряли до мослов, силы нет бежать. На переправе через реку Кубань так мы загрузили паром, что он пошел ко дну и пушки пошли ко дну, а люди поплыли. Смешно, но смеяться некогда. Жалко было смотреть на таковую картину, когда товарищи плыли по Кубани и стонали:

— Спасите, помогите...

Я сам вылез и Дягеля за русые кудри вытащил, — он нахлебался, ему оставалась одна минута до смерти.

Ушли живыми, всё хорошо.

Стоим на отдыхе в станице Суворовской, пляшем на вечерках, калечим девок, хлещем самогон. Жить пока можно.

Какая там у вас в лазарете пища, а также, хорошие ли порядки? Скорее поправляйся и приезжай, я по тебе соскучился, и все товарищи поминают.

С поклоном С. П о л о в и н к и н.

О чем говорили пушки?

«Мы, бойцы 1-го батальона Интернационального полка, собрались на митинг и обсудили постановление высшей власти о размене с Германией и Австрией военнопленными старой армии.

Добровольцев, желающих покинуть наши красные ряды и возвратиться на свою германскую и австрийскую родину, в батальоне не оказалось.

Некоторые навстречу оратору говорили: «Сперва расправимся с русокими буржуями, потом все вместе пойдем свергать с золотого трона мировую буржуазию».

Пауль Михаэльс, много раз он ранен и имеет преклонный возраст, командирится, согласно нашего решения, по месту жительства, в город Гамбург.

Даем ему наказ.

Товарищи и братья, рабочие и крестьяне всего мира! Сейчас и ребенку стало ясно, в единении — наша сила на победу над общим врагом — капиталом. Мы не щадим ни жизнями, ни семьями, ни родным кровом и идем на пролом. Али вы не слышите наших слез, стонов и проклятий? Мы истекаем кровью в горах, лесах и степях необъятной России. Али вы не слышите, о чем гремят-говорят наши пушки? Близок, близок день полной победы над тиранами, генералами, помещиками и прочей мелкой сволочью, сосущей соки трудового народа. Своими кулаками мы стучимся в ваши груди. На помощь! Братья, на помощь! Разбирай оружие и за дело. Если нужно будет нашей силы, то, покончив со своими, выйдем вам на подмогу и пойдем хоть на край света. Клянемся не свертывать красных знамен, пока на земном шаре не будет

казнен последний паразит! Ни шагу назад! Да здравствует Красная армия мозолистых рук всего света!»

Ветхий листок резолюции подшит к архивному делу. На листке, как ржавчина, следы выцветшей крови и мазки засохшей глины. Документ волнует крепче всякой поэтической выдумки.

Сад блаженства

В глухом, заросшем травой переулке, в неприглядном, покосившемся домишке доживал свой век престарелый чиновник Казимир Станиславович. За сорокалетнюю службу в акцизном ведомстве он получал небольшую пенсию. Давным-давно старик отмахнулся от житейских суев и никогда со двора не выходил. Сношения с внешним миром, главным образом с базаром, поддерживала верная подруга его жизни — Олимпиада Васильевна.

Ютились они в полутемной кухне, а солнечное зальце и две комнаты, заставленные фикусами и сухими кустьями, были отведены пернатым. На подоконниках — желтый песок, корытца для корму и питья, тарелки с зеленью и приспособленные для купанья чайные блюда. Клетки под окнами, по стенам и под потолком; клетки низенькие, четырехугольные, круглые и высокие с куполообразным верхом, без жердочек и с жердочками в несколько ярусов, обтянутые редкой холстиной или промасленной бумагой; клетки в сенях и в саду, — к дому примыкал сад, черен и дик.

Птицы, если это не была пора линьки, поднимали гомон спозаранок.

Первыми встречали рассвет голосистый дрозд или соловушка Чародей — громовый раскат свержающих трелей, казалось, дрожали стены дома. Встряхивался яв, прочищая горло, пробовал голос старый кенар, по прозвищу Петька, столь искусный в своем деле, что по заказу высвистывал «Х а з-Б у л а т», «Т р о й к у», «К о л ь с л а в е н». Сквозь гущу разросшихся под окнами акаций поодирался дервый солнечный луч. Щеглы, чечетки, лазоревки и иные немудрящие птахи на разные лады славили утро.

Птицы будили стариков.

Казимир Станиславович в туфлях на босу ногу и в заплатанной, перезаплатанной форменной шинели в накидку обходил свои владенья, ласково улыбаясь и ворча, и жмурясь спросонья. Драчливые лазоревки и сорокопуты уже ссорились у корытца с кормом. Жаворонки купались в песке, насыпанном в ящик из-под гильз. Пара молодых клебстов, резвясь, сталкивали друг друга с жердочки. Зяблики и славки, что жили в открытых клетках, гонялись по комнатам за мухами и лепились к бревенчатым стенам, выклевьвая из щелей тараканов.

Казимир Станиславович наскоро умылся и, шаркая туфлями, бежал на кухню завтракать.

— Как по-твоemu, — спрашивал он свою подругу, — не поставить ли Баяну еще одну жердочку? Или ему так просторнее? А?

Олимпиада Васильевна разливала чай и обычно молчала, а Казимир Станиславович продолжал:

— Дичок что-то заскучал? А как он еще в позапрошлую неделю пел? Боже мой... Талант, талант... Уж не обтянуть ли его лентку полотном? Может быть, он хочет побыть в одиночестве?

— У меня, батюшка, не своя фабрика. Где я наберусь полотна? И так все тряпки перевела, со стола смахнуть нечем.

— Экая ты заноза! И как это язык повертывается такое сказать? Оторви рукав от моей нижней рубашки и выстирай, вот тебе и полотно... Зачем мне рукава? И без рукавов проживу, — он сиял и заливался заморенным смешком.

— Хорош, хорош басурман, — горестно взирая на него, качала седеющей головою старуха.

На позывный свист хозяина живо налетали щеглы, снегيري, синицы, чечетки; садились ему на плечи, на руки, на голову, сновали по столу, подбирая крошки.

Случалось, под окнами пропитой голос тянул:

— Чинить тазы, ведра, самоварные трубы.

И—целая беда, если холодный кузнец принимался орудовать где-нибудь поблизости. Казимир Станиславович

морщился: яростный грохот молотка и лязг железа оскорблял нежный слух птицы.

— Степан Перфильев или слободской Горбыль... Не могу я видеть эти пьяные морды. Пойди, Олимпиадушка, дай ему гривенник на похмелье, он и провалится.

Олимпиада Васильевна спроваживала бродячего кузнеца, а заодно прогоняла с трюгара и мальчишек, играющих в бабки или в орлянку.

Последний глоток жиденского кофе, и завтрак окончен.

Дрозд Сударик тянулся с плеча, потом, осмелев, прыгал на подставленный палец и принимался быстро выбирать из усов хозяина хлебные крошки. Казимир Станиславович прихватывал лапку другим пальцем и так, на руке, уносил Сударика в комнаты.

В суете и хлопотах летели дни, годы...

Старик кормил и купал птиц, подстригал сломанные и искривленные коготки, чистил клетки, устраивал свадьбы, с перышка кормил птенцов желтком и тертой выдержанной в молоке репой, с старым певцам для выучки подсаживал молодых, гонял по саду злейших своих врагов — кошек.

Однажды Олимпиада Васильевна вернулась с базара в большой тревоге и заохала:

— Батюшки, светы мои... Немцы нам войну объявили.

— Отстань, старая, всегда ты с пустяками, — отмахнулся раздраженный Казимир Станиславович. — Несчастье: у Светланы судороги ног и палец нарывае, должно быть занозила? Оберни-ка у ней жердочку сукнецом... Черный дрозд заболел: второй день не ест, не пьет. Бузины надо? Или наловила бы ты мне пауков да мокриц — при запорах помогает.

— Где я тебе их наловлю? Я — не воробей.

— Ну, купи миндального маслица? Настоя в масле мучных червей и покормлю дрозда? Авось...

— Хорош, хорош басурман.

Железной поступью прошла война, грянула революция, в городе не раз сменялась власть. Казимир Станиславович знать ничего не хотел. Блаженствуя, слушал своих певцов, радовался

ихними радостями и печалился ихнею печалью. Прекратили выдачу пенсии. Казимир Станиславович встретил эту весть равнодушно. Частенько, кротко улыбаясь и заглядывая своей старушке в добрые глаза, он говаривал:

— Олимпиадушка, зачем тебе подвечное платье? Если я и протяну ноги, так замуж тебе не выходить. Лучше меня не найдешь,—и он седым усом шаловливо щекотал ее морщинистую шею. — Зачем нам перина, сундуки, какие-то вазы, сковородки? Последний раз ты пекла блины года три назад, когда Перун из-за ревности выключил глаз Заливистому... Заливистый... Как он пел... Как шелкал... Какие трели и раскат, и дробь пускал... Господи! — он стонал и смахивал со щеки мутную слезинку. — Нет, нет... Таких соловьев больше нет, нет и не будет... Зачем тебе ковровый платок? Не молоденькая. Зачем обручальное кольцо? Зачем нам стулья? Проживем и без стульев.

Старьевщикам за бесценнок пошла всякая всячина. Сами жили кое-как и кормились кое-чем, спали на полу на

каких-то лохмотьях, но птицы попрежнему ни в чем не знали недостатка: кормушки их были полны, клетки вычищены, сквозь акации блистало солнце.

Многотысячная армия обложила город.

Всю эту ночь Казимир Станиславовичу снились кошки.

— Гром что ли? — спросил он, выглядывая в кухонное окно.

— Хорош, хорош басурман, из ума выжил... Какой тебе гром? Из пушек палят.

— Кто палит? Из каких пушек?

— Да ну тебя... — махнула рукой Олимпиада Васильевна и побежала к соседке занять муки на подболтку.

Казимир Станиславович копался в саду, — червей искал, — когда в дом ударил снаряд: в туче пыли проблеснул желтый огонь, и в один миг ветхое строение было охвачено пламенем. Отброшенный силою взрыва в лопухи и репейник, старик смотрел на горящий дом в оцепенении и не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой...

(Окончание следует).

Море, люди, дни

Из книги „Поход „Седова“

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

(Окончание ¹).

Во льдах Баренцова моря

Русская гавань

Мы опять у берегов Новой Земли. Обочь «Сибиряков». По его палубе пробегают люди. Теперь они показываются нам другими, «не видавшим» того, что уже успели повидать мы.

Посреди широкого круглого залива корабли кажутся очень маленькими. Они стоят крепко и дружно обнявшись. Наполненная людьми шлюпка то-и-дело отходит от берега и возвращается к трапу.

Берег холоден и пустынен. Занавешенные дымкой, густо синевеют каменные новоземельские горы. Голубым ярким светом (это очень похоже, что свет выходит из самой глубины льда) фосфоресцирует глетчер. Ярким заревом полыхает над полуостровом оранжевое северное небо.

На пустынном, обдутом злыми ветрами, изгрызенном солеными волнами берегу мы нашли высокий покосившийся крест. С трудом прочитал я вырезанную на кресте надпись.

Крест этот — памятник давних времен, когда русские мореплаватели — поморы — в поисках зверя и лова далеко и бесстрашно хаживали в море на своих не боявшихся бурь и невзгод деревянных, крепко шитых судах. Подле креста видны следы давнишнего поморского становища. В землю вбиты старые сваи. Берег за долгие годы поднялся из моря, и теперь сваи стоят далеко на суше.

Ничто не утверждало богатого имени острова, замыкавшего вход в Рус-

скую гавань. Птичьи не слишком многочисленные базары шумели на его обрывистых, осыпавшихся сланцем берегах. Полярная сова, сторожко восседавшая на каменной гряде, завидев охотников, взмахнула большими крылами и пропала...

На берегах мертво и пустынно. Поднимаясь по скату, по сухой, потрескавшейся, точно выгоревшей и бесплодной земле, я увидел свежие олени следы. Невозможно понять, чем питаются олени на этой голой земле, скудно родящей клочки мха и сухие лишай.

Однако здесь живут не только олени. Под старой плахой плавника, на берегу моря, я нашел полусгнивший труп пса. В глубине высохшего потока, сбегавшего с гор, отчетливо отпечатаны ровненькие, похожие на лисичьи следы этих промысловых зверьков. Маленькие кулички-песчанники, подергивая хвостиками, насвистывая, шустро бегают по заваленному гниющими водорослями, пахнущему иодом береговому закрайку. Небольшими стайками проносятся над бухтой серые гаги. Над каменной плоской долиной, отводя охотников от спрятанного в камнях гнезда, вьется пара поморников — воздушных пиратов...

Я иду вдоль берега, прислушиваясь к шуму набегающих волн. У самого края, покачиваясь на волнах, кормятся одиночные кайры. Берег завален плавником-лесом, выкинутым из моря волнами. Я иду, внимательно вглядываясь в каждый выброшенный морем предмет. Множество разноцветных камушков и удивительных ракушек пересыпается под ногами. Вот между обсохшими бревнами валяется на песке берестяной ста-

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 9,10 с. г.

рый лапоть, переплывший море, занесенный неведомо из каких мест; вот на краю плавничины лежит детский деревянный кораблик, выброшенный волною на берег; вот под грудой досок виднеется длинное морское весло и торчит кусок мачты с заржавевшим блоком. Какую потерпевшему крушение судну принадлежат эти весло и кусок мачты?..¹⁾

Третий день корабли стоят обнявшись. Непрерывно гремят лебедки, и черные от угольной пыли люди с блестящими, как у негров, белками глаз и зубами, с мешками на головах, таскают наполненные углем корзины. Черную угольную пыль подхватывает над палубами и уносит ветер...

Вчера в моторной лодке мы ездили под самый глетчер. Это было замеча-

¹⁾ В плавнике, густо покрывавшем берег бухты Микитова, я нашел хорошо сохранившийся, переплетенный бронзовой проволокой пробковый буй. На крышке было написано по-английски, что буй принадлежит экспедиции Болдуина—Циглера. Мою находку я принес в охотничьей сумке на корабль. С большим трудом, при помощи пароходного механика, была отвинчена окислившаяся бронзовая пробка. Из запаянной медной трубочки мы извлекли записку, напечатанную на машинке по-английски и по-норвежски, следующего содержания: «80° 21' сев. шир. 56° 40' вост. долготы. Лагерь Циглера, Земля Франца Иосифа. Главная полевая квартира Болдуина, Циглеровской полярной экспедиции, 23 июня 1902 года. Ближайшему американскому консулу. Срочно требуется доставка угля. Яхта «Американ» в открытой воде в проливе Абердар с восьмого. Работа этого года успешна — огромный склад доставлен на землю Рудольфа на санях в течение марта—апреля—мая. Собраны коллекции для национального музея, обеспечен отчет, зарисовки хижины Нансена, превосходные фотографии и картины и т. д. Осталось пять пони, 150 собак, нуждаюсь в сене, рыбе, 30 санях. Должен вернуться в начале августа, не добившись успеха, но не побежденный. Все здоровы. Двенадцатое донесение. «Буй № 164». Внизу подпись самого Болдуина и приписано карандашом: «Спешите с углем».

Как потом оказалось, сделанная мною находка воскресила из мертвых неудачливого старика Болдуина. В американской газете «Нью-Йорк таймс», где была помещена телеграмма о находке буйка, появилось письмо Болдуина, в котором он рассказывает, что названный буйек был отправлен на аэростате и за понюжку его в свое время была обещана награда... в десять долларов. Жаль, что дедушка Болдуин живет далеко, а мне так и не доведется получить с него долг.

тельное зрелище. Мы подошли к зеленовато-голубой ледяной стене, готовой обрушиться каждую минуту. Мутный пенящийся поток бурно вырывался из-под ее размытого основания. Сотни чаек хлопьями падали над кипевшей, с кружившими мелкими льдинами, мутной водой. Одна за другою выставляли над водой и опять пропадали в бурлящем потоке круглые головы нерп.

Окруженные льдинами и синими ледяными горами, мы долго стояли, любуясь на возносившуюся над нами нежно-зеленую холодную стену.

Потом на берегу пресноводного озера, протоком соединенного с морем, наши охотники расстреливали морского зайца. Раненый зверь уходил в море, его нашли далеко выбросившимся на камни. Он был так тяжел, что мы не могли вытащить его на берег. На песке лежала усатая и окровавленная морда зверя. С большим трудом мы взвалили добычу на опустившуюся под ее тяжестью шлюпку.

(Из кожи морского зайца промышленники делают ремни для гарпунов. Этот ремень, толщиной в палец, может выдержать тяжесть пятидесятипудового зверя. Когда морской заяц был поднят на палубу, Журавлев с удивительной ловкостью стал снимать кожу по спирали. Получившийся узкий ремень длиной десятка в два сажени он развесил для просушки на вантах).

На обратном пути нас накрыл туман. Мы плыли в сплошной молочно-белой пелене, закрывшей берег и море и даже воду под бортом. В тумане мы заблудились. Бесплодно споря, то-и-дело меняя направление, мы долго кружили посреди бухты. Однажды силуэт ледокола показался в тумане совсем близко и тотчас закрылся. Как потом выяснилось, мы кружили возле самого ледокола, и только гудки «Седова» помогли нам выбраться из тумана. Вернувшись на ледокол, сидя в кают-компании за горячим чаем, мы долго вспоминали подробности нашего путешествия.

— Ночевать бы вам в море, — смеиваясь над нашей неопытностью, говорил капитан, — да Юрий Константиныч вас пожалел, каждую минуту бегал гудки давать...

На восток!

Только на четвертый день непрерывной работы закончилась перегрузка угля, и «Седов» уходил из Русской гавани в море.

День стоял ясный и тихий. По блестящей поверхности моря гуськом уплывали выброшенные за борт, отслужившие свою службу угольные черные корзины. Мы торопились писать письма и готовили посылки, чтобы отправить их на землю с «Сибиряковым».

Осторожно, со спущенными якорями (из боязни засест на мель) выходил «Седов» в открытое море. В последний раз прощально заревел гудок и нам было видно, как следовавший за нами, выросший над водой, разгрузившийся «Сибиряков» стал заворачивать налево. Путь наш лежал направо, прямо на север...

Море было спокойно. Ярко синевели воды гольфштрома; туманно виделся изрезанный бухтами новоземельский берег. По гладкой воде далеко разбегались за кормою «Седова», переливаясь на солнце, стеклянно-прозрачные волны.

На палубе и в помещении стало просторнее. Меньше осталось людей и собак. Погода попрежнему благоприятствовала нам. Весь день мы шли чистой водою, не встречая признаков льда. «Этак до Северной Земли добежим незаметно» — шутя сказал кто-то.

Нет, наверное еще придется увидеть льды, а быть может, и не в шутку поплакать...

Сегодня тринадцатое августа. Еще месяц назад мы были в Архангельске. Как далек от нас теперь шумный человеческий мир. И чем дальше уходим на восток, чаще приходит мысль: а что, ежели не выберемся из льдов, зазимем!

Примерно в этих самых местах когда-то дрейфовала «Св. Анна». Кто знает, наша судьба может стать не менее печальной. Многолюдство нашей экспедиции — плохое утешение. Пример этому — ужасный конец франклинской экспедиции¹⁾.

¹⁾ Экспедиция английского мореплавателя Джона Франклина, поставившая задачу проплыть от Баффинова залива до пролива Беринга, трагически погибла в сороковых годах прош-

Мы держим путь к Северной Земле через льды Карского моря. Еще никто и никогда не решался проходить этим путем. Ни одно судно не могло одолеть тяжелых льдов, наполняющих северную часть Карского моря. Главная надежда — на исключительно благоприятное лето, до сих пор неизменно способствовавшее нашим успехам.

Никто не ведает, где находится западный край архипелага Северной Земли, всего единственный раз посещенной людьми. Сколько миль отделяет нас от неведомого берега, какие ожидают нас приключения? Руководители экспедиции предполагают пересечь Карское море на высоте кромки льдов в Баренцевом море. Здесь, по предположению ученых, мы должны открыть неизвестную землю, преграждавшую путь льдам, наполняющим непреступное Карское море¹⁾.

го столетия. Из ее многочисленного состава никто не спасся. На розыски Франклина, продолжавшиеся долгие годы, было отправлено много экспедиций, истрачены громадные суммы. Как потом выяснилось, все участники экспедиции Франклина, будучи вынуждены покинуть затертые корабли, погибли от голода.

¹⁾ По моей просьбе В. Ю. Визе написал следующее по поводу открытия «Седовым» предсказанной им земли:

«Льды полярных морей передвигаются под влиянием двух сил — ветров и морских течений. Действием этих сил передвигалось в 1913—14 гг. затертое во льдах судно «Святая Анна». Как известно, штурман Альбанов доставил в культурные страны вахтенный журнал этого судна. «Анна» бесследно погибла. В этом журнале имеются записи об общем движении судна, его дрейфе и записи направления и силы ветра. Теоретически нам приблизительно известно, с какой скоростью и в каком направлении затертое во льдах судно должно передвигаться под влиянием ветров. Зная общее передвижение судна, скорость и направление ветра, можно вычислить направление и скорость морского течения. Это и было моею целью, когда я взялся за обработку журнала «Святой Анны». При этом я наткнулся на любопытную особенность, которую дрейф «Анны» показал между параллелями 78 и 80. Здесь судно, двигавшееся в общем на север, отклонилось от направления ветра не вправо, как следовало бы по теории дрейфовых течений, а влево. Объяснить эту аномалию я мог, только допустив существование суши к востоку, недалеко от дрейфа «Анны». Ряд других особенностей дрейфа «Анны» в этом районе укрепили меня в моем предположении. Более подробный анализ дрейфа позволил мне приблизительно определить место предполагаемой суши. Я нанес это на карту, приложенную к моей статье •

Чем дальше мы продвигаемся на восток, — безжизненное и пустынное море. Чаек больше не видно. Капитан почти не сходит с мостика. День и ночь он шагает из угла в угол, вглядываясь в открытое, все еще безледное море. Теперь в его руках находится наша жизнь, а от его опытности и верности глаза зависит успех похода.

Он больше нас знает, что полярное лето коротко. Через месяц-другой здесь начнется зима. В дыхании холодного ветра уже чувствуется ее приближение.

Нужно торопиться!

Остров Визе

Вечером тринадцатого августа, когда наша смена заканчивала ужин, в каюткомпанию вошел Владимир Иванович. Он был в шубе с поднятым воротником — поямо с мостика.

— Вот, — сказал он скупно, остановившись в дверях, — впереди земля. Большой остров. Да...

Сообщив новость, капитан вышел. Оставив простывать кашу, мы выбежали на мостик.

Впереди, за потемневшей полосой воды, окруженный поясом льдов, виделся едва приметный берег. Неопытный глаз с трудом отмечал над льдами тоненькую, лежавшую за горизонтом полоску, которую можно было принять за облако или далекий туман. На мостике начались споры:

— Земля или не земля?

— Несомненно земля!

Скоро все хорошо могли убедиться, что перед нами несомненно берег земли, той самой, которую на основании изучения морских течений с удивительной точностью заранее предсказал участник экспедиции В. Ю. Визе. Теперь почтен-

течениях в Карском море и опубликованную в 1924 г. Позднее эта суша под названием Земли Визе с вопросом была нанесена на немецкой карте, значит она, как проблематическая и на карте Арктики. Зная о проекте Нобиле лететь в 1928 г. к Северной Земле, я обратил его внимание на желательность обследования того района, где я предполагал сушу. «Италия» пролетела тогда весьма близко от этой земли, но не видела ее вероятно потому, что низменная земля в это время была спяшью покрыта снегом. На участь «Седова» выпало открыть предположенную мною землю и тем подтвердить правильность моих выводов».

ный профессор, по-домашнему в шерстяных носках и меховых туфлях, широко расставив ноги, смотрел в большой бинокль на эту «принадлежавшую» ему землю. Я первый поздравил его и от души пожал руку.

Через час, войдя в ледяную кромку, «Седов» остановился милях в семи от берега. Самый нерадостный вид имела эта «таинственная земля», на которую еще не ступала нога человека. Тяжелый пак (многолетний сплоченный лед) загораживал подход к берегу, неровной грядой возвышавшемуся над льдами. От борта корабля до самого берега поверхность льда была покрыта высокими торосами и ропаками. На сверкающем белом снегу лежали длинные синеватые тени.

Партия наиболее нетерпеливых путешественников, жаждавшая поскорее ступить на берег, точас стала готовиться к походу. На лед спустили засидевшихся, радостно визжавших, катавшихся по снегу собак. Попытка запрячь в нарты собак однако окончилась неудачей. Собаки слишком засиделись и брали неровно, а высокие, загораживавшие путь торосы мешали свободному передвижению нарт. Намучившись с собаками, путавшимися в постромках (при этом опыте выяснилось все преимущество гуськовой сибирской запряжки перед новоземельской — «веером»), путешественники решили тащить груженные нарты на руках.

Несмотря на сгушавшийся туман, неприцаемой пеленою накрывавший берег, условившись с капитаном, что «Седов» каждые четверть часа будет давать гудки, в два часа ночи первая партия отправилась на берег. Мы, оставшиеся на корабле до утра, долго следили, как ныряли среди торосов и пропадали в тумане черные удалявшиеся фигурки, слышали издали доносившиеся голоса!

Предоставив отправившимся в поход путешественникам честь «первого шага», мы отлично провели ночь, вместе с героем дня Визе за бутылкой вина празднуя открытие новой земли. Утром, когда поднялся туман, в бинокль мы видели разбитую на берегу палатку. Это означало, что путешественники благополучно достигли берега и устроились на привал. Не теряя времени, пользуясь

хорошей видимостью, под предводительством В. Ю. Визе мы вчетвером кратчайшим путем направились к берегу.

Путь действительно оказался очень трудным. Почти на каждом шагу приходилось преодолевать высокие торосы и обходить глубокие, расплывшиеся на снегу лужи. Мы карабкались через торчавшие на ребре льдины, перепрыгивали через широкие трещины, по пояс завязали в глубоких снежных сугробах. Так, обливаясь потом, ползли мы более двух часов, а видневшийся впереди берег, казалось, нисколько не приближался. Все так же далеко чернела палатка и возле нее бродили фигурки людей. «Чорт возьми, — думали мы, — каково было тащить по такой пропасти тяжелые груженные нарты!..»

На половине дороги мы сделали небольшой привал и, как в атласные белые кресла, удобно уселись на мягких сугробах. Один из бывалых спутников растянулся на животе над замерзшей лужей и, пробив кулаком тонкий лед, стал жадно пить прозрачную ледяную воду. Я последовал его примеру. От ледяного напитка больно ломило в висках. На мгновение мелькнула мысль о простуде. «Э, — подумал я, — здесь нет никаких простудных болезней и можно пить на здоровье!» Ледяная вода показалась нам необыкновенно вкусной. Утолив жажду, стряхнув катившиеся по усам капли, мы двинулись в дальнейший путь...

Почти четыре часа потребовалось, чтобы одолеть семь миль, отделявшие «Седова» от видневшейся над льдами земли. Наконец высокие преграждавшие путь торосы сменились ровным льдом, и мы ступили на береговой, изрезанный трещинами, лежавший на земле лед. На горах бурых камней сидели белые чайки. Это были единственные обитатели пустынного берега, встретившие нас своими тревожными и жалобными криками.

Груды лежавших на льду каменных обломков напоминали гигантскую свалку. «Похоже, что сюда сваливали отбросы, когда строился мир» — шутя сказал мой приятель и спутник Павел Иванович, когда мы ступили на осыпавшийся под ногами мелкий щебень и направились к черневшей на камнях палатке,

возле которой синенькой струйкой поднимался от костра дым.

Мы нашли наших спутников измученными трудным путешествием. Они сидели у маленького, сложенного из плавника костра, сушились. Многие уже успели побывать на берегу. Впечатление у всех сложилось одинаковое:

— Ну и земелька, чорт бы ее побрал!

— А что такое?

— Тоскливее, пустынное представить себе невозможно...

Побывавшие на острове путешественники нам сообщили, что они только с большими трудностями добрались до берега, где приходилось перебираться через глубокие трещины, наполненные водой.

— Держитесь ближе к морю, там есть переходы, — сказали они, напутствуя нас.

Послушавшись доброго совета, мы направились к поднимавшемуся в версте от нас, темневшему голой землею берегу. Долго пришлось нам лавировать среди трещин, до краев наполненных быстро бегущей темной водой. Опытный в хождении по льду Визе с удивительной легкостью перепрыгивал через препятствия, вполне достаточные для того, чтобы выкупаться с головою. Мы, менее искушенные, следовали за ним с большою опаскою. Наконец один из наших спутников, неудачно оступившись, оказался в воде почти по самые уши. Мы помогли ему выбраться из трещины и поставили на лед. С ватных теплых штанов неудачного полярного путешественника ручьями бежала вода.

— Идите, идите скорее к костру сушиться!.. — сказали мы нашему мокрому спутнику, с непоколебимым хладнокровием отнесшемуся к своему несчастью.

Отправив сушиться приятеля, принявшего неожиданную ледяную ванну, с трудом перебравшись через последнюю и самую широкую трещину, по которой стремительным потоком мчалась темная, как деготь, вода, мы наконец оказались на берегу.

Никогда еще не доводилось мне видеть более мертвой пустыни. Шагая по мягкой, потрескавшейся, легко поддававшейся под ногами, покрытой редкими бородавками мха земле, мы отправились

в глубь пустынного острова. Все было мертво и уныло. В широких лощинах между покатыми однообразными холмами серел мокрый снег. В намытой весеними ручьями грязи отчетливо виднелись следы медведя. Зачем, по каким делам забрел сюда белый мишка? Из кучи намытого песка торчал позеленевший от времени выветрившийся олений рог. Я

нять в этот день холодную ванну. Ходивший на охоту начальник экспедиции О. Ю. Шмидт едва не утонул, провалившись в глубокую трещину. Он едва припелся к палатке, с ног до головы мокрый, с бородою, смерзшейся в длинную сосульку. Неэффектный вид имел на сей раз наш начальник. Охота на белых чаек досталась ему дорого.



Санная партия возвращается с острова Визе.

поднял его, чтобы привезти на память о затерянной в непроходимых льдах земле. Пройдя около пяти верст в глубину острова и обследовав берег, мы вернулись к исходному пункту, не найдя на пустынном острове никаких признаков жизни.

Благополучно вернувшись к палатке, мы застали спутников, уже готовившихся к обратному походу на корабль, едва видневшийся за грядями торосов. Тотчас выяснилось, что не только нашему благополучному приятелю довелось при-

выкупался и еще кто-то из ретивых путешественников, доказательством чего служили кожаные мокрые штаны, сушившиеся над костром.

Отдохнув и подкрепившись горячим чаем, мы отправились в обратный поход по льду. Только теперь узнал я на деле, что значит тащить груженные нарты по ропакам и торосам, почти на каждом шагу загораживавшим нам дорогу. «Недолго нам выдержать, если бы пришлось идти сотни миль... — думал я, налегая на лямку, проваливаясь в снегу и задыхаясь, — а этот первый

опыт нас хорошо научит уважать трудности полярных путешествий...»

Поход на остров Визе для многих оказался тяжелым испытанием. Добравшись до ледокола, маячившего среди льдов, мы узнали, что некоторых наших путешественников, не имевших силы самостоятельно подняться по шторм-трапу, пришлось поднимать на палубу лебедкой. Всех больше пострадал несчастный кинооператор, вывихнувший в дороге ногу. Опираясь на лыжную палку, хромая, он едва тащился за нартами, как раненый воин после сражения. Лежа в изнеможении на снегу, держа в руках походный съемочный аппарат, с самым унылым видом он продолжал запечатлеть «кадры» нашего похода. Именно его вместе с аппаратом, под шутки матросов, первого подняли лебедкой, совершенно так, как недавно поднимали на пароход мертвого тюленя.

Льды

Вот уже сутки, как, сделав попытку обойти с востока все еще темнеющий на горизонте остров, «Седов» беспомощно бьется в тяжелых, невиданных на-

ми льдах. Льды скрежещут, грохочут о борта ледокола. Под грохот и шум я засыпаю, и мне опять чудится — нас волокут по камням, а над головою с треском рушатся каменные горы. Проснувшись, выхожу на мостик. «Седов» все на том же месте. Впустую, бурля и выбрасывая на лед воду, работает перемненными ходами машина.

День замечательно яркий и чистый. Ярко сверкают льды и горит солнце. На мостике штурман то-и-дело вертит ручку машинного телеграфа:

— Полный вперед!..

— Полный назад!..

По чугунному трапу спускаюсь в машину, где сосредоточена вся работа. Там, у регулятора-колеса стоит вахтенный механик. Машина работает на предельном давлении. От широко взлетающих шатунов подувает теплый ветер. По блестящим частям машины сочится нагретое масло. Над головою механика дребезжит телеграф, и судорожно держится красная стрелка:

— «Полный вперед».

— «Полный назад».

— Ну, засели, — говорит механик, рукавом вытирая катящийся по лицу пот, — этак и машину, пожалуй, растреплет.

— Не скоро выберемся...

Напрягая все силы, дрожа каждую переборкою, «Седов» безуспешно старается вырваться из ледяных, крепко зажавших его тисков. Лед держит цепко. Дорогонько нам может достаться новый остров! Несмотря на все усилия, ни на единый вершок не подвигается с места тяжелый, плотно засевший на льдине корпус.

Чтобы помочь его освобождению, люди выходят на лед с пешнями и баграми. Мы долго и бесполезно хлопочем, кусок за кусочком обкалывая лед. Двухметровый, иззелена прозрачный лед кажется несокрушимым. Маленькими черными букашками кажутся работающие вокруг ледокола люди.

Опытный в полярных делах Визе смотрит на эту работу скептически. Из кают-компания слышатся звуки музыки — это играет на пианино Визе. Странно слышать здесь музыку! По палубе, как ни в чем не бывало, прогуливаются собаки.



В тяжелых льдах

Оставив пешни, мы расходимся по каютам в надежде на аммонал, который в пятидесяти шагах от борта закладывают в лед наши проворные инженеры.

Этому взрывчатому веществу приписывается исключительная сила. С нетерпением мы долго ждем взрыва. Эффект неожиданно получается самый слабый. Кажется, близко выпалили из охотничьего ружья холостым зарядом. Однако через минуту корабль медлен-

но радость оказывается преждевременной: «Седов» вышел из тисков, чтобы через десяток минут засесть еще крепче. Обескураженные неудачей, выбившись из сил после многочасовой тяжелой работы, мы окончательно вылезаем на палубу в расчете на предсказание Визе, объявившего, что к утру приливно-отливное течение должно развести льды.

На сей раз предсказание ученого оказалось надежнее аммонала. Под утро



Льды.

но трогается с места. По обрезу льда заметно, как, сантиметр за сантиметром, отходит назад обтершийся, потерявший последнюю краску корпус.

— Пошел, пошел!

— Двинулся!

— Ура!

Люди на льду машут фуражками, весело смеются и спешат к трапу:

— Ура, ура!

Корабль медленно движется, винтом выкидывая на лед каскады изумрудно-зеленой воды. Люди, побросав пешни, торопливо бегут к штурм-трапу. Однако

слышу, как заскрежетало по борту, колебля весь ледокол. «Разводит льды» — думаю, когда в аршине от головы ухнуло, как из крепостной пушки, и, окончательно убедившись, засыпаю крепчайше...

Странное дело: дома и на охоте я просыпаюсь от малейшего звука, и бывает достаточно взгляда, чтобы тотчас проснулся. Здесь под грохот и стук, похожий на пальбу крепостной батареи, мы спим отлично. Нашего хорошего самочувствия не нарушают ни долгое

бодрствования, ни шум, ни утомительные и тяжелые прогулки...

Солнце светит ярко, до боли в глазах. Четвертый день мы попрежнему то бьемся во льдах часами на одном месте, то понемногу подвигаемся среди окружающих льдов. По звуку трущихся о борта льдин мы привыкли узнавать о ходе и, просыпаясь, первым долгом бежим на мостики:

— Много ли прошли?

— На два корпуса продвинулись за вахту.

— Ну, это не много...

— Что станешь делать...

Должно быть от скуки любители шахматной игры вывесили расписание, и начался шахматный турнир. Уткнув носы в доску, денно и ночно в кают-компания сидят шахматисты. Под грохот и треск в нижних каютах продолжают тревожные разговоры:

— Этак, может, и не выберемся?..

— Все может случиться...

— Запасы-то у нас, знаете?..

— Валенок всего двадцать пар...

— Надо бы продовольственную норму убавить...

— Ты, брат Муханчик, первый «загнешься»...

— Почему первый?

— Примета такая: кто морской болезни боится, тому и погибаться...

Чем дальше от берега, ярче вспоминаются подробности береговой жизни. И странной, недостижимой показывается эта, теперь такая далекая жизнь. Трудно представить, что где-то нестерпимо печет августовское солнце и люди загорают на пляжах. Удивительными показываются проходящие с земли телеграммы: «Купаемся в Крыму, здорово...»

Много ли прошло времени, а мы уже перестали чувствовать окружающую нас, все наполняющую, всюду проникающую грязь. Наши подушки на койках и собственные шеи немного светлее сапожного голенища. Мельчайшая кардифская пыль, обладающая свойством проникать во все щели, со времени встречи с «Сибиряковым» стала нашим бедствием. Ею наполнен твиндек, каюты. Пыль жирным слоем лежит на лицах, на книгах, в'елась в нашу одежду. Шкуры медведей, развешанные над спарде-

ком, те самые, над которыми мы столько трудились, с великим старанием отмытая жир, стали похожи на негодные черные тряпки. Собаки со свалывшейся, клочьями вылезшей шерстью, черной от грязи и сала, выглядят ужасно. Мы не много их чище. Некоторые из нас запустили густые черные бороды: покажи родной бабушке — и бабушка не признает...

Во многом переменялся, упростился и наш корабельный порядок. Больше хлопотливый Иван Васильевич не застилает на стол скатерти, превратившиеся в грязные тряпки. Мы спим не раздеваясь, из опасения проспать медвежью охоту или другой наиболее интересный момент. Время давно смешалось, мы опять спим урывками, а ночи просиживаем в разговорах...

.....

Сегодня двадцатое. Поверить трудно, что где-то снимают яблоки и жнут рожь, а на лугах пахнет сеном.

Утром подошел медведь. По топоту ног на палубе, по особенным крикам я догадался о начавшейся охоте. Мне не хотелось выходить наверх. Расстрел медведей (иначе нельзя назвать эту «охоту»), не видевших человека и доверчиво идущих к самому борту, прискучил. Я вышел, когда все было кончено и на палубе под шлюпкой, раскинувши лапы, лежала медвежья ободранная туша, а Ушаков жарил на камбузе парные медвежьи бифштексы.

Мы нередко лакомимся медвежатиной, и все считают необходимым хватить медвежье жаркое. Признаюсь, медвежье мясо мне пришлось не совсем по вкусу. Оно жестковато (если медведь старый) и отдает ворвань. Вообще к мясу медведя, ежели оно хорошо очищено от жира, имеющего неприятный запах, можно привыкнуть. По рассказам промышленников, нельзя употреблять в пищу печень медведя, которая ядовита и вызывает заболевание. Наоборот, печень тюленя, которой мы лакомимся на Земле Франца Иосифа, мало уступала свиной. (Кстати заметить, огромное большинство взятых нами медведей оказалось самками, — это обстоятельство противоречит наблюдениям других путешественников, добыча которых состояла главным образом из самцов).

Мясом мы положительно завалены. Медвежьи туши и окорока висят на вантах, разложены по всем шлюпкам. Собаки ходят с раздувшимися животами. Собаки и угольная пыль — два наших бедствия. От перекорма собаки поголовно страдают несварением желудка. На палубу положительно невозможно ступить, чтобы не увидеть мучающуюся рвотой собаку, тут же подбирающую то, что было отрыгнуто...

Миля за милей, зигзагами подвигается в окружающих его льдах «Седов». Воистину только в Карском море узнали мы, что такое настоящие полярные льды, и Земля Франца Иосифа представляется нам приятной прогулкой.

Все чаще забирается капитан в бочку, и оттуда слышится его хриплый голос. Капитан болен, но упорно перемагается на ногах. Мы все немного переохворали гриппом, который к нам завез с земли «Сибиряков».

Целую неделю мы бьемся во льдах, стараясь выйти на чистую воду. Теперь воочию понятно, какое огромное преимущество имеет во льдах ледокол перед обычным судном, вынужденным беспомощно пережидать разводки льдов. За это время мы отлично научились узнавать «водяное небо» и искренно радуемся, когда впереди засиневеет над горизонтом. А все темнее и темнее на юге небо, и мы радуемся вместе с капитаном, предсказывающим близкую воду. Терпение — наш лучший помощник.

Мы уже дивно вышли из пределов морских карт и пересекаем «белое пятно». Вместо английской подробной карты на столе в капитанской рубке лежит самодельная, наспех начерченная карта. На ней карандашом наносится пройденный курс — зигзагообразная линия, теперь круто спускающаяся к югу и упорно поворачивающаяся на восток.

— От мыса Утешения на мыс Желания, к острову Уединения, на мыс Неупокоева. Этак, пожалуй, угодим и на мыс Отчаяния... — грустно шутит мой сожигатель Павел Иванович, рассматривая карту.

Северная Земля

Только после недельной упорной борьбы с тяжелыми льдами, на широте острова Уединения «Седов» наконец вышел на свободную воду, приближение которой нам указывало темное «водяное небо». Борьба отняла много времени. Короткое полярное лето было уже на исходе. Близость зимы чувствовалась в дыхании холодного ветра, упрямо дувшего от берегов Северной Земли, в том, как стеклянно звеневшим под носом ледокола молодым прозрачным ледком прихватывало по ночам открытые полыньи.

Выйдя на воду, мы взяли курс на восток к мысу Неупокоева — самой южной точке исследованной части Северной Земли. Утром двадцать второго августа был открыт небольшой остров, лежавший справа по ходу. Не останавливаясь у неизвестного острова, видневшегося над льдами, отметив на карте его положение, мы продолжали двигаться на восток. Такое обилие островов в юго-восточной части Карского моря (архипелаг Норденшельда) давало основание предполагать, что Северная Земля, так же как и Земля Франца Иосифа, представляет не целостный и нераздельный материк, а многочисленный архипелаг островов, быть может, очень мелких¹⁾.

Чем дальше уходили мы на восток, сильнее чувствовался отрыв от внешнего живого мира. Еще ни одно судно не проникало в эти ледяные мертвые края. Единственная связь, соединявшая нас с миром, — радио — действовала несправно. Причину затруднения радиосвязи были дальность расстояния и гряда новоземельских гор, «заслонявшая» от нас мурманский берег, с которым мы общались. Правильной передаче мешали, кроме того, суда Карской торговой экспедиции, находившейся в южной части Карского моря. Переговаривавшиеся между собою, корабли и создавали невыносимый кавардак в эфире и, к великому огорчению наших корреспон-

¹⁾ Это предположение подтвердилось последними донесениями начальника североземельской зимовки тов. Ушакова, проделавшего ряд труднейших походов с целью обстоятельного обследования архипелага Северной Земли.

дентов, лишившихся возможности послать очередные сенсационные телеграммы, заглушали слабый голос «Седова».

Наконец 23 августа после неудачной попытки пробиться к южной оконечности Северной Земли, окруженной непроходимыми льдами, медленно продвигаясь на север, мы увидели покрытый льдом берег. Трудно было понять, что это такое. Над высокими нагромождениями льдов, отделявшими «Седова» от смутно видневшегося берега, мы ви-

дя мы были в недоумении — верить или не верить стоявшему перед нами видению. Скоро северный край ледяной прозрачной стены стал как бы испаряться и вытягиваться к небу. Больше сомнений не оставалось: перед нами была рефракция, полярный мираж, явление, вызванное преломлением лучей в нижних слоях атмосферы, создающее необычайные образы, не раз обманывавшие глаз полярного путешественника¹⁾



Северная Земля. Постройка станции

дели нечто, подобное белому облаку, а дальше возносилась над льдами как бы преграждавшая нам путь стена. Мы с удивлением смотрели на эту, чуть зыблившуюся, слабо мерцавшую, бескрайно уходившую в сиявшую даль стену. Казалось, высится над морем круто обрывавшийся, еще невиданный людьми громадный ледник. Стена далеко уходила на север и сливалась с туманившимся горизонтом. Впечатление возвышавшейся над льдами гигантской стены было настолько отчетливо, что долгое вре-

Через несколько часов, войдя в кромку торосистых льдов, «Седов» остановился в нескольких милях от неизвестного берега. Подойти ближе не было никакой возможности: высокие непроходимые торосы преграждали путь. Ме-

¹⁾ Так первый исследователь Земли Франца Иосифа австриец Пайер, достигнув северной оконечности острова Рудольфа, увидел лежащую на севере большую землю, которая им была нанесена на карту под именем Земли Псттерманна. Впоследствии оказалось, что никакой земли севернее острова Рудольфа не имеется.

сто, где остановился «Седов», не годилось для высадки, однако Ушаков, еще ранее об'явивший, что в крайнем случае, ежели окажется малейшая возможность сообщения с берегом, он готов высадиться на голый лед, в сопутствии некоторых участников экспедиции решил отправиться на разведки. Эта разведка подтвердила полную невозможность выгрузки у берегов неизвестного острова. Почти непроходимые нагромождения торосов препятствовали свободному передвижению к видневшемуся белому берегу. Насмерть уставшие путешественники, вернувшись на ледаюк, доложили, что покрытый снегом и льдом берег представляет собою небольшой островок, со всех сторон окруженный ледяными непроходимыми полями. Первая попытка высадиться на берег Северной Земли таким образом оказалась неудачной. Нам предстояло продвигаться дальше на север в поисках более подходящего места. Это значило, что для «Седова», для зимовщиков, для всей экспедиции наступили решающие дни.

Трудно припомнить все мельчайшие подробности нашего плавания у берегов Северной Земли. Мы почти не ложились, с нетерпением вглядываясь в окружающие «Седова», сливавшиеся с горизонтом, пространные ледяные поля. Много раз каждый из нас обманывался, стараясь насмотреть в выблевшейся призрачно расплывавшейся дали очертания неведомых гор и светящихся ледников.

Чем дальше забирался «Седов» в неизвестные ледяные края, грознее вставал вопрос о зимовке. В каютах шутя поговаривали, кому-де первому суждено «загнаться», припоминали судьбы несчастных экспедиций, гибнувших от недостатка снаряжения и взаимных неурядиц. Молчаливее, суровее всех был капитан. Пересилив болезнь, бледный и похудевший, с биноклем в руках он часами просиживал в наблюдательной бочке, изредка подгоняя крутым словом своего молодого помощника, туго усваивавшего трудную науку кораблевождения во льдах.

После первой неудачной попытки высадиться на ледяной берег мы потеряли надежду найти удобное для высадки место. Приуныл, кажется, и сам Ушаков.

Широкий и молчаливый, не выпуская из зубов трубки, опершись на поручни, он упорно вглядывался в окружающую нас, не обещавшую ничего хорошего белою замкнутую пустыню.

Мы мало надеялись близко увидеть берег. Тем более удивительно было, когда на следующее утро, задремав под грохот и треск, я проснулся от внезапно наступившей тишины и услышал, что наверху спускают на воду шлюпку. По особенной торопливости стучавших над моей головою шагов я догадался, что произошло необычайное.

Сосед и приятель мой Павел Иванович с изумлением поднимал из-под одеяла лохматую голову.

— Где мы?

— Ничего не знаю.

— Стоим?

— Стоим.

Быстро вскочив (спали одетые), спотыкаясь на мокрых ступеньках трапа, мы выбежали наверх. Негаданное зрелище предстало глазам нашим. «Седов» стоял почти у самого берега на чистой, свободной от льда, подернутой легкой рябью воде. Берег, запорошенный снегом, был в нескольких саженях от борта. Наполненная людьми шлюпка, треща подвесным мотором, уже подходила к белой каемке берегового припая.

— Точно для нас устроено, — стоя у трапа, шутя говорил повеселевший капитан, — даже готовая пристань имеется...

Окруженные собаками, ожидавшими у камбуза подачи, мы во все глаза смотрели на покрытый молодым снегом, грядою поднимавшийся берег, на одиночные черневшие на берегу камни. Над берегом, над далекими выступами обрывов висели густые темные облака. Белою порошинкой падала на мрачном фоне облаков одинокая чайка.

— Ну и земляца, хуже не выдумаешь, — пожимаясь от холода, заметил стоявший рядом со мною молодой кочегар.

— Ты не хотел бы остаться?..

— Нет, брат...

— Земля Франца Иосифа повеселеет будет.

— Сравнил! Там—Кавказ, красота...

— Тугонько Ушакову будет...

— Посмотри на него: не нарадутся...

Мы долго смотрели на берег, на двигавшиеся по припаю темные фигурки высадившихся людей. На палубу поросил снег. Снег засыпал берег, мягко ложился на смоленые днища опрокинутых на трюмах запасных лодок. По всему было видно: Северная Земля нас встречала зимою...

Остров Каменева

Так вот какова она, считавшаяся недоступной, Северная Земля! Шлюпка подходит к берегу, останавливается у припая, круто обрезанного над водою. Зеленоватое, покрытое мелким щебнем, виднеется дно. Мы выходим на лед, покрытый уже исслеженным снегом, ступаем на берег. Мелкая, перемешанная со снегом галька скользит под ногами. На камнях и каменных россыпях чистою простынею лежит молодой снег.

Здесь, на этом пустынном берегу, зимовщики окончательно решили обосноваться. На снегу очерчено место, где должен стоять домик. Маленькому голому островку суждено стать первым пристанищем человека. Странными показываются на покрывающем берег чистом белом снегу первые человеческие следы...

Страшная, пустынная, мертвая земля! Здесь нет похожего на сверкающие куполообразные горы Земли Франца Иосифа, нет ничего общего с лиловыми, краплеными серебром, скалистыми берегами Новой Земли. Не слышно шумных птичьих базаров, нет носящихся над водою бесчисленных птиц, не видно ярких полярных маков. Серое небо мрачно и низко.

Скользя по осыпающимся камням, поднимаюсь на высокую насыпь, протянувшуюся вдоль открытого, пологого берега. Черное, окаймленное рамкою льдов лежит внизу море. Поправив за спиною ружье, застегнув плотно куртку, борясь с тугим, пахнущим зимою, дующим в лицо ветром, я иду берегом. Внизу — лед, снег, облизанные прибоем синие, сидящие на мели льдины. С плеском бьются о лед холодные волны. Черные камни, точно могильные надгробия, поднимаются из-под снега. Редкие, сбиваемые ветром, пролетают над берегом и морем одиночные чайки. Я иду берегом,

печатая на молодом тонком снегу следы — первые человечески следы на этой мертвой застылой земле. Равная стрелка звериных следов нитью вьется по краю берегового откоса. Я смотрю на камни, грудую свалившиеся с берега в море. Там, по самому гребню, западая и появляясь, клубочком катится еще невылянившийся песец... Каменный берег пуст и суров. Я оглядываюсь: белая, мертвая, прорезанная выступами каменных обрывов простирается передо мною пустыня. Солнечный луч, прорвавшись, освещает над землею край черной нависшей тучи. Я останавливаюсь, пораженный: такую представляется мне земля через многие миллионы лет...

Я поднимаю бинокль, вглядываюсь в зыблющуюся глубину мертвой пустыни. В белом сверкающем поле знакомо движется желтоватое пятно. Оно то появляется, то исчезает, сливаясь с белизной снега. Что это — медведь, обман зрения? Я вглядываюсь терпеливо. Иногда со всею отчетливостью видится, как переступает, длинно вытягивает шею, останавливается по своим делам неторопливо бредущий зверь. От яркости далее слезятся глаза. Медленно переводя бинокль, я осматриваю весь горизонт. Вот посреди отсвечивающей зелено-голубым, очень похожей на лунный пейзаж ледяной широкой равнины бредет второй. Мне видны его движения, смешно трясущийся зад. Я слежу, пока он скрывается за голубыми частыми, как сказочный лес, ропаками, и веду бинокль дальше. Зубчатой белой грядой обрывается над морем неподвижная кромка. Кажется, там среди прибрежных торосов желтеет выкинутая на припай покрытая водорослями неподвижная льдина. Я спускаюсь с пригорка, перебегаю покрытую снегом лощину и подхожу ближе. С высокого берегового обрыва видно как с колокольни: это среди высоких белых торосов лежит на снегу третий медведь. Он лежит ко мне задом, и в бинокль видны подошвы его задних, спокойно вытянутых лап. Сколько до него, — сто, двести шагов или наберется целый километр? Я осторожно спускаюсь по откосу на лед и тотчас теряю взятое направление. Точно стены вымершего белого города обступают меня торосы. Я долго и бес-

помощно блуждаю в лабиринте белых снеговых улиц и, окончательно сбившись, опять взбираюсь на крутой берег. Медведь лежит на том же месте, между двумя ропаками, в белой глубокой лощине. Вот он, задрав лапы, неуклюже перекачивается с боку на бок и, раскочавшись, встает. Вижу, как, встряхнувшись, медведь оглядывается и, точно подумав, неторопливо пускается в путь.

гом бегают шлюпка. Хозяева строящейся станции по очереди сменяются на руле. Шлюпка то-и-дело возвращается, ныряя на темной зыби, и, забрав на буксир нагруженные большие лодки, сделал широкий круг, отходит на берег.

Мы работаем на берегу. Уже исследован, завален снаряжением служащий пристанью край ледяного припая. На берегу — штабеля ящиков, бревен, меш-



Санная партия возвращается с острова Визе

Еще долго сквозь занавес падающего снега вижу, как, удаляясь, меж ропаками колышется длинная белая спина зверя...

Я возвращаюсь нескоро. Уже кипит на берегу работа, движутся подле начатой постройки люди. Черными катышками, туго закрутив хвосты, катаются по снегу собаки. Мертвый, точно опустелый, чуждый окружающему миру, маячит в снеговой дымке «Седов».

День и ночь, ночь и день между берегом и кораблем нагруженная для устойчивости тяжелыми ящиками с винтовочными патронами, засыпаемая сне-

ков, маслянисто желтеющих досок. Над берегом крутит и несет поземка. Подле раскиданных на земле бочек вытягиваются островерхие грядки сугробов.

Я помогаю Колдуну. Весело смотреть на его ловкие руки, по локоть выпачканные глиной. Моя обязанность — греть воду и топтать глину. (Глина и песок привезены из Архангельска.) Колдун снисходительно смотрит на нашу работу. Он с замечательной быстротой укладывает мокрые кирпичи, и они разом точно прирастают. На работе Колдун серьезен и молчалив. Он прилаживает кирпич, пристукивает черенком

лопатки и, присевши на корточки, лобуется на своё творение.

— Молодец, Колдун!

— Я молодец, — отвечает серьезно Колдун. — Я свое дело знаю...

По каменистому, холодному берегу уныло бродят проголодавшиеся коровы. Им негде укрыться от холодного ветра, несущего над землею поземку. Снег тает на их костлявых спинах. Они жмутся к фанерной стенке; жуют мокрое сено. В горячке работы о них забыли. Собаки, радуясь долгожданной свободе, далеко рассыпались исследовать незнакомый берег. Собаки чувствуют себя, как дома...

Сегодня мы рыли яму для укрепления радиомачты. Впервые на деле я узнал, что такое «вечная мерзлота». На вершок от поверхности пещина наткалась на окаменелый лед, имевший крепость цемента. Лед откалывался маленькими кусками, и потребовалось двое суток (мы работали в две смены), чтобы вырыть четыре небольших ямы для укрепления оттяжек.

Мы долго провозились с установкой мачты. Трудно при помощи багров и легионской лестницы поднять и укрепить тяжёлое двенадцатиметровое бревно. Несколько раз к удовольствию кинооператора, охотившегося за «эффектными» кадрами, бревно падало, грозя раздробить наши головы, и мы рассыпались в стороны, как воробьи. Наконец за дело взялись матросы, и под руководством штурмана Хлебникова при помощи талей (система блоков, облегчающая подём тяжестей) мачта благополучно была водружена на место.

Все время, пока мы работали на берегу, в бухточке против станции плавали и играли морские зайцы. Пуская круги, они то появлялись на поверхности бухты, то исчезали, как подводные лодки, на секунду показывая широкие, блестящие над водой спины. Однажды к станции подошел медведь. Он шел под берегом вдоль кромки припая. Подвигавшегося на берегу зверя заметили с палубы корабля. Тотчас вооруженные охотники направились в шлюпке на берег. Медведь ни малейшего внимания не обратил на высаживавшихся людей. Он продолжал заниматься своими делами и внимательно обнюхивал поднимающиеся на откос свежие собачьи следы.

Его застрелили почти в упор. Точно тяжелый мешок, он скатился с откоса к ногам охотников вместе с грудой сухого рассыпавшегося снега. По настоянию кинооператора для доставки убитого зверя были запряжены в нарты собаки. «Кадр» получился великолепный, и любители сниматься имели полную возможность много раз позировать подле привязанного к нартам первого добытого на Северной Земле зверя.

Северная Земля, на одном из островов которой «Седов» высадил первых зимовщиков, была открыта в 1913 году, перед мировой войною. До того времени полярные путешественники не подзревали о существовании большого архипелага, являвшегося как бы протяжением малоизученного Таймырского полуострова, разорванного узким проливом. Летом 1913 года два судна гидрографической экспедиции, ледоколы «Таймыр» и «Вайгач», под начальством капитана Вилькицкого вышли из Владивостока, чтобы произвести описание берегов и изучение моря от устья реки Лены вдоль восточного и северного побережья Таймырского полуострова.

В конце августа, следуя к мысу Челюскина (северная оконечность Таймырского полуострова и самая северная точка всего великого континента), ледоколы Вилькицкого встретили ледяное поле. Чтобы обойти его, они повернули на север, и двадцатого августа открыли остров, получивший название Малый Таймыр. Следуя дальше, экспедиция вскоре увидела покрытые льдом высокие берега неизвестной земли. Так была открыта Северная Земля, первоначально названная Землею Николая II. Капитану Вилькицкому удалось нанести на карту восточный берег этой вновь открытой земли примерно до 81° северной широты, где ледоколы встретили непроходимые льды и были вынуждены вернуться.

С тех пор нога человека не ступала на берега Северной Земли, а западная ее сторона, омываемая суровым Карским морем, считалась до сего времени недоступной. Советской экспедиции на «Седове» впервые удалось одолеть считавшиеся непроходимыми льды Карского моря, положить на карту вновь откры-

тые острова и таким образом на деле закрепить за Советским Союзом принадлежащий ему архипелаг Северной Земли.

Трудно предсказать будущее этого, пока еще мало обследованного архипелага, площадь которого повидимому занимает большие пространства. Обилие зверя вблизи открытых «Седовым» островов со всею очевидностью свидетельствует о будущем промысловом значении Северной Земли, куда еще не решился проникнуть промышленник и охотник. Недра ее неисследованы. В них могут оказаться ископаемые богатства, быть может, месторождения драгоценнейшего металла — платины, несомненные признаки которой найдены на соседнем с Северной Землей Таймырском полуострове, характером своего строения и геологической природой вполне схожем с Северной Землей.

Уже можно говорить теперь о другом — грядущем — значении Северной Земли, когда при развитии трансарктического воздушного плавания полярные земли станут базами для воздушных кораблей, и кратчайший путь из Европы в Америку пройдет через полюс.

В последние годы было много проектов исследования Северной Земли. Успешный поход «Седова», энергия четырех зимовщиков, без колебания решившихся остаться на берегах отрезанной от всего живого мира, отделенной непроходимыми пространствами земли, позволили осуществить давнишнее намерение полярных исследователей. Первым исполнителем этого намерения явился советский путешественник, коммунист, бывший сибирский партизан — Георгий Ушаков¹⁾.

¹⁾ По сведениям, полученным в течение зимы с острова Каменева, Ушаков уже успел проделать громадную работу. В течение весны им совершено несколько длительных походов, достигнута северная оконечность Северной Земли, названная мысом Молотова, и начат большой поход на восток на пересечение архипелага, занята и всесторонне обследованы берега, установлены астрономические пункты. Первые свои походы Ушаков начал еще зимою. Все эти походы были проделаны при участии геолога Урванцева и промышленника Журавлева. На станции оставался самый молодой член экспедиции радист Ходов. На нем лежала ответственная обязанность сношения по радио с внешним миром и с отсутствующими товарищами, ведение метеорологических наблюдений и записей.

Уже на четвертый день непрерывной работы дом был готов, и Колдун затопил печку. Над новой крышей повалил дым — первый дым человеческого очага над берегами Северной Земли. Окна обжито запотели. Плотники заканчивали сени, где должен помещаться склад необходимого продовольствия на случай, ежели зимою дом занесет с крыши, и обитатели будут отрезаны от внешнего мира.

Где неделю назад бродили медведи и перебегали песцы, а ветер крутил по гольм камням сухую поземку, теперь высилось становище, пахло дымом и человеком. Маленький дом был похож на деревенскую избу с небольшими квадратными оконцами, выходящими на открытое море. Внутри избушку разделяла высокая перегородка. Нельзя назвать уютным помещение, где трудно разместить самые необходимые принадлежности человеческого жилища. Североземельцы не имели удобств, которыми располагали зимовщики бухты Тихой на Земле Франца Иосифа. У североземельцев не было отдельных комнат, светлой столовой с висячей лампой и граммофоном, не было просторной кухни и умелого кока. Четырем оставшимся на берегу людям предстояло распределять между собою насущный, необходимый для суровой борьбы за жизнь труд.

Высокие островерхие сугробы уже всею очевидностью напоминали нам о наступлении зимы, и, чтобы не подвергать риску судно, на тридцатое августа был окончательно назначен отход «Седова». Последний день мы провели на берегу, помогая устраниваться зимовщикам. Засыпаемые густой метелью, мы торопливо перетаскивали и складывали выгруженные на берег запасы. Плотники обшивали теплой обивкою стены. Это были отличные архангельские ребята. Их умелая и дружная работа в значительной мере способствовала нашим успехам.

Сам Ушаков, кирпично загорелый и похудевший (он работал почти не дышая) был невозмутимо спокоен, хорошо улыбался, открывая плотные, блестящие на смуглом лице зубы. Он очень мало говорил и еще меньше позировал перед объективом, предпочитая заниматься делом. И дело под его руководством катилось споро и гладко.

Утром тридцатого мы прощались с североземельскими зимовщиками. День был туманный, с низкого, пасмурного неба сыпался мокрый снег. Проводы начались на берегу. После речей и братских пожеланий над крышею взвился красный флаг. В последний раз мы смотрели на возведенные нашими руками постройки, на покрытую снегом, белешую под ногами землю.

В полдень «Седов» поднял якорь. У трапа покачивалась знакомая шлюпка. Сбравшись на спардеке, мы крепкожимали руки четырем оставшимся на берегу людям. Последним спустился по трапу радист Ходов. На безусом, обсеянном веснушками, обветренном лице его таяли падавшие снежинки.

Шлюпка провожала отходившего малым ходом «Седова». Мы следили, как она ныряет, качаясь на зыби. В шлюпке виднелась пегая куртка Ушакова, рыжели растрепанные ветром волосы на непокрытой (по самоедскому обычаю) голове промышленника Журавлева. Вот Ушаков вынул револьвер и трижды выстрелил в воздух. Седовцы ответили дружным залпом.

Со мною обочь стоял буфетчик Иван Васильич. Моргая маленькими глазками, он с печально смотрел на уменьшавшуюся шлюпку. По пухлому его личику текли слезы.

— Иван Васильич, что с вами?

— Жалко, жалко, ох, жалко, — чашенькой скороговоркой, покачивая головою, заговорил Иван Васильич. — Очень хорошие люди...

— Да ведь будут живы, еще свидимся.

— Знаю, что будут живы, а жалко. На такую муку остались, — повторял Иван Васильич, кончиком салфетки вытирая катившиеся по щекам слезы.

Мы смотрели, пока на фоне удалявшегося туманного берега шлюпка стала совсем маленькой точкой. Вот она остановилась и, сделав круг, повернула обратно. До слуха ветер донес сухие револьверные выстрелы. Это прощались зимовщики с «Седовым».

Выйдя в море, мы не естретили никаких признаков близкого льда. Открытая вода, без единой льдинки, темнеела до самого горизонта. Мелкая зыбь катилась по просторному, пенившемуся белыми

барашками морю. «Так бы итти до Архангельска» — думали мы, любуясь на клубившиеся, накатывавшие на нос «Седова», рассыпавшиеся пеной черные, седоватые волны.

А еще рано нам было мечтать об Архангельске! Темневшее впереди море, запас времени и угля позволяли «Седову» продолжить поход. Вечером тридцатого августа на летучем совещании руководителей экспедиции было решено использовать благоприятные условия плавания и итти дальше — с целью выяснения протяжения Северной Земли к норду. Мы хорошо понимали, что этот новый поход был связан со значительным риском: забравшись на высокие широты, «Седов» ежечасно мог оказаться отрезанным льдами, подошедшими из Карского моря. Однако сопутствовавшие «Седову» удачи, полное отсутствие льдов и благоприятный северо-восточный ветер, отжимавший льды от берегов Северной Земли, поддерживали уверенность в успехе.

Следуя прямо на север (весь этот день мы шли открытой, просторной, едва зыблившейся водою), только под вечер, на 81° северной широты, увидели мы первые признаки льдов — небольшие отдельно плававшие льдинки, и скоро «Седов» вошел в кромку. Незабываемая, неповторимая картина предстала глазам нашим. Высокие ледяные горы со всех сторон окружали упершегося в непроходимый пак «Седова». Мертвенно-желтое солнце, отражаясь в зеркальном разводье, стояло над самым горизонтом. Янтарные блики ложились на всех окружающих нас предметах, окрашивая в мертвенный цвет наши лица. С изумлением любовались мы на холодное, янтарное, точно погасавшее над миром солнце. Казалось, окружавшая нас ледяная пустыня, светящаяся янтарным мертвенным светом, принадлежит неведомой, давно застывшей планете...

Высокий, поднимавшийся над льдами берег неизвестного ледяного острова преградил «Седову» путь на Север. Дальше подвигаться не было никакой возможности. Пробившись ночь во льдах, утром первого сентября «Седов» повернул на юг. Поход к северу был закончен.

Возвращение

Все свидетельствовало о наступлении полярной зимы, когда — теперь уже окончательно — «Седов» направился в обратный путь. Короткое полярное лето минуло, как дым. С каждым днем становилось холоднее, ниже спускалось по ночам солнце, и по утрам в полыньях крепко застывал молодой лед. Однажды мы извлекли на палубу большой кусок этого льда толщиной в вершок, прозрачного, как самое дорогое стекло. После большой стоянки у острова Каменева «Седов» принарядился, подчистился, принял почти праздничный вид. На палубе теперь не было нестерпимой сумятицы и тесноты, не толклись под ногами, не грызлись на каждом шагу вывалившиеся в грязи и угольной пыли собаки. Матросы, надеясь на скорое возвращение, точно перед праздником старательно вымыли палубу, убрали и подчистили трюмы.

Далека была большая земля, где нас ожидали близкие люди, и многое могло приключиться в пути, а мы уже были настроены по-береговому, и в каютах прекратились унылые разговоры о предстоящей зимовке. Часто собирались мы в радиорубке, где переговаривался с далекой землей радист Гершевич. В маленькой рубке было тепло и уютно. Все ближе, понятнее становились приходившие с далекой земли вести...

Вечером первого сентября, проходя широту острова Каменева, мы еще раз вспомнили оставленных на острове зимовщиков. Когда-то в эти ледяные края заглянет корабль? Сколько долгих зимночей предстоит им провести на берегах неприветливой Северной Земли? Какие ожидают их опасности и непредвиденные лишения?

Задача, поставленная Ушаковым, огромна. В течение двух полярных весен он должен обойти и обследовать архипелаг Северной Земли, величина и протяжение которого неизвестны. В условиях почти полной оторванности от внешнего мира (ежели не считать мало мощной коротковолновой радиостанции, нормальная работа которой может затрудниться множеством непредвиденных причин), при самых ограниченных средствах передвижения (на острове Каменева оставлено всего сорок ездовых

собак) решимость Ушакова является подвигом, которому суждено остаться в истории полярных путешествий.

По плану Ушаков должен пробыть на Северной Земле не менее двух лет. Это самый скромный запас времени, чтобы проделать необходимую работу. Уже зимою зимовщики должны отправиться в первые санные путешествия с целью устройства вспомогательных складов продуктов и снаряжения. Эти зимние походы послужат подготовкою для более продолжительных и трудных весенних. Опыт больших санных экспедиций (для осуществления которых требуется большой запас пищи не только для людей, но и для собак, тянущих чарты) установил полную необходимость таких вспомогательных, заранее подготовленных баз, которые служат как бы промежуточными станциями большого похода.

Оставив зимовщиков на маленьком голом островке, затерянном в ледяной пустыне, на долгое время мы предоставили их самим себе. Трудно предполагать, что благоприятные ледовые условия, сопровождавшие поход «Седова», помогшие выполнить трудные задачи, будут продолжаться последующие годы и проход к берегам Северной Земли останется открытым. Если путешествие к берегам Земли Франца Иосифа еще в недавние времена являлось опасным предприятием, то поход через льды Карского моря к берегам Северной Земли можно считать подвигом, на который не всякий может решиться. В случае, ежели окажется, что смену на остров Каменева невозможно доставить, у зимовщиков останется единственный путь ко спасению: идти пешком через огромные ледяные пространства на юг, к населенному берегу.

На пути к югу, воспользовавшись благоприятными условиями и запасом времени, наши ученые занялись обстоятельными научными наблюдениями. Еще от мыса Желания, при входе в Карское море, на «Седове» установились регулярные метеорологические и гидрологические вахты и почти все участники экспедиции были мобилизованы на работу. Мы записывали показания барометра и ежечасно для измерения температуры брали из-за борта морскую воду.

Время от времени «Седов» останавливался для тщательного измерения глубин (Карское море, изобилующее мелями и банками, еще очень мало обследовано) и подробного исследования глубинных слоев воды и морского дна.

На обратном пути количество таких станций было увеличено. Каждые четыре часа «Седов» застопоривал машину, и все сотрудники экспедиции, распределив занятия, принимались за работу. Гидрологи при помощи особых автоматически закрывавшихся на любой глубине приборов—батометров—доставали с различных глубин пробы воды, которые тут же в походной химической лаборатории подвергались первому химическому исследованию. Биологи занимались добытием мельчайших организмов «планктона», населяющих толщу морской воды. Геологи извлекали и исследовали донный грунт. Неутомимый Григорий Петрович заведывал тралом. Это, пожалуй, была самая трудная и самая интересная работа. Трал — широкий, сплетенный из тонкой и прочной бечевы мешок, укрепленный на железной раме, — спускали на глубину нескольких сот метров. Вoločась за дрейфующим кораблем по морскому дну, трал захватывал все живое население морского дна. С нетерпением ожидали мы каждый раз подъема трала. Множество самых разнообразных подводных организмов копошилось в наполнявшей мешок тине. Григорий Петрович, с ног до головы облепленный липкой грязью, с изумительным терпением извлекал из тины одно за другим удивительные шевелившиеся существа, похожие то на гигантских противных мокриц, то на венчики великолепных больших цветов. Множество банок с притертыми пробками, наполненных пробками воды и заспиртованными организмами, было уложено в тяжелые ящики, в которых им предстояло путешествовать до ленинградских лабораторий⁴⁾.

⁴⁾ Научные работы на «Седове» велись по трем основным линиям: гидро-метеорологической, биологической и геологической. Кроме того, производились океанографические работы, измерение глубин и с'емка берегов. Существеннейшее значение имели гидрологические работы, которыми руководил В. Ю. Визе. Результат этих работ имеет громадное значение для точного изучения режима льдов в полярной

Часто мы встречали отдельные льдины, как бы покрытые бурой грязью. Казалось, эти льдины недавно оторвались от берега, где их забросало песком и тинной. Бурый цвет необыкновенных льдин зависел от присутствия микроскопических водорослей, свободно размножавшихся на поверхности льда. Пятна этих водорослей, притягивавшие лучи солнца и как бы с'едавшие под собою лед, были далеко видны на ослепительно-белом, покрывавшем льды снегу.

Нередко во время остановок у борта «Седова» появлялись любопытствующие тюлени. Однажды тюлень, вынырнувший почти под самым бортом, настойчиво наблюдал за нами, когда мы спускали и поднимали из моря батометры. Круглая, точно лакированная голова зверя долго торчала над поверхностью воды. Нам близко была видна его кошачья усатая морда и большие, разглядывавшие нас глаза. Тюлень наверное долго бы занимался разглядыванием необыкновенных, невиданных существ, если бы его не увидели наши «охотники». Со спардека неожиданно грянул выстрел. Мы видели, как пуля разможжила торчавшую над водою круглую голову, и туша бесследно скрылась. Стрельба по тюленям была беспредельной, и большинство убитых зверей безнадежно тонуло в черной воде. Однако, несмотря на уговоры (особенно сердился на такую беспредельную пальбу капитан), стрельба по появившимся в разводьях тюленям продолжалась, и мы не раз наблюдали, как на месте доверчиво поднимавшегося над водою зверя после удачного выстрела (к счастью мазали часто) широко расплывалось кровавое пятно...

Эти дни я нередко сменял на мостике рулевого. Я скоро усвоил искусство лавирования среди ледяных белых полей. Было очень приятно чувствовать, как большой тяжелый корабль покорно слушается движения руки, а мимо проходят несокрушимые, отсвечивающие

области и влияния теплых и холодных, нередко меняющихся течений на количество льдов в полярных странах. Все это должно послужить на пользу человеку, настойчиво и упорно проникающему на дальний север, где, по мнению метеорологов, «делается погода».

голубым льдины. Однажды, когда я стоял на руле, а «Седов» шел серединою широкого, с отдельными плававшими льдинками разводья, капитан негадано приказал:

— Лево на борт!..

Я положил лево. Нос корабля покатился быстрее и быстрее, заворачивая к югу. Когда по носу показалась большая льдина и пароход сделал почти полный круг, капитан, показывая на воду, сказал:

— Медведи плывут...

Передав матросу штурвал, я вышел из рубки. Семейство медведей — медведица и два медвежонка — плыло почти под бортом. Заметив надвигавшийся корабль, они прибавили ходу, все время оглядываясь и поворачивая морды с шевелившимися черными пятками. Только зоркие глаза капитана могли рассмотреть издалека их головы, едва видневшиеся над водою. Сверху видно было, как загребают они лапами под водою, как, просвечивая в зеленоватой воде, одна за другою плывут их длинные вытянутые туши.

Мы давно не встречали медведей, и появление медвежьего семейства было большим развлечением. Очередь в стрельбе принадлежала пароходной команде. Первым же выстрелом плывшая впереди медведица была убита. Ее длинная туша, почти скрытая водою, осталась плавать среди мелких льдин.

Оставшихся медвежат, торопливо отгребавших от ледокола, матросы решили взять живьем. Предприятие это однако оказалось очень нелегким. Пока спускали шлюпку и в нее усаживались люди, медвежата успели отплыть и взобрались на вершину торосистой, одиноко плававшей льдины. Заметив приближавшуюся, наполненную людьми шлюпку (матросы изо всех сил нажимали на весла), медвежата быстро скатились с льдины и, плюхнувшись в воду, направились к ледяному, белевшему впереди полю. С мостика удобно было наблюдать за охотой. Мы видели, как шлюпка, настигнув плывших и оглядывавшихся медвежат, заставила их повернуть обратно. Медвежата очень ловко увертывались от настаивавшей их, не успевавшей быстро разворачиваться шлюпки и ловко сбрасывали накидываемые им

на шею веревочные петли. Погоня продолжалась долго, и наконец медвежатам удалось выбраться на сплошной лед. Встряхнувшись по-собачьи, разбрызгивая мокрый снег и поминутно оглядываясь, они очень быстро запрыгали по гладкой поверхности льда. Высадившиеся на лед матросы напрасно старались их окружить.

Матросам так и не удалось поймать удравших на лед медвежат, и шлюпка вернулась ни с чем. Долго пришлось «Седову» кружить в полынье, разыскивая среди льдин тушу убитой медведицы. Пока мы кружили и поднимали найденную наконец тушу, медвежата опять приблизились к полынье. Они ходили где-то по самому краю и звали мать. Уходя, мы долго слышали их жалобный призывный вой.

Миновав остров Уединения (попытка подойти к острову оказалась неудачной), почти сутки пробившись в тяжелых льдах, достигавших десяти баллов¹⁾, третьего сентября «Седов» наконец вышел на воду и взял курс на запад. Опасности были позади. Недавние впечатления и тревоги — ледяной мертвый остров, потухшее янтарное солнце, токсичные разговоры о зимовке — показывались недавним сном. Легкая, идущая с юга зыбь уже покачивала плававшие разбитые льдины. В ночь на четвертое в тумане мы увидели очертания идущего судна. По определению капитана это было одно из госторговских промысловых судов, забредшее в льды Карского моря.

— Ну, теперь дома, можно и с завязанными глазами дойти, — весело улыбаясь, говорил капитан, точно помолодевший на добрый десяток лет.

Скоро зыбь и зойдовый ветер стали переходить в шторм. Через палубу,

¹⁾ Плотность и количество льдов, так же как силу ветра и облачность, на море принято исчислять по десятибалльной системе. Так, отсутствие льдов обозначается в вахтенном журнале, который ведется на каждом корабле непрерывно, ноль, редкие одиночные льдины — 1—3 баллами, разреженные ледяные поля — 4—7, тяжелые, почти сплошные льды — 8—9. Ледяное сплошное поле, на котором не видно признаков разводья, — 10. «Седов» на своем пути неоднократно попадал в такие сплошные поля, и тогда в судовом журнале отмечалось кратко: «лед 10 баллов».

смывая остатки грязи, перекачивали шумные волны. Ночью в твиндеке с грохотом разбился наполненный стеклянной посудой ящик. Где-то перегорели подмокшие провода и погасло электричество. В полночь, лавируя в темноте между катавшимися по трюму боченками и ящиками, наступая на осколки, стекла, я с трудом выбрался на палубу, чтобы выполнить очередные метеорологические наблюдения. Тотчас холодная волна накрыла меня с головою и, клубясь белой пеной, шумно раскатилась по палубе. Бредя по колено в воде, крепко цепляясь за поручни и стойки, я поднялся на мостик. Труднее всего было взбираться с термометром в руках на крышу рубки, где производились наблюдения. Ветер отдирал от трапа. Мостик и рубка широко раскачивались, точно взлетали над покрытым пеною морем. Повесив термометр, держась за железную стойку, расставив широко ноги, я долго любовался на кипевшее, гулявшее море.

Всего труднее было взять из-за борта очередную пробу воды. С ведром в руках, привязанным к длинной веревке, я ожидал удобной минуты. Внизу то образовывалась глубокая пропасть, то с шумом и плеском, змеясь белой пеной, накатывала зыбь. Улучив момент, я бросил в воду ведро, и тотчас огромная волна, оторвав от вант, за которые я держался, перекинула меня к лебедке. В моих руках остался скользкий кончик веревки. Стараясь ухватиться за кнехты, я выпустил этот кончик, и ведро исчезло в бушующей пучине...

По утру шторм продолжался. Невообразимый вид имели наши каюты. Порожние, катавшиеся по палубе бутылки, ящики, битая посуда, лежавшие под койками сапоги, — все это, движимое непонятной силой, летало из угла в угол. Лежа в койке, крепко упершись ногами в спинку, я наблюдал, как висевшее над головой полотенце само собою вставало перпендикулярно к стене. Глиняный кувшин с водой, стоявший в гнезде над столом, и полочка с книгами пока держались. Смотря на них, я слушал, как в соседней каюте ботаник, чертыхаясь, старается поймать свои разлетевшиеся пожитки. Вот поддало так, что вместе

с кувшином в нашей каюте упал стол и на меня с полки посыпались книги.

Благополучно обогнув мыс Желания и выйдя в Баренцево море, встретившее нас сгущавшимися сумерками, «Седов» еще раз завернул в Русскую гавань (где месяц назад мы встретились с «Сибиряковым»), чтобы, пользуясь запасом времени, произвести дополнительные исследования и съемку. Все неузнаваемо изменилось здесь за короткое время. На каменных, еще недавно лиловых берегах уныло серел молодой снег. Птицы покинули базары, и в скалы Богатого острова угрюмо бились, высоко взлетая, сердитые волны.

Эти последние дни ушли на упаковку и складывание добытых материалов. День и ночь в твиндеке работали плотники, заколачивая тяжелые ящики. Удачливые охотники засаливали и укладывали медвежьи шкуры. В ящики упаковывались добытые на далеких берегах «трофеи».

В эти дни с особой горячностью взялись за работу кинооператоры, во время прозевавшие сделать необходимые снимки. Десятки раз перед объективом киноаппарата участникам экспедиции приходилось разыгрывать сцены уже оконченного путешествия. В горячке кинооператоры часто ссорились между собой, и эти ссоры не раз служили предметом веселых шуток.

Подшучивали на сей раз и над корреспондентами, уже оправившимися от морской болезни. Однажды за чаем веселый штурман Юрий Константинович, взглянув на сидевшего за столом уныло зевавшего корреспондента, подмигнув, сказал:

— Этакое дело, знаете, сегодня ночью на палубу выкинуло штормом трех большущих дельфинов...

У корреспондента тотчас загорелись уши.

— Где, каких дельфинов?

— Как же, — не сморгнув глазом, продолжал штурман «разыгрывать» корреспондента, — стою на вахте, на мостике, ударила, знаете, волна, гляжу — на баке три дельфина, грамаднейшие... Я скорей вниз, налег брюхом, да разве удержишь. Как борова. Их другой волной смыло...

Сорвавшись с места, корреспондент вихрем помчался в каюту. Было слышно, как защелкала пишущая машинка.

— Ну, берегись, Гершевич, — сказал штурман радисту, — слов на триста будет тебе работы...

Чем ближе подходим мы к Архангельску, темнее делались ночи. Вечером солнце опускалось за горизонт Багряные, «земные» стояли на небе облака.

Тринадцатого сентября мы увидели огонь маяка. Маяк то вспыхивал, то погасал беззвучно. Редкое его сияние подчеркивало черноту пустынного моря. Днем прошли Горло. Виднелись желтые туманившиеся берега. Ночью остановились у пловучего маяка. Весело прозвучал голос капитана:

— Отдать якорь!..

Утром пятнадцатого мы входили в Двину. Странно было видеть деревья, зеленую траву. Встречный иностранный пароход, нагруженный лесом, разминулся деловито. Советский бойкий буксирок, спешивший вниз по течению, весело загудел, приветствуя «Седова». Удивительно было видеть людей на берегу, белые

платочки женщин, толпившихся на берегу у перевоза. Небольшая черная лодочка с двумя бабами, сидевшими на веслах, долго качалась на разведенной «Седовым» зыби. Медленно проходя мимо заваленных лесом плоских берегов, «Седов» приближался к знакомой пристани. Издали было видно, что все места у причала заняты. Человек в форменной фуражке кричал в рупор:

— Иди-те к хо-ло-дильнику!..

Миновав Красную пристань, тревожа со дна зеленую грязь, «Седов» отдал концы. О прибытии «Седова» еще не знали в городе. На пустой пристани ветер закручивал пыль. Единственный человек в кожаной куртке, расставив ноги, смотрел равнодушно на подходивший корабль. Женщина с двумя детьми махала капитану платочком. Лицо капитана радостно просияло.

Скоро мы были на берегу. Мы ступали по твердой, исхоженной земле. Льды, белая мертвая пустыня, недавние разговоры о зимовке остались в прошлом. Горячая, как горн, кипучая, строящаяся наново жизнь, малой частью которой был наш поход, теперь показывалась кипучее и горячее.

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение¹)

Одиннадцатого октября северо-западная армия Юденича разорвала на две части фронт Красной армии и начала стремительное наступление на Петроград в направлении: Красная Горка (левый фланг), Детское село (центр) и станция Октябрьской дороги Тосна (правый фланг). Северо-западная армия численностью в восемнадцать тысяч пятьсот штыков и сабель, при танках и четырех бронепоездах, была одета в свежее английское обмундирование и прекрасно снабжена пищевым довольствием и огневыми припасами. Шли, как на прогулку, отбрасывая к северо-востоку красные части.

С моря над Петроградом навис английский флот адмирала Коуэна. С севера стояла готовая к карательным действиям семидесятитысячная, по-европейски вооруженная армия финнов. В самом Петрограде сидело тайное правительство, сформированное английским агентом Полем Дьюксом (выдававшим себя за социалиста, друга России). Старое правительство, сколоченное в сорок минут и продолжающее разговаривать в гостинице Дорбат, в Ревеле, считалось (союзниками) уже сыгравшим политическую роль: с начала наступления о нем забыли, хотя Кедрин, Лианозов и Маргульес слали отчаянные телеграммы в Лондон, предупреждая цивилизованный мир о неминуемых ужасах расправы юденичевской военщины над не-

счастливым Петроградом. Телеграммы оставались без ответа, — цивилизованный мир принял к сведению заявление Юденича о том, что Петроград после взятия будет изолирован на сто дней в целях планомерной очистки города от преступного элемента и лишь по прошествии ста дней туда будут допущены гражданские власти.

Огромный заговор пронизывал в Петрограде все жизненные центры армии и флота. Лундеквист (начальник штаба Седьмой армии) и Медиокритский (заведующий оперативным отделом Балтфлота) пересылали Юденичу планы наступления на Петроград. Берг — начальник воздушных сил Балтфлота — передал Финляндии план минных заграждений Кронштадта. Рейтер — начальник петроградской радиостанции — отправлял радиосообщения шифрами, понятными белым. Заговор проникал в боевые части. Заговор заводил сомнительные беседы у ночных красноармейских костров. Заговор бормотал панические сообщения в телефонную трубку. Заговор скрипел перьями в чудовищно громоздких советских учреждениях. Заговор высывал настороженный бледный нос из-за пыльных портьер в нетопленных квартирах.

Красные части отступали. Белые с каждой занятой деревней воодушевлялись мщением. Четырнадцатого октября было видно, как в белых цепях кидали в небо фуражки и кричали «ура»... К вечеру весь фронт, вся страна, вся Европа узнали о взятии денкинской армией

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 1—10 с. г.

города Орла, — предпоследней цитадели перед Москвой... Горячее ожидание близкой гибели большевиков заражало даже людей, уравновешенных профессионально.

Жорж Клемансо, лично сам, взяв из рук секретаря телефонный аппарат, сказал сурово завывающим голосом председателю Парижского совещания, князю Львову:

— Кажется, я скоро буду иметь удовольствие поздравить вас с российским законным правительством?..

Князь Львов, прикрыв дрожащей рукой нестерпимо засветившиеся глаза (во время заседания, в табачном дыму, в наступившей напряженной тишине), ответил тихим голосом:

— Все основания так думать, господин министр...

Из Парижа в Лондон торопливо выехал Николай Хрисанфович Денисов вместе с группой банкиров, чтобы организовать англо-русский банк для кредитования освобожденной России. На черных биржах зашевелились русские бумаги, преимущественно нефтяные акции. Северный богатырь, Митька Рубинштейн, в три дня свалил в пропасть финляндскую марку и начал взвешивать юденичевский «крылатый» рубль.

Бурцев Владимир Львович на последние деньги денисовской дотации выпустил знаменитый номер «Общего дела» с заголовком во всю страницу: «Осиновый кол вам, большевики»... Со свежим оттиском газеты ворвался на заседание Парижского совещания (объявленного непрерывным) и потребовал пятьдесят тысяч франков на окончательную дискредитацию Ленина и К-о...

Русских эмигрантов охватила счастливая суматоха возвращения на родину и, как всегда бывает, тысячи мелочей перед отъездом заслонили все важное... «В конце концов, господа, на месте разберемся, какой там строй — конституция, диктатура, монархия... Утрясемся...» К большевикам даже как будто и злобы не оставалось: «Знаете, бог с ними, сослать их всех на какой-нибудь остров, и без нас с ними круто расправятся добровольцы...» Неожиданно вынырнул из небытия Александр Федорович Керенский, объявив две публичные лекции на тему: «Винова

ли я?»... Не во френче и в перчатках, — каким знали его, всероссийского диктатора, — в простом поношенном пиджачке (мятый воротник, судорожно затянутый галстук), но все же с прежним выражением изрезанного великодержавными морщинами лба — на переднем плане и бритого, нездорово припухшего лица старого мальчишки, — Александр Федорович с крайней заносчивостью доказал аудитории, что если бы тогда-то и тогда-то его послушали и такие-то и такие-то лица исполнили его приказания, то не было бы ни большевиков, ни белых генералов, ни гражданской войны, ни эмиграции, но было бы все хорошо и превосходно. Только вследствие крайней радостной размягченности, в какой находились русские люди в те памятные дни, Александра Федоровича не стащили с эстрады и не задавили до смерти.

Журналист Лисовский (переживший черные дни после утраты пачки долларов) получил блестящее назначение возным корреспондентом в Ревель. В общей суматохе он ухитрился взять аванс даже в газете Жоржа Клемансо. Живописность ревельских телеграмм Лисовского изумляла самых прожженных журналистов Парижа. В Ревель из всех европейских закоулков устремились сотни спекулянтов с наивыгоднейшими предложениями снабжения Петрограда всем необходимым: от австралийской солины до венских презервативов, — на Петроград надвигались горы тухлятины и гнилья: Северо-западная армия не шла — летела вперед. Восемнадцатого октября были взяты Красное село и Гатчина. Девятнадцатого генерал Юденич вошел в Детское село.

Генерал знал, что на него смотрит мир. Он тяжело спустился с площадки салон-вагона и взглянул в сторону Петрограда, синеватой полоской проступавшего в дали болотистой равнины. Доносились орудийные выстрелы, постукивал пулемет. Генерал ничего не сказал. Красные отвороты его шинели и надвинутый козырек казались реальностью, мятежный город вдали — зыбким призраком. Генерал прошел через тоннель на перрон разбитого и грязного вокзала, приостановился под железнодорожными часами, но опять ничего не сказал. Исто-

рия отметила его молчание. На вспаленной площадке, где в грязи на асфальте валялось несколько наспех расстрелянных неизвестных личностей, он сел в коляску и, сопровождаемый конными конвойцами в черкесках, в папахах, с кривыми саблями наголо, проследовал в дом, покинутый императором, — Александровский дворец.

Грозовыми вздохами над Петроградом прокатывались одиночные выстрелы со стороны моря, — это линкор «Севастополь» стрелял из двенадцатидюймовых орудий по Красному селу. С моря, с северо-запада, ползли гнилые тучи, дождь хлестал вдоль пустынных улиц по простреленным крышам, по облупленным фасадам с разбитыми окнами. Мотались по ветру фонари, мертво шумели голые деревья Кронверкского парка.

Водой залиты окопы у Троицкого моста. За грудями мешков у орудий находились часовые в мокрых пальто, бекешах, перекрещенных пулеметными лентами. Непогода посвистывала на штыках. Тошние, заросшие щетиной лица, свинцовые от голода и ненависти глаза. Ветер доносит — бух! бух! — глухой отзвук борьбы насмерть. Дребезжат окна опустевших дворцов по набережной. Низкая оловянная туча напозаезает на город, навстречу ей ледяной бездной вздувается Нева и хлещет о полузатонувшие барки, о гранитные набережные.

Надвинув промокшую кепку, руки в карманах, нос — в поднятый воротник, Карл Бистрем, преодолевая ветер, миновал мост, протянул часовому пропуск и — бодро:

— Чёртова погодка, товарищ...

В ответ часовой, повертев пропуск и так и этак, нехотя поворожал, не глядя в глаза:

— Проходи.

Пробраться было не просто через изрытую и залитую дождем Троицкую площадь. Повалил снег, рваная туча покрыла фаянсовые минареты мечети. За ней на пустыре ветер задирает толевые листы на приземистой круглой крыше деревянного цирка. Несколько человек, вёженных в пальто, пробиралось туда. Восторженный, как во все эти дни, бод-

ро шлепая рваными башмаками по грязи, Бистрем перегнал их. У входа — пулемет и красногвардейцы. Снова — пропуск. Полный народа, туманный от сырости вестибюль. Красноватый свет электрических лампочек. Бистрем с трудом протолкался. Цирк был полон, с арены по лестнице влезли двое — коренастый сивоусый человек в парусиновом балахоне, в охотничьих сапогах и нескладный солдат, не вытаскивающий рук из карманов потрепанной шинели. Коренастый поднял кривой палец:

— Товарищи... В ответ мировым имперьялистам и их кровавым собакам — православным генералам... Также в ответ белогвардейскому раз'езду, которого мы видели за Нарвскими воротами... В ответ мы, путиловские рабочие, сегодня послали в партию двести пятьдесят человек... А всего за эти дни петроградские заводы послали в партию пять тысяч человек... Да здравствует Коммунистический Интернационал!..

Длительные аплодисменты... Усы его еще некоторое время торопливо и сердито двигаются. Лицо багровеет. Замолчал. И вдруг лицо удивилось, он широко улыбнулся. Хлопающие поднаддали. Когда наконец смолкло, он указал на нескладного солдата:

— Вот товарищ делегат с зеленого фронта... От дезертиров Сормовского завода... (Сразу — тишина, над мокрой крышей глухо — бух! бух! — громово вздыхает воздух).

Чей-то грубый голос:

— При чем дезертиры?

Нескладный солдат испуганно оглянулся на путиловца и потом, с виноватой готовностью моргая в зал, нескладным голосом:

— Мы, то-есть, дезертиры, с Сормовских заводов... Скрывались в лесах... Не так, чтобы большое количество, но — все-таки... Значит признаемся — шкурники... Что хочешь — делай... Мы узнали — на питерских рабочих победоносно идут белые генералы... Обсудили: надо выручать. Трех нас, делегатов, послали к вам, чтобы вы разрешили грузиться в эшелон, нам, дезертирам, и выдали бы оружие... что ли — здесь, на месте, — все равно... Не настаиваем... Постановили единогласно — выручать!..

— Принять... Благодарить...—закричали с мест. (Аплодисменты.)

По лестнице проворно, как паук, избежал матрос... Отпихнул дезертира:

— Товарищи...

В маленькой шапочке с ленточками, в распахнутом бушлате, широкий, широко распахнул руки:

— В грозный час, в двенадцатый час революции красные моряки-балтийцы стали на своих боевых постах... (Выкинул кулаки.) Не раз мы били белые банды на подступах к Петрограду... Страх и ужас вселяли матросы в ряды извечных врагов трудового народа... (Плечо вперед, прищурился и — по буквам.) Принять бой с нами значит принять смертный бой... Кто колеблется—отбросьте свои сомнения... Матросы красной Балтики зовут всех трудящихся, кто, как мы (кулаком гулко—в грудь), ненавидит рабское иго, золотопогонников, барскую сволочь,—зовем вас на последний, победный бой... Революция зовет вас на бой... (С какой-то даже изнеженностью, какая бывает от переизбытка силы, помахал затихшему без дыхания цирку)... До последнего патрона, до последнего вздоха... С нами или против нас... Все к оружию... Все на боевые линии... Мы балтийские моряки, даем смертную клятву—победить под стенами Питера...

Карл Бистрем закричал, протискиваясь в заколыхавшейся тесноте к эстраде. Все лица, худые и тусклые, старые и молодые, дрожали, разевали рты, кричали, как будто вместо красновато накаленных шаров с потолка обрушился поток горячего света... На лицах, в глазах, исхлестанных осенним дождем, иступленное решение... Весь амфитеатр колыхался и кричал, ошетенный вытянутыми руками, кричал найденное слово:

— Клянемся... Клянемся...

Карл Бистрем не успел высказать все, что переполняло его. Пожалуй, было и хорошо, что не говорил,—в крайнем возбуждении этих дней мысли его заносились во все более отвлеченные пределы, а он и сам видел, что сейчас нужны слова такие же простые и вечные, как смертная клятва... Бистрем получил записку и протолкался к столу прези-

диума. Председатель, товарищ Кантор, старый знакомый (кто допрашивал его в Сестрорецке) шопотом сказал (преодолевая кашель в остатках легких):

— Ступай на Путиловский завод... Возьми мою машину... Там ни одного агитатора... Будь бессменно... Держи телефонную связь со мной. (Взял его за отворот пальто) Ты клялся?

Бистрем запотевшими очками ему — в блестящие лихорадкой глаза:

— Великой клятвой пролетария...

Морщинки в углу рта улыбнулись у Кантора. Кивнул, — ступай...

На улице хлестал дождь со снегом. Громовые удары отдавались из-за низких туч. Казалось—отчаяние легло на низкие дома, на жидко-грязные мостовые. Погребной ветер задираал железные листы на крышах. Кое-где снег мешался с грязью. Дребезжащая машина уносила Бистрема через мосты, пустынные набережные. Потоки из-под колес хлестали по плачущим окнам. Прямые улицы пропадали в завесах непогоды.

Дома—все пустынное и ниже. Пустыри. Развалины лагуч без окон и дверей. Бух! бух!—яснее доносились орудия. Та-та-та,—постукивало из едва видимой торфяной равнины. Справа, за вздувшейся речонкой деревянные крыши отчаянной деревни Волюнки, прямо—решетчатым призраком повис большой кран Путиловской верфи. Серая пелена моря. Волочатся рваные тучи. Шквалистый ветер сечет дождем. Автомобиль, валяясь на стороны, мчится по сплошной воде. С юга-запада, из мглы, по оловянной ленте Петергофского шоссе тянутся обозы, грузовики, пешие люди.

Автомобиль сворачивает к заборам, за ними — кирпичные корпуса со ступенчатыми крышами, выбитыми стеклами. Угрюмо, сбивая черный дым к земле, дымят трубы. У заводских ворот—скопище повозок. Шофер остановил машину и Бистрему со злобой:

— Не проедем. Вылезайте.

— Что тут такое?

— Как что такое... Не видите что ли...

Двойными, четверными ударами, широкими раскатами вздрагивает дождевая мгла, взывает ветер. Бистрем вылез из машины,—по щиколотку в грязь, раз'езжаясь ногами,—пошел к воротам.

Люди в солдатских шинелях сидели поверх горой наваленной поклажи на военных повозках: серые, щетинистые, мрачные лица. На крестьянских телегах среди узлов—женщины и дети, покрытые ветошью и рогожами. Грязью залиты люди, лошади, грузовики, вереницы беженских телег, обозы отступающей армии. В воротах—крик, треск осей,—свирепый человек в черной коже, размахивая револьвером, кидается к лошадиным мордам.

За воротами, куда, спасаясь от потопа, грохота канонады, от разъяренных псов Клемансо и Черчилля, среди ругани, женского визга везают телеги и повозки, на огромном топком дворе отчаянно, в клубах пара, свистят паровозики, тянутся составы, в прокопченных окнах—вспышки пламени, фонтаны искр. Груды железного лома, прожженные судовые котлы, штабелю леса. Кучки беженцев, кое-как укрывающиеся от дождя. Кучки людей проходят с лопатами и кирками. Пронесут железные балки. Вручную везут телегу со стальными листами. Люди облепили ржавые вагоны бронепоезда, отчаянно трещат клепочные механизмы.

Протолкавшись на фабричный двор, Бистрем с трудом добился (в ответ грызались), где помещается заводской комитет. В полутемном коридоре конторы (в тумане от кислой одежды) сидели женщины на узлах, плакали дети, тесно стояли суровые мужики из деревень (что близ Царского и Красного села). Ждали кипятку. На одной из дверей—мелом: «Завком». Рабочий штыком преградил вход. Бистрем показал пропуск. В комнате, в махорочном дыму осипшие голоса кричали в телефонные трубки. На столах—кучи черствого хлеба и винтовок. Тут же, на одном из столов, кто-то спал, прикрыв лицо инженерской фуражкой.

Здесь было сердце обороны Петрограда. Путиловский завод (лихорадочно, в три смены, а не хватало людей—то и в две смены, не хватало—работали, покуда не валились с ног) строил и ремонтировал бронепоезда, орудия, паровозы, автомобили, мобилизовывал коммунистические отряды, размещал отступавшие военные части, организовывал ночлег для беженцев, устанавливал

бронейбойные щиты на подступах к городу, проводил электрическое освещение на боевые линии. По отрывкам лающих телефонных разговоров Бистрем понял, что все эти работы были сосредоточены здесь, в завкоме.

Страхнув воду с кепки, протерев очки, Бистрем подошел к одному из столов. Из-за буханок заплесневелого хлеба и цинковых ящичков с патронами на Бистрема глядели рыжие глаза в воспаленных веках...

— Что надо?

— Меня прислал товарищ Кантор...

— Какой товарищ Кантор?

Бистрем протянул мандат наспех чернильным карандашом написанный Кантором, повидимому на одной из записок (поданной в президиум в цирке). Рука с изломанными ногтями протянулась из-за буханок, взяла клочок бумаги, поднесла к красным векам... Зазвонил один из трех телефонов на столе. Человек сорвал трубку.

— Да... Я... Что? Как не можете? Задавило? Так. (Слушая, читал бистремский мандат с обратной стороны)...

На обратной стороне записки стояло:

«Гражд. пред... Туманные обещания о коммунистическом рае, а на практике—тухлая вобла—карие глазки... Если вы действительно убежденный,—можете предложить населению хотя бы по триста грамм хлеба? Ну-ка... За армией Юденича идут поезда с белыми булками и консервами... Советую: бросьте словоблудье, предложите нам существенное...»

— Чепуха!.. (В трубку)... Никак, товарищ... Бронепоезд должен быть на линии сегодня... Под Пулковым держимся... В ночь обстреляем Детское село и Пулково... А? (Красные веки замигали)... Да, найду, пришлю... (Бистрему, взмахнув запиской) Ничего не понимаю...

— Мандат на обратной стороне, товарищ...

Тот перевернул записку; читал: «Товарищ Бистрем ударно перебрасывается на Путиловский»... (В трубку.)—К шести часам крайний срок... Постояй, бронепоезд вывезти на линию в шесть... (С угрозой). Товарищ, минуту промедления засчитаем как контрреволюционный.

акт... Ладно. Катись... (Бросил трубку. С более видящими глазами Бистрему.) Ступай в вагонный цех... Подыми настроение,—ребята третьи сутки не спят...

Он тяжело поднялся (куртка на бараньем меху, калоши на необутую ногу), подошел к столу, где спал человек в инженерской фуражке и, подсунув руку ему под затылок, встряхнул:

— В цех... Проснись...

И инженер сел: мертвенно бледное лицо, припухшие мешки под зажмуренными глазами, один ус во рту...

— Слышишь ты, товарищ; беги в цех. Инженера Костина задавило балкой... К шести бронепоезд надо на линию...

Инженер сполз со стола и, спотыкаясь, досыпая на ходу, пхнулся в дверь, вышел. Бистрем, получив ломоть хлеба (ударный паек), догнал его на дворе. Под резким ветром и дождем у инженера глаза разлиплись,—покосился на карман Бистрема:

— Вот это несправедливо, — скавал, — двойной паек... Дайте-ка половину... (Бистрем разломил ломоть. Инженер на ходу торопливо начал совать под усы маленькие кусочки). Так надоело, знаете, так надоело... Мы им нынче ночью всыпем из шестидюймовых... Двадцать четыре часа буду спать. Вы иностранец? Знаете, о чем я скучаю?—пива хочу. Поднимите, поднимите настроение, не помешает...

Из широкого ворот вагонного цеха вылетала такая оглушающая трескотня клепки,—грохот листов, удары молота,—Бистрем сморщился от боли в ушах. Под самый потолок, где ползали мостовые крайны, летели фонтаны искр с наждачных кругов. Шипели автогенные горелки. В сумраке огромной мастерской с трудом можно было разглядеть закопченные, запыленные человеческие фигурки; они то отделялись, то сливались с этим хаосом железа, искр и звуков. Бистрем был в первый раз на металлическом заводе. Ему показалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов и автомашин, двигающимися, крутящимися, ползающими станками, механизмами, кранами и такими слабыми человечески-

ми фигурками, чувствительными на малейшую боль. И все же они в дыму, в огне, в метели искр, делали что-то, от чего тысячепудовые глыбы визжали, гнулись, соединялись и, обузданные, покорялись воле людей, шатающихся от усталости.

Отчаянно звонил колокол. Чья-то рука в кожаной рукавице протянулась и оттащила Бистрема. На него по воздуху плыла вагонная ось. На ней стоял, держась за тросы мостового крана, щуплый человек в пальто с рваными подмышками, в валенках, обмотанных бечевой. Голова забинтована марлей. Он опустился вместе с осью. На вымазанном, сером, как железо, лице вдруг сморщился нос, слабо приоткрылись зубы, — улыбнулся своему человеку. Бистрем узнал: Иванов, — тот, что взял его на границе под Сестрорецком. Тогда глядел враждебно, как будто с другого края мира, сейчас—товарищеская улыбка.

В первый раз Бистрем почувствовал, что революция подарила ему, кроме двухсот граммов хлеба, еще и суровый, мимолетный привет человека, идущего на смерть. С ужасающей ясностью Бистрему представилось, как завтра сегодня ночью, быть может, карал-ристы генерала Родзянки, спешась в жудкую грязь, заворотив спереди длинные шинели, упрутся плечами в ложа винтовок и, выбрасывая на рвущий ветер желтоватые дымки, будут укладывать—тело на тело—у расщепленного пулями забора вон тех, кто копошится под вагоном, тех, кто, расставив ноги, вертя лопатками, заливаясь потом, бьют молотами по брызжащей окалиной ослепительной полосе, тех, кто, прижав к разбитой груди пневматический молоток, слятся склепать клочья нового мира.

*Улыбка Иванова означала: «Спасибо, товарищ, что в такой страшный час поверил в нашу правду». Бистрем влез на двигающуюся взад и вперед станину станка и, срывая голос, начал говорить о противоречиях европейской политики, колеблющейся между желанием раздавить Советский Союз и страхом перед революцией у себя, о слабости Юденича, не имеющего тыла и резервов,—ничего, кроме десятка кораблей с английским снабжением и восемнадцати тысяч

бандитов, страшных только для тех, кто бежит перед ними. Он рассказал о кляте в църке. Выдергивая руки из карманов и потрясая растопыренными пальцами, кричал:

— Нет, я не идеалист!.. Но, товарищи, дух революции сильнее всех английских дредноутов! Буржуазный мир, несмотря на миллионные армии и несметные богатства, только обороняется. Да, он обороняется, а мы наступаем... В этом наша сила,—у нас есть цель и вера, мы умираем без страха... А там только хотят уберечь награбленное у миллионов трудящихся... Им только кажется, что они наступают на Петроград,—неправда, они отступают, потому что они нас боятся больше, чем мы их... Победит тот, кто наступает...

Несколько пожилых рабочих подошли и слушали иностранца в очках, но даже при тех его словах, когда у него самого закипали слезы восторга,—лица их, суровые и усталые, оставались неподвижными. Когда он кончил, Иванов попросил у него папирос,—раздать товарищам,—не курили со вчерашнего дня. Ногтем стуча ему в пуговицу, сказал:

— Тебе не в наш цех, тебе в деревообделочный надо пойти поговорить,—там много сиволапых. А у нас ребята в большинстве провентилированные.

Бистрем обошел артиллерийский, вагонный, автомобильный, паровозный отделы,—во всех цехах шла горячая работа. В лафетно-снарядной мастерской заканчивали первые советские танки. В минно-сборочной ковали лошадей. Под дождем грузились военные повозки. С угольной кучи по доскам и лужам бежали тачки. В раскрытые настежь двери котельных виднелись раскаленные топки,—вымазанные, как черти, кочегары с остервенением кидали лопатами уголь в ревущее пламя, как будто это и было пламя пролетарской революции.

Бистрем дивился: на всей территории завода не было видно охраны,—ни вооруженных, ни орудейных установок, ни окопов. Беспечность? Недосуг? Или действительно эти люди обрекли себя? Не умолкая, грохотали орудия с моря, из-под Пулкова и Детского села. Правым крылом белые пробивались к Октя-

брьской дороге, чтобы перерезать единственную питающую город артерию. В сумерки сквозь рваные тучи пронесся биплан, и долго на заводской двор падали мокрые листочки белых прокламаций. Кое-кто поглядывал на них искоса. Бистрем видел, как в кузнечном цехе у трех-четырех горнов оставили работу, обступили сивоусого мастера,—вполголоса он читал прокламацию. Плечистый молотобоец, пивший воду из ведра, зло оглянулся, бросил ведро, протолкался к мастеру, молча выхватил листок, бросил в огонь.

Бистрем натыкался и на кучки людей, внимательно и тревожно слушающих кого-то, кто замолкал, когда Бистрем приближался, чтобы агитировать—бросать лозунги. Эти люди со странными усмешками не глядели в лицо ему. Время от времени он забегал в контору и пытался соединиться с Кантором. В восьмом часу вечера ему это удалось. Он получил задание перебраться на фронт под Пулково, в красноармейскую часть, где только-что выбыли из строя два комиссара.

В сарай набилось полсотни красноармейцев. Горел костер, было дымно. Вдохившие, засыпанные мокрым снегом, с удовольствием кричали, стаскивая с плеча винтовку, протискивались к огню. Сарай находился влево от Московского шоссе, в деревне, на южном склоне Пулковского холма. Было за полночь, под досчатой крышей свистела непогода, редко доносились одиночные выстрелы.

Бистрем по совету пожилого красноармейца Ермолая Тузова (почему-то принявшего в нем хлопотливое участие) разулся и сушил носки и башмаки. Местечко у огня устроил ему тот же Тузов: «Братишечки, человек он растроганный, надо бы потесниться,—сомлеет...» Потеснились,—впрочем на Бистрема никто не обращал внимания.

Почти сутки он не спал и не присаживался. С Путиловского — в Смольный, оттуда—на фронт, в мокрую, снежную, жуткую темноту, где угрожающе окликали сторожевые. Только теперь решил передохнуть. Атаки белых вряд ли можно было ждать до рассвета. Весь мокрый, в липнущем белье, засунув руки в рукава (он так и остался в штат-

ском), мужественно боролся со сном. Голоса слышались, как за мягкой стеной,—содрогаясь, с испугом, Бистрем разлипал веки. Ни на секунду нельзя было понадеяться, что настроение бойцов до конца прочно: здесь были разные люди. Ему не нравился услужливый Ермолай Тузов,—прищуренный, с хитрой бороденкой,—слишком ласков. Бистрем настаивался каждый раз, когда в обрывки разговоров (у огня) ввертывался медовый голос Ермолая,—нет-нет, да и поглядывал быстро, сквозь щелки, спит ли комиссар. Бистрем чувствовал — доверять нельзя.

Застуженный, хрипучий голос:

— Промерз, где только душа, ребята, пустите к огоньку Христа ради.

Ермолай — скороговоркой:

— Нынче, миленок, бога поминать не велено.

— Как же говорить-то?

— «Батрак-бедняк»... Его поминай заместо.

Огромный, как туча, человечище приближается к костру, валится на колени в самый огонь:

— А ты все вертишься, Ермолай, как вор на ярманке.

— Я, как все,—от своей свободы верчусь: нынче ни царя, ни бога...

Еще чей-то голос:

— Василия Водопьянова нет здесь?

Молчание. Угрюмый безусый красноармеец, накинув на голову шинель,—на короточках, у огня,—ответил, не оборачиваясь:

— Не ищи.

Сзади:

— Ой, что ты?

Мокрый человечище:

— Застрелили в смерть Водопьянова.

Молчание. Бистрем таращится. Сон мягкой, страшной пустотой бросается на него, опрокидывает в ничто,—голова кивает, валится на грудь, очки сползают, губы вытягиваются.

Ермолай — кому-то:

— Ну да, я — лужский... Чего? Да будет тебе — кулак, кулак... Не такие кулаки-то... !? кулаков дома железом крыты.

Угрюмый красноармеец (под накинутой шинелью похожий на девушку):

— А у тебя чем крыто?

Огромный человечище (борода распушилась от огня):

— За войну-то Ермолай раз пять, чай, слетал домой, по хозяйству. (Ермолай только «ах!», но ничего не ответил)... Знаем мы его двор. Жалеза-то запас,—замирения не дожидается... (Ермолай опять «ах!»)... Вместе в царской армии служили: я—рядовой, он—вестовой у полковника, у Лихошерстова...

— Ну, еще что?—со злобой сказал Ермолай.

— Я, как был бос, так и ныне бос...

А ты, гляди, живаль, — красная звезда...

Молодой красноармеец усмехнулся худощавым лицом. Ермолай царапнул зрачком ухмыляющегося всей бородой большого человечища, но обернул все в шутку:

— Эх, ты, чудо морское, в носачах что ли работал? то-то говорлив... (И уже не к этим, с кем спорил, а—к стоящим в отблесках пламени, видимо, продолжая рассказ). Так вот, лет с десять при пожарном депо этот козел. В Лузе у нас все его знают,—ходит, как человек, по дворам: такой умный козел... До революции ходил на станцию—встречать дачников... Прелесть... Так что ж они: взяли козла и вымазали всего красной краской, сердешного...

Улыбающееся, широкое лицо в отблесках пламени:

— Кто ж его вымазал?

— Ну, кто... (Особенно, вполголоса) коммунисты...

— Козла-то зачем?

— Для агитации...

Несколько лиц (в отблесках) разинулись и — крепко, дружно — ха-ха-ха!.. Ермолай удовлетворенно щурится. Бистрем беспомощно пытается взмахнуть плавниками, подняться из мягкой черной пропасти, но сон снова оттягивает его губы... Молодой красноармеец (под шинелью) — с угрозой:

— Ермолай!..

— Чего? Ермолай весь тут...

— Дошутись до Чеки...

— Отчего? Я при комиссаре говорю...

Тогда все головы повернулись к Бистрему. Он посапывал. Ермолай,—приободрясь:

— У меня такая же звезда на лбу... Нет, браток, ошибся, ты еще молодой... Я с винтовкой пять тысяч верст исходил... А ты где был, когда мы Николашку свергали? То-то, гусей пас... Поверите — нет, братки, вот этой рукой главнокомандующего Духонина, самого кровопийцу народного, выволок из вагона: терзать... А ты — в Чеку... Тогда всю народную армию волоки в Чеку... Мы за Советы кровь проливали... (С неожиданной яростью хватил себя кулаком по коленке)... И сейчас не пятимся...

— Верно, верно, правильно,—негромко зашумели голоса стоящих в отблесках огня...

Молодой, скинув с головы шинель:

— За какие за Советы?.. Без коммунистов что ли?

Большой человечье, видимо, не поспевая мыслью за спором, вертел бородой то в сторону Ермолая, то молодого. Из толпы просунулось припухлоглазое лицо в кудрявом пуху на смешливых щеках:

— Ермолай-та, — он за такой совет, куда его с кумовьями председателем выберут...

И опять, и уже громче, дружнее стоящие у огня: ха! ха! ха!

Бистрем вздернул головой. Проснувшись, испуганно оглядываясь. Ермолай к нему:

— Товарищ комиссар, носочки просохли, можно обуться...

Сотрясая сарай, ударило тяжелое орудие. Сидевшие у огня вскочили. Сейчас же второй удар будто придавил крышу. На лицах—выжидание, напряжение, рот открыт, рука сжимает ружье. Совсем близко хлестнул винтовочный выстрел. Еще и еще, торопясь, сдвигаясь, прокатилось громовой трещеткой. Молодой красноармеец (одна рука — в рукаве шинели) шопотом: «наши!...» Снова — удары шестидюймовок с путиловского бронепоезда у Средней Рогатки. И ночь, тьма закипела, застучала, задыхаясь железными звуками от моря до Ям-Ижоры.

Прошло не слишком много толчков

сердца с тех пор, когда уныло пошвыстывал ветер под крышей. Первым опомнился Ермолай: «Белые наступают!» — бешено начал затаптывать костер. Но в голос с ним закричал молодой красноармеец (не попадая крючками в петли шинели): «Товарищи, никакой паники!» Бородатый человечье, кидаясь с винтовкой к двери: «В порядке, братва, выходи по-двое!»

Снаружи рванули дверь,—в неясном отблеске тлеющих головешек появился рослый военный. Раздувая кадык, протяжно:

— Бойцы! Сегодня под Воронежем красный корпус товарища Буденного разбил на голову оба корпуса генералов Мамонтова и Шкуры... Бойцы! Сегодня город Орел обратно взят Красной армией. Захвачена огромная добыча... Бойцы! Военный совет Петроградского укрепленного района дал приказ — наступать сегодня в ночь...

— Ура! — испуганно сорвался чей-то голос...—Ура! Урра!—торопливо, злее, крепкими глотками закричали бойцы, нажимая к выходу. Среди вышедших Ермолая не оказалось.

В ночной глухой синеве над белой равниной стоял блестящий чуть срезанный месяц. Небо очистило, как метлой. Ветер упал. Пахло свежим снегом. Ночь, умытая бурей, разрывалась грохочущими звуками. Они то слабели, то усиливались, — казалось, невидимый бой развертывается по каким-то свирепеющим синусоидам. С подножья Пулковского холма были видны длинные вспышки орудий. Отблески зажигали искорку, далеко, должно быть, на куполе собора в Детском селе. Отблески зловеще отражались в двух окошках крестьянской избы, где был штаб и где неподалеку стоял Бистрем. (Ждал запоздавшей машины с литературой из Питера). Он вглядывался, — снежная равнина, разбросанные пятна деревьев и построек — все было безлюдно. Невысокое зарево занималось на северо-востоке. Этот бой решал судьбу революции, — так представлялось ему. Совсем близко над освещенными крышами разорвалось что-то желто-огненное, и будто пчелки прошивтели мимо ушей Бистрема. Он обернулся—на вершине холма, за темной чер-

гой парка, тускло поблескивал купол обсерватории. Левее его, ближе к деревне, снова лопнул гнойно-огненный шар...

Под куполом, куда в меридианальную щель падал лунный свет на лакированную лесенку, на медные части окуляра большого (как морское орудие) рефрактора, стоял семидесятилетний знаменитый астроном в шелковой шапочке, в пальто с оборванными пуговицами.

Подняв к меридианальной щели морщинистое лицо, выпитое звездами, сказал кому-то — невидному в тени:

— Они нацеливаются в купол, — это беспримерно... Нельзя ли как-нибудь телефонировать этому генералу, чтобы не нацеливались? (У стоявшего в тени насмешливо блеснули глаза)... А нельзя ли, — как вы полагаете, — если мы возьмем несколько подушек и закроем ими верхнее стекло рефрактора? Во всяком случае тогда мы несколько понизим вероятность.

Между убеленными крышами, на снегу, черной, как сажа, полосой лежало Московское шоссе. Белые пристрелялись по шоссе, — кустами огня взметывались посреди дороги их снаряды. Со стороны Питера приближалась с огромной быстротой серая точка машины. Бистрем спустился к шоссе. Перед вырастающей точкой взвилось пламя, заволокло дымом. (Бистрем зажмурился). Но автомобиль проскочил и скрылся в овражке, — через мост... Низко над тем местом лопнули ослепительные клубки шрапнелей. Блестящий радиатор с потушенными фонарями вынырнул из овражка. Бистрем подбежал. В машине была литература, — еще сырые кипы приказа и отпечатанных речей...

При двойном свете луны и спички Бистрем разбирал слова приказа:

«Красноармейцы, командиры, комиссары! Сегодняшний день решает судьбу Петрограда... Дальше отступать нельзя... Петроград нужно отстоять какой угодно ценой... Помните, — на вашу долю выпала великая честь защищать город, где родилась пролетарская революция... Вперед, в наступление... Смерть наемникам чужеземного капитала...»

Набив карманы литературой, Бистрем

зашагал по черному шоссе. Вдогонку что-то закричали ему из машины, не оборачиваясь, махнул рукой. Поднес к очкам листочек, читал на ходу, чтобы запомнить наизусть. Поворот в окопы был за горелой избой. — между оглушительными ударами (откуда-то близко, из оврага) нашей батареи слышалось свистывание пуль.

Стоп — горелая изба... Надрывающе взвыло что-то прямо в душу, из лунного света скользнула мелкая тень (или так почудилось), и огромный, ослепительный грохот швырнул Бистрема в сторону от шоссе.

Когда лицо его, грудь, живот, распростертые руки наполнились снегового холода, медленно очнулся. Лежа ничком, силился разобраться, почему он в таком странном положении, — носом в снегу, и на чем прервались его обязанности? Из чувств всего сильнее была воля к долгу.

С трудом повернулся, удалось сесть. В карманах литература цела. «Неприятное обстоятельство, — пробормотал, — сколько же я здесь провалялся?..» Небо было железного цвета, снег на крышах розовел от зари. Попытки встать не привели ни к чему. Оцупал ноги, — целы, повидимому контузия... Уши будто чем-то завалены, — мир был беззвучен.

Только теперь заметил, что очертания горелых строил, рябины с кистями ягод и высоко — бледного месяца расплылись, как за потным стеклом. Провел по лицу, ладонь стала липкой: кровь. Тогда он загоревал, — разбились его очки.

А в десяти шагах от него бежали серые тени в сторону Детского села. Их было много, полно шоссе. Сощурия веки, он различал торопливые шинели, фуражки курсантов, винтовки, готовые к бою. Бежали неистово... (У него волосы ошетинились на затылке). За ними медленнее, плотнее, не по-военному, двигались покачивающейся колонной кожаные куртки... Бистрем сорвал кепку. Крутя ею, кричал: «Да здравствует Коммунистический Интернационал!..» С шоссе к нему свернули два санитары с носилками.

В ту же ночь четыре эскадренных миноносца — «Гавриил», «Свобода», «Константин» и «Азард» — вышли из Кронштадта в море, держа курс на Копорский залив. Был приказ — загородить минами путь в залив.

Бушевала метель, и небо еще не прояснялось. Эсминцы шли с потушенными огнями в кабельтовой друг от друга. Кругом на горизонте появлялись и пропадали какие-то огни. «Гавриил» передал (по радио), что впереди — англичане. Шли полным ходом, до труб зарываясь в косматое, непроглядное море.

Тучи начало сносить, показалась луна. В шесть часов поутру около параллели Долгий Нос на «Гаврииле» показался огонь, и последовал взрыв, после чего судна не стало видно. Через семь минут огромное пламя переломило надвое «Константина»; он затонул мгновенно. Через минуту «Свобода» скрылась за водяной горой взрыва. «Азард» застопорил машины. Впереди опять появились дымящие трубы «Свободы». Ветер донес слабые крики:—Ура!.. «Свобода» сообщила световыми сигналами:

«Идем ко дну. Нарвались на свежее минное поле. Нас предали. «Азарду» повернуть, итти в Кронштадт. Да здравствует революция...»

К утру 21 октября под Пулковым обозначился перелом в военных действиях. Брошенные на передовые линии отряды курсантов, коммунаров и балтийских моряков сквозь пулеметный огонь переходили в штыковые атаки. Один из матросских отрядов сбросил бушлаты и тельники, — голые по пояс балтийцы бросились на танки. Днем двадцать первого штаб Юденича оставил Детское

село. Из Детского и Павловска потянулись в Ревель обозы с дворцовым имуществом. К вечеру Красная армия ворвалась в Детское село, — дрались под столетними липами, у Фридентальских и Орловских ворот. Белые покатались на юг, цепляясь за Красное село, за Гатчину и Лугу. Это был разгром, неожиданный и непоправимый, у самых ворот Петрограда.

Предполагая, что еще можно спасти положение, французский генеральный штаб предложил финскому генеральному штабу немедленно двинуть войска и интернировать Петроград. Финны ответили, что сделают это, если французы дадут денег на войну и заставят Колчака признать независимость Финляндии. Французы денег не дали, Колчак ответил, что не намерен разбазаривать Российскую империю. Финны не выступили. Адмирал Коуэн, боясь кронштадтских мин и еще больше запросов в парламенте, ограничился тем, что послал к русскому берегу монитор новейшей постройки, который несколько дней обстреливал из пятнадцатидюймовых орудий Красное село, оставленное белыми. Эстонское правительство, не надеясь более привести в Ревель балтийский флот, отдало приказ разоружить и интернировать Юденича с его бандами, буде они перейдут эстонскую границу.

Министр северо-западного правительства Маргульес записывает в дневнике:

«Все опять у разбитого корыта... Все поражены, — одни большевики победили. Это — нечто фатальное. Русская публика притихла, озирается. Кедрин, совершенно разбитый морально, выехал в Париж...»

(Окончание следует)

БЫК

Рассказ

АЛ. РАКИТНИКОВ

В фиолетовое предвечерье, в час легкого снегопада они выехали на зону № 3, на хутор «Батыев аул»: директор совхоза Раменский в огромном волчьем тулупе, обитом синим сукном, завхоз Кунов в шоколадном бобриковом чапане поверх полушубка.

Чудовищные трубообразные воротники едва пропускали ледяные ломти синевато-белого воздуха. В ногах под валенками лежали свертки с едой, ружья, портфели.

Красочным пятном — синевато-черным (люди и тулупы) и желто-пегим (сани и лошади) — они погружались в унылые голубые степи, в рыжеватые проросли ковыля, в редкие камышевые оазисы с хрустящим под полозьями крепким ледком.

Молчанье окутывало их так же плотно, как тулупы. Изредка его рассекали удары батога, вскрики и ругань возчика Андрея.

Ехали по первопутью. Сани проваливались в снег, копыта мягко шлепали по мерзлым выбоинам. Дорога шла то вверх, то вниз, снежные полотнища вскидывались буграми, изгибались крутогорьями и буераками.

Вадали, как грозные редуты, лиловые стога сена — ковыльные ометы, крытые внахлобучку снежными шапками.

Раменский отвернул волчий воротник и крикнул:

— Бауздау.

— Верхний или нижний? — не оглядываясь, прохрипел в пространство Андрей.

— Нижний Бауздау.

Совхозный хутор лег сбоку двумя

черными пятнами: два плетеных голых база, чуть обмазанных кизяком, обложенных от ветра густыми пластами снега.

Из деревянного домика в смешной перевалке выскочили подростки-пастухи. Они бежали навстречу без тулупов, в черных папахах, по-птичьи размахивая руками, смешно приседая: не легко было выдергивать неуклюжие валенки из снежных завалов.

Директор различил смутный, ликующий крик:

— Нет штанов, нет штанов!

Возчик не приостановил лошадей. Он нарочито подстегнул их, свернул с дороги налево и лихо подехал к дому.

Позади бежали пастухи, тяжело дыша, надрываясь, ликуя нараспев:

— Штанов нет.

Директор легко сбросил тулуп. Его лицо было румяно-талое от тулупьей теплоты, глаза смотрели весело и бойко. Завхоз сметал снег с чапана. Он прикидывался, что не понял крика пастухов.

Пастухи топырили ноги и, тыкая пальцами в штанины, неистово кричали:

— Штанов нет.

На ногах болтались лохмотья, сквозь них лукаво проглядывало желтое тело.

— Да, — сказал директор, — штанов нет, ясно, а где «Калмык»?

— «Калмык» там, в пустом базу. Ницого нет. Бахтиара нет. Лошадей нет. Лошади на тебеневке.

— Где Бахтиар?

— Уехал на Верхний Бауздау.

— Вот, вот, — пробормотал директор, — там и сговоримся. Твой «Калмык», мои штаны. Моя махорка, твой

«Калмык». Понял? Шалтай-меняй. Тебе хорошо и совхозу хорошо.

— Штанов нет, совсем нет штанов.

Директор и завхоз зашли в дом. Они отпили из ведра холодной воды. У губ плавали острые осколки льда. Они курили жадными, быстрыми затяжками. Пастухи ласково смотрели им в лица, канючили курево, жаловались:

— Четыре осьмушки в месяц, товарищ директор, пастух — не корова.

— Ну, да, — сказал завхоз, — пастух не корова. Твой «Калмык», наша махорка, директор об'яснил. Понял?

— Дядя не хочет, — плакались пастухи, и опять желтое, немытое тело пыжилось сквозь ветхую брючину.

Директор знал: в сундуках у пастухов лежат запасные брюки. Пастухи жаждали не меньше директора сменить быка на махорку, на ситец, на новые брюки. Но старый Бахтиар упорно цеплялся за «Калмыка», и никак нельзя было узнать: каприз это или хитрость, или еще что.

Директор пожал каждому руку и влез в волчий тулуп.

Завхоз небрежно накинул чапан на плечи и как-будто невзначай, запросто сказал:

— Сегодня получил вагон махорки, честное слово. Украинской.

Пастухи взревели от боли и ожесточения.

— Вагон махорки, — шептали они, — а ты не шутишь?

Лошади помчались вниз. В полутора верстах близ Верхнего Бауздау под тонким синим ледком кружилась вертящая степная речонка, суча петли вокруг деревянных домов, скупленных совхозом по далеким станицам и селам оренбургских степовий и свезенных сюда — в безлюдье и глушь.

2

В холодной хибарке люди сидели в шубах и валенках. Воздух скисал в запахах махры. Высокой овчинной стеной окружали гуртоправы старого Бахтиара. Легкий безобидный мат полоскался в воздухе, как белье в речке.

В точке преобладали плетневые базы. Сплетенные из майских таловых прутьев, они в первые же дни зимовки

были нещадно об'едены киргизским скотом.

За рогатым в этапном порядке через базы проследовали овечьи отары Овцевода. Они довершили разоренье базов.

Пласты снега, наваленные для тепла к дырявым плетням, отставали, крошились. Прыткий, малорослый киргиз легко пролезал сквозь дыры на волю.

Тщедушный, рыженький гуртоправ надрывался больше всех.

— Чего спорить, — пищал он, — по-нашему, по-крестьянскому надо тал нарубить осенью — с головой, с мозгой, а потом плести плетень, а они, вишь, удумали в мае.

— Можно и в мае, — лениво отвечал чей-то бас, — только покрой его ладно глиной или кизяком.

— Не покроешь, у него лист торчит. Пятиминутный плетень. Нет, ты его с осени сруби, зиму пусть он у тебя полежит, а весной из него хоть лапти плети.

— Можно и так.

— По-крестьянскому надо. Ставь ты кол почаще да плети не ногами, а руками.

— Кто как может.

— Три дня скотина в базу побывала и выползла. По-крестьянскому плетень сорок лет стоит и не на дубовом, а на таловом колу.

Бахтиар сидел на корточках. Он бесстрастно слушал споры, словно это отъносилось не к его хутору.

Он знал: его точка исправная и по сеноподвозу, и по водопою, и по людям. А что касается плетневых базов, то раньше киргизия зимовала под открытым небом, изредка в снежном загоне, и ничего. К весне она едва доживала, шатаясь от худобы и слабости, но быстро нагуливала вес в степовьях.

Бахтиар соблюдал все правила и инструкции Скотовода, но втайне считал все это роскошеством и блажью.

Бахтиар молчал. Ленъ и бесстрастие ложились густыми мазками вокруг упрямого, грубого рта.

Директор протиснулся сквозь тулупы изгородь. Он любил спорить. И люди были непрочь поспорить с ним, потому что знали: он в споре крепок и расторопен.

— Товарищи, — начал директор тихим, будто заискивающим голосом, — скажите мне одно по-крестьянскому: перезимует скот в этих базах или захолонет и передохнет?

— Да мы не об этом, товарищ директор, — заволновался рыжий гуртоправ, — мы о плетне.

— Нет, нет, ты скажи мне: перезимует или захолонет?

— У киргиза под богом ходила и ничего.

— А у нас как? Под советской властью?

Гуртоправы смеялись, шурша овчиной, стараясь из уважения к директору полегче сплевывать на пол.

— Перезимует, — закричали гуртоправы.

— Так в чем же дело, товарищи. А что плетень плохо скроен, согласен. Но ведь у нас только на двух-трех точках плетневые. А кто виноват? Конечно Совхозострой. Сам бы его задушил.

— Задуши, задуши, — стоном ухнуло все вокруг. — Обещался построить и баню, и дома, и колодцы, и столовую. Мало его удушить.

Гуртоправы расселись на нарах. Они молчали, глядя исподлобья, как директор внимательно скользил по ведомостям, по сухим рапортчикам: движение скота, болезни, подвозы сена, прибытие людей.

Директор захлопнул папку.

— Бахтиар, как живешь?

— Хорошо живу. Как хан живу, — усмехнулся Бахтиар.

Он взглянул на гуртоправов и, зная, зачем приехал директор (это знали все гуртоправы и уже подшучивали), сухо промолвил:

— Кажется, больше нет дел. Ну, товарищи, айда.

Гуртоправы поняли. Они наспех надевали овчины, затягивая их ремешками и веревками. Они унесли с собой тепло, душный запах молодых тулупов.

Директор перемигнулся с завхозом и потребовал книгу посещений. Он завел эту моду недавно по всем точкам и хуторам. Всякое заезжее начальство должно отмечать в этой книге неполадки, давать советы, приказы.

— Вот я тебе сейчас впишу.

— Пиши, пиши. А разве есть что, — забеспокоился Бахтиар.

Директор просмотрел последние записи.

24 ноября. В виду отсутствия у некоторых зимовок своевременно подвезенного сена допускать подгон скота прямо к близким ометам.

Зам. директора Кукин.

26 ноября. Еще раз: не отнимать телков от коров. Хоть кровь из носа, но воспитывать новорожденных под коровьей мамой. Если хоть один телок погибнет, первому тебе, Бахтиару, отпилю голову деревянной пилой.

Директор Раменский.

27 ноября. Опять замечаю неудобство: на территории совхоза частновладельческий бык «Калмык». Как выяснилось, хозяин этого быка — Бахтиар со племянниками. Кажется ясно: передать быка совхозу, как последователю-но-социалистическому хозяйству. Смешно иметь быка и не иметь коров.

Директор Раменский.

— Ну, как же с быком? — весело сказал директор. — По душе ль ему совхозный ковыль?

Бахтиар сумрачно глядел на директора. В глазах директора он читал торжествующую жадность, подминающую под себя все. Встречная волна упрямства росла в нем, перекипая в ненависть.

— Тяжело, товарищ-хазаен, тяжело, — говорил он приторно и лукаво. — Читал твои слова, правильные слова. Тяжело читал. Лучше жена забери, детей забери.

— Детей-то у тебя нет.

— Племянник, — разве не дети?

И Бахтиар улыбнулся холодно.

— Так, так, значит все думаешь.

— Думаю, много думаю, ночью, утром думаю.

Директор записал в книгу.

5-го декабря ветеринарному персоналу внимательно следить за здо-

ровьем и самочувствием «Калмыка» как рано или поздно будущего совхозного быка.

Директор Раменский.

— Читай, — сказал директор, — и понимай.

— Иван Иваныч, дорогой товарищ, — взмолился Бахтиар, — отдам, вот тебе честное киргизское слово, подожди мал-мала.

И он чуть дотронулся до руки директора.

3

Бахтиаровский дом: деревянные нары настланы в поларшине от мерзлой земли, на стенном вытертом коврик висят берданка, тулупы. Небольшая железная печурка расточает пыльное, недолговечное тепло.

Сожительница Бахтиара, Марфа Ивановна, русская казачка, подвязав цветной подол юбки, бросает куски желтого теста в ржавый котел, в кипящее баранье сало. Тесто начинено бараньим мясом. В жиру мясо взбухает шоколадной мякотью, раздвигает золотистые края теста, твердеющего румяной коркой.

Медный поднос, звонко принимает шлепки жироточащих пирожков, похожих на творожники, на сибирские шанги, только чуть поменьше.

Лежа на ковре, запивая чаем, директор пожирает десятки этих киргизских пирожков — беляши. Только одно неудобство: рот, пальцы в салe, капли жира хлюпаются напрямик на дерево нар.

Бахтиар ест мало. Он пьет чай всухую. Широкие скулы щек лениво движутся, и от глотка к глотку шелушатся ломаные слова.

— Товарищ хазаен-директор! В ста сажнях отсюда, на склоне бугра, под снегом курчавится пахучая, грязная, горькая вода. Там нет вешек. Под водой—земля, как жидкое тесто. Если погонят невзначай скотину, и она провалится в воду, что будет. Будет ха-на! Это — знаменитое место. Старики рассказывали: когда-то сорок голов пошло здесь ко дну.

(Директор кивает головой, но не слышит, он думает о быке.

Завхоз знает, о чем думает директор, он знает: этот бык уже сделался причудой, азартной мечтой, детской привязанностью. В голове его начинают бродить веселые, хитрые мысли. «Завхоз,—говорит он мысленно сам себе, — ты не будешь завхозом, если не... О, ты, завхозья порода, о, ты, хитрый лис Кунов»).

— Товарищ хазаен-директор! Неделю тому назад два несчастных, бедных верблюда попали в эту горячую, грязную воду. Два дня лежали они по брюхо, третий день по шею, и на утро четвертого дня был виден только глаз. И глаз плакал, слезился зеленой жидкостью. Бедный, несчастный глаз хотел жить. Вытаскивали глупых верблюдов веревками, подкладывали им под живот жерди, приподымая их, как камень, и тащили за хвост, за морду, за кожу. Трудно было.

Товарищ хазаен-директор. В десяти сажнях от этого проклятого места проходит водопойная тропа, и до сих пор никто не поставил вешек.

(Директор участливо кивает головой и думает о быке. Он действительно болен быком. Странно, бык—только одна десятитысячная совхозного стада.

Хитрые комбинации наполняют завхоза Кунова, как веселый, легкий квасок — пустой боченок.

Он подозрительно следит за суетливыми дебелими руками Марфы Ивановны, за звонкими шлепками беляши о поднос.

Он видит невозможные груди Марфы Ивановны, похожие на чарджуйские дыни, закутанные в большой оренбургский платок, заменяющий кофту. И завхозу весело: «Злая баба, заест».)

Товарищ хазаен-директор! Какая теперь жизнь, какой паек. Махорки — четыре пачки в месяц. Дроби нет, мыла нет, сахару нет. Даже водки нет. За водкой надо ехать семьдесят верст.

(Директору невтерпеж. Сквозь тесноту холодной ночи и протяженность десятков тысяч пустынных га, сквозь, чудовищное безлюдье и кипенье повседневной деловой суеты пробивается волнительная страсть — бык.

Завхоз Кунов соскакивает с нар и подкрадывается к Марфе Ивановне и шепчет ей скороговоркой:

— Марфа Ивановна, заезжайте к нам на главную зону. На складике ситца—ай-йя-йя.

Марфа Ивановна нагло встряхивает своими чарджуйскими дынями и подносит ему свежий, румяный беляши:

— Разве от вас, дьяволов, что получить?

Кунов мигом взбирается на нары и машет ручкой.

— Эх, мамаша, все получите, только бычка отдайте.

Бахтиар молчит. Беляши тают во рту. Марфа Ивановна достает к чаю со дна сундучка конфеты «Кис-Кис».

4

Гости и хозяин набрасывают тулупы. Фонарь «летучая мышь», словно светляк, рвется, падает, взлетает над тропой, ведущей к базам.

Вечер зловеще опухает флюсами сумрака. Вечер похож на огромное, плоское днище парохода, идущего ко дну, на гравий белого снега, на подводные рифы базов.

В плетневых базах, за холодной сытью снежных пластов, обволакивающих плетни, колеблется мерное, густое дыхание. Сотни голов киргизни погружены в чуткий, стоячий сон.

Директор наслаждается медленным приближением этого торжественного, величавого, животного сна.

Директор отстал и оглянулся на запад. Ему показалось, он еще видит полосу света на самом лезвие горизонта. Последний всплеск далекого солнца, пропущенного сквозь зимнюю линзу неба. Через миг поснежовье затянулось черными пологими.

Кунов кричал:

— Сюда, вправо.

Бахтиар размахивал фонарем, бросая в темноту щелчки худосочного света. Директор продолжал стоять и слушать язык снегов.

Кунов и Бахтиар уже подходили к базам. В неожиданных миганьях света можно было различить камышевый настил крыши, овчинный воротник Бахтиара, чапаний башлык Кунова. Они продолжали кричать, думая, что директор заблудился.

Но директор стоял молча, отдыхая, торжествуя, как мальчишка, нашедший

удивительную пуговицу. Он вглядывался в этот густой вечер, вросший тугим клином в тишину, он ощущал невероятную радость (в какой раз!), которую можно выразить так: это я, да, это я, это именно я населил эту пустыню. Эти снега мерным дыханием, кашельным чихом, сонным, коровьим вздохом.

Базовые ворота, грубо навешенные на деревянные болты, нехотя расслапились. Из черной глубины понесло коровьим выменем, теплом, короткими вздохами. Фонарные круги щупали мерзлую землю, плясали по березовым перегородкам и, словно лягушки по рыжему болоту, прыгали по взлохмаченным спинам киргизских коровенок.

Круг уперся в «Калмыка». Он стоял в отдельном стойле, привязанный на цепи.

Кунов направил свет напрямик в голову «Калмыка». Глаз расхлопнул желтый, сафьяновый кармашек, и оттуда, как драгоценный камень, выпал черновато-фиолетовый сколок.

— «Калмык», «Калмык», «Калмычок», — ласкал быка директор.

Крутое, протяженное тело быка тяжело своей сорокапудовой массивностью.

В придушенном фонарном свете вишнево-красные воронки и узлы шерсти источали потоки черновато-пунцовой крови, запекавшейся у белых отметин головы, ног, брюха.

Быстрые змейки, дрожая, обегали его плотные мышцы, ввинчивались в ноги, словно их беспокоили оводы.

Бык стоял мрачный, огромный, костистый, но глядел с добродушной насупью, лениво облизывая пепельно-фиолетовые ноздри.

— Смотри, хазаен-директор, — сказал Бахтиар, — какой шея, какой подгрудка, какой холка, какой мясо, какой голова. Видел ты такой голова? Нет, не видел. А такой нога, железный нога? Никакой волк не боится. Забьет. Где купишь такой бык?

Бахтиар провел рукой по, прямому, широкому крупу. Он похлопывал его любовно. Бык сопел.

— Добрый бык, — сказал Кунов.

— Слушай, Бахтиар, — торжественно сказал директор Раменский, — прекрасный бык, чудный бык, одну пятую

цены получаешь товаром. Кунов, проведем это. Не по закону, но проведем. Счастлицец, Бахтиар. Долго будешь курить махорку, будешь натирать тело ядреным мылом, год будешь вспоминать своего быка за крепким, совхозным чаем. Молодец, Бахтиар! И махорка будет, и мыло будет, и чай будет, и бык тут же будет. Люси его и жалуй.

Фонарь опустился наземь. Три человека курили махру и говорили о быках. Директор старался разъяснить Бахтиару: калмыцкая порода растет медленно, ну как человек: ест много, растет мало; мы скрестим ее с линкольнским шортгорном; мы будем выращивать калмычко-мясистых и шортгорнско-скороспелых метисов; это зоотехническая проблема; иначе гибель «Калмыку» и всем его калмыцким родичам; республике нужно мяса побольше и поскорей.

5

Марфе Ивановне встреча с племянниками казалась случайным сцеплением обстоятельств, неприятным ходом судьбы. Но за спиной судьбы стоял хитрый лис Кунов.

Когда в контору вошла Марфа Ивановна, три племянника Бахтиара уже сидели под великаньим отрывным календарем, их лица были непроницаемо торжественны, они предавались куревному запою, махорочным излишествам. Неизменно рваные штаны были грубо воткнуты в черные валенки.

Не поздоровавшись, Марфа Ивановна сразу отрезала:

— Кажись, могли бы одеть целую брючину. Ведь попусту гибнут в сундуке.

Племянники вскипели гневом. Они клялись:

— Штанов нет.

Завхоз Кунов распахнул фанерную дверцу, повел их вниз скользкими, кривыми ступеньками.

Он не спешил. Он томил их медленным скрежетом ступенек. Он заставил долго петь и звенеть замысловатый складской замок.

Он повел их узким коридорчиком, разрубавшим штабеля тюков, ящиков, мешков. Из черной, сырой пасти он выхватывал лихими взмахами тусклого

фонаря заманчивые очертания фабричных богатств.

Каждый мог вдосталь их ощупать, понюхать, поласкать и мучительно вернуться на место.

Хитрый лис Кунов. Он шел простыми, испытанными, нехитростными путями человеческой жадности, алчбы к приобретению и накоплению.

Он пугал своих спутников призраками реквизиций, он намекал на кулацкие легенды о стометровых общих одеялах, об одной паре сапог, которые надевают по очереди, в то время как остальные дохнут от скуки дома босиком. Может ли быть что-либо радостней иметь лишнюю собственную пару обуви?

Он грозил близким ситцевым оскудением, чудовищным исчезновением всего вплоть до железных иголок.

«Что нужно Марфе Ивановне, почтенной, уважаемой жене Бахтиара?»

Вот тяжелые ломтики, завернутые в зеленую бумагу, на которой торжествуют испанские красотики с гребнем величиной в человеческую голову.

Разве тело Марфы Ивановны недостойно этого мыла?

Ну, а трусы черного цвета, правда, неисправимы бумажные. А гребень с золотой змейкой, вычурно обегавшей желтые края. А ленты, а вышивки, а печатный московский платочек, а перчатки из чертовой кожи, которые не плохо сохранить в сундучке до следующей весны.

Кунов двигался медленно. В худосочном блеске фонарного света бумажная дрянь выглядела шелком, копейный гребень — куском агата, пустяковая грубая лента — пушистой тканью.

Кунов торжествовал. Директор всегда видел это лицо поддакивающим, восторгающимся шагами эпохи. О, как бы он удивился, если б увидел сейчас искреннее лицо завхоза, озаряемое мелкой, торгашеской жадностью!

Племянники брели позади Марфы Ивановны растерянным, обмяклым шагом. Куда исчезли их тайные намерения под шумок торжества утащить пачку махорки или катушку ниток. Они изнемогали от всех этих богатств. Им хотелось нагрузить всем этим подолы

гулулов и бежать что есть силы куда глаза глядят, на край света.

— Особый фонд, премиальный фонд, — шептал завхоз Марфа Ивановне, — всюду самолично ездил, выцарапывал.

Они присели на тюк с телогрейками.

Завхоз Кунов говорил то, что составляло его тайное тайных, о чем он пробалтывался разве спяна:

— Да, мадам, кругом пустыня, мрак, снег по колено, скука, восемьдесят верст до ближайшего полустанка мало кому ведомой Орско-Троицкой железной дороги. Поезда ходят, как улитки.

Мы живем без удобств, даже без кино. Кругом — хоть шаром покати, ничего нет. Пачка махорки — два рубля.

Так-то, Марфа Ивановна. Эти ленты, эти гребни, эти лифчики, эти трусы будут становиться редкостью, и всякий будет обмирать, видя, что у мадам они в изобилии.

Да, мадам, кругом снежная пустыня, рогатые скоты, холод, бешеная работа, никаких удовольствий. Только здесь, на складе, — прекрасный осколок богатых дней.

Да, мадам, они строят, они бешено строят, они воздвигают фабрики, заводы, они развертывают совхозы. И вот они все больше и больше делают валенки, телогрейки, грубые рукавицы, разные спецовки, халаты и ватные брюки. И все меньше — этих лент, этих гребней, этих кнопочек, платочков.

Намотайте на ус.

Бык! Несчастный, недорезанный бык!

Поймите, мадам, кругом все совхозное, еще кругом — все колхозное. Что будет делать ваш единоличный бык, по чьей земле он будет ходить, чью траву срывать, из какого колодца пить воду?

Директор нажмет кнопочку в своем кабинете, и никто не посмеет дать частному быку хотя бы самый маленький жлок сена.

Благодарите, Марфа Ивановна, судьбу. Директор не копается: откуда пришел Бахтиар? Почему у него бык? Не бай ли он? Директор верит аульной бумажке и ее печати. Ах, Марфа Ивановна, мы с вами хорошо знаем: любые печати делаются из сырой картошки.

Очень может быть: придется быка отдать задаром или его вовсе отберут.

— Зачем это, — великодушно вскричал Кунов. — Зачем такое безрассудство?

Марфа Ивановна наклонила голову Кунова к своим губам и в ужасе прошептала.

— Бахтиар говорит: скоро все вернется обратно, идут французы, надо беречь быка для своих коров.

Завхоз хохотал, приседая и хватаясь за живот. Он закинулся спиной на тюк и кричал:

— Уморили, уморили.

Потом он успокоился и деловым голосом изложил:

— Поверьте, Марфа Ивановна, я тоже из военной семьи. Но каждый вечер перед сном я читаю газету. Да вы знаете сколько их? Ну? Ну, сколько? Ну!?

— Миллион, — нерешительно выдавила Марфа Ивановна эту непонятную, головокружительную цифру.

— Миллион... Три миллиона коммунистов, да пять комсомольцев, да пять пионеров, да прибавьте жен, родичей, мам, пап, сестер, братьев, да прибавьте еще около и вокруг, да еще мазунов. Сколько это? Ну, ладно, пойдёмте дальше.

В тупике свет охватил последнюю причудливую груду: ватные одеяла — голубой, зеленый, фиолетовый, красный сатин. Рядом с ними — небольшие, дурашливые подушки, над которыми ломали себе головы все: что обозначает сей ребус — детские подушечки для широкоспинных, грузных гуртоправов.

Племянников Кунов водил мало. Он просто усадил их на ящики с махоркой. И они просидели на них, растерянные, убитые, поверженные во прах сотнями тысяч возможных, близких затяжек.

Завхоз Кунов считал, что он сделал дело.

Когда замок пел и жужжал, он думал о том, как явится к директору и, обнаруживая военную выправку, доложит: на мази.

В конторе он прикинул для Марфы Ивановны примерную твердую цену с

поправками на племенные качества быка и выделил на покупку товара одну пятую часть суммы.

Он набросал несколько вариантов: если на одну пятую суммы взять лент, мыла, платков, то... а если гребней, трусиков, одеяло, то... если на одну треть из этой товарной суммы купить для Бахтиара и племянников штанов, махорки (бык-то общий), то для Марфы Ивановны останется на ленты, гребни, одеяло, подушку...

Марфа Ивановна уезжала больной.

Завхоз Кунов хотел представить себе, как она будет заедать и пилить Бахтиара, и не мог: это было что-то молниеносное, бесконечное, страшное, напомиравшее ход электрической пилы.

Племянники шли всю дорогу пешком, и умы изощрялись в кознях против Бахтиара.

— Он зарезал наших коров, — сказал один, — я говорил, зачем резать?

— Он зарезал наших телят, — сказал другой, — я говорил, зачем резать?

— А теперь мы хотим наш бык не резать, а продать, — сказал третий, — а он говорит, — зачем продать? Он хочет, чтоб пришла вся ячейка и сказала милиционеру: раскулачивай бык.

Они шли втроем, гуськом, мучительно курия, мучительно думая, как им извести дядю, как получить причитающуюся долю при обмене быка.

6

Директор Раменский хотел положить конец начатому разговору. Он хотел свести заседание бюро к частной беседе, к игре, полной взаимных колкостей, ничем не обязывающих обвинений.

Но члены бюро внесли пункт о быке в протокол.

— Я не сторона, — кипятился Раменский, неврастенически подергивая плечами, — я директор. Я вождь здесь, на шестидесяти тысячах га. Меня нельзя бросить в малую кучу. Меня нельзя, как мяч. Я — угол треугольника.

— Товарищ Раменский, — застенчиво вставил другой угол треугольника, секретарь ячейки Курасов. — Ты — конечно хозяйственный вождь, и мы соблюдаем твой авторитет. Но тут мы должны ударить.

Курасов мучительно взглянул на директора и отвел глаза в сторону.

— Мы ведь не ставим вопрос о снятии. Мы говорим с тобой, как с членом нашей ячейки и бюро.

Курасов не любил острых разговоров. Соглашательская мягкость была присуща его натуре. И он собственно хотел еще добавить:

— Иван Иванович, мы всегда знали тебя как хорошего парня, на все сто, на большой палец, на ять. Мы и сейчас говорим: ты — на большой палец, но в тебе много запойного делячества. Я — молодой член партии. Вы все сделали меня секретарем, и я должен быть секретарем, а не рохлей и размазней. Но я — частенько рохля и размазня, и это чорт знает что в дни горячих классовых боев. Ты, Раменский, должен первый ругать меня, если я размазня.

Но ничего этого Курасов не сказал.

До начала заседания он долго бродил с предрабочком Коломейцевым, и тот взвинтил его упреками в слабости, отсутствии линни, в качке. Курасов был уверен, что Коломейцев хотел ему пришить уклон, и он решил быть твердым.

Директор стоял в углу под кровотокащей кроной противокулацких плакатов. Обычная, молодая, нервическая торжественность еще наполняла его лицо.

Он не видел приписываемой ему ошибочной линии, он хотел отшутиться или по крайней мере разверстать вину на всех.

Предрабочкома Коломейцев не ладил с Раменским. Он обвинял его в сверхвождизме, считал неисправимым, мяклым интеллигентом и любил кстати и некстати вспоминать преступное гимназическое образование директора.

Он говорил нарочито грубо, прямо глядя в глаза Раменскому.

— Есть коммунисты и коммунисты. Есть коммунисты, работающие вместе с коллективом, и есть старосветские коммунисты, которые везде и всюду кричать: я, я, я. Вот через это яканье товарища Раменского я считаю его старосветским коммунистом. Не любит он срабатываться с коллективом. Только и слышишь: я — вождь. И вот, когда такие старосветские коммунисты впадают в правый уклон на практике, то не

смей ему слово сказать. Я — вождь. Нынче у нас старосветских развелось не мало. Вот, товарищи, что пишет другой директор совхоза. Напечатано в нашей районной газете.

Коломейцев вынул из кармана небольшой коричневый листок.

«Секретарю райкома ВКП(б) товарищу Чухмину.

Служебная записка.

Я считаю необходимым оставить на работе кулака Сидорова с его семьей в виду того, что гражданин Сидоров показал себя на работе вполне добросовестным, честным, советским работником. Кроме того, он согласен добровольно и безвозмездно предоставить на все время своей работы в совхозе одну лошадь, одну корову, двух волов и прочий инвентарь. За этого кулака ручаюсь. Директор совхоза Овчинников».

— Вот видите как. Нашел советского кулака. Вот и у нас кулаков в совхозе хоть отбавляй, да видно все советские, потому, сколько ни говорили товарищу Раменскому и его заму Кукину, ничего из разговоров не получается. И ты, секретарь Курасов, словно слепец, ходишь по тропе и боишься ступить на широкий шлях.

— Факты, факты,—выкрикнул Раменский.

— Вот тебе факты,—сухо ответил Коломейцев и стал копаться в пачке бумагонок.

— Факт № 1. «У нас разрешено принимать кулаков на тяжелые землекопные работы, главным образом на рытье колодцев, но ни одного кулака не встретишь там. Мало-помалу, бочком, гуськом, они пролезли на базы, они возят сено, кормят скот. На точке «Москва» сын кулака Ершова—бригадир».

— Факт № 2. «Три дня завхоз Кунов не завозил для верблюдов на точку «Курган» соли. На главной зоне соли—горы. Но завхоз Кунов—царь и бог, ему некогда подумать о соли. И вот на точке то ли верблюды стекло приняли за соль, то ли просто от одури (любит верблюду колючку есть), но выдавали верблюды все стекла и поели их. Сейчас ни в одном базу нет стекла. Один верблюд уже запрокинул

ся на бок, и кто его знает, отчего. Не от стекла ли? На точке живет плотничья артель Чударова. Не моргнув глазом, чударовские кулаки и подкулачники глядели на раззор базов и смеялись до упаду. Пусть советский верблюд поест стекла, авось порежет кишки».

— Факт № 3. «Кулак уже не бригадир, не старший в артели, а зав. хутором. Мы хорошо знаем: нет лучших пастухов и скотолобов, как киргизы. Мы, Средняя Волга, должны побольше набирать националов в наши совхозы. Но где сказано, чтоб кулаков?»

Кулак Бахтиар заведует точкой. Директор ездит в гости к кулаку, попивает чаек с беляши, помаленьку приторговывает быка. И бабешка Бахтиарова подносит ему на подносе чайшечку, балует своим разговором. А вот невдомек, что жена эта — оренбургская казачка, вдова известного карателя из Ново-Орской станицы. Откуда пришел Бахтиар, никто не задумывался. Из Казакстана, напрямик через степи, с одним дорогим бычком. А где Бахтиар растерял коровенок? Почему до сих пор не запрошен аул о Бахтиаре? Откуда такая вера его бумаженкам. А знает ли директор, что завхоз Кунов водил вдову карателя на склад и показывал ситец и платочки? Не за быка ли хотят отдать премиальный фонд?»

Курасов остановил Коломейцева и смущенно спросил директора:

— Как ты думаешь, факты?

Директор не дал прямого ответа. Он обвинил Коломейцева в нарочитом сгущении красок, в неумелой подтасовке фактов. Кто же не знает, — в том числе и сам Коломейцев, — что бригада Ершова самая лучшая, что Ершов семь лет не живет с отцом, был в Красной армии, имеет ранения. История с верблюдами. Но ведь виновник неавоза соли, зав. конным двором Сущенко, снят. Если чударовская плотничья артель кулацки настроена, то виной этому слабая массовая работа рабочкома и ячейки. Только быка директор приемлет, только эту вину видит. Может быть, Коломейцев прав, может быть, бык—байский, скорее всего, что так.

Бюро заседало долго, упорно и сумбурно — до глубокой ночи. Секретарь

Курасов старался согласить, уладить, назначить комиссию. Коломейцев упорно и настойчиво требовал поставить на общее собрание. Он грозил райкомом и газетой.

Главная зона спала сытым зимним сном. В библиотечной комнате мигала керосиновая лампа, и пять человек выпрямляли линию, пять человек охрипли от речей, перебранок и колючих прозвищ.

Бюро записало: признать в работе директора Раменского ряд отдельных случаев оппортунизма на практике, предложить искоренить и выправить линию.

Пять человек вышли из мрачного деревянного дома молча, чуть отчужденные и шершавые.

7

Директор пришел домой усталый, побитый. Одинокое холодное логовище протянуло ему сбитый, залежанный матрац, покрыло его волчьим тулупом. Он лег, не раздеваясь.

Он думал катастрофически: он не вождь, не директор, не строитель, не энтузиаст, не советский воин, он просто потакатель кулакам, смешной, отсталый, потерявший нюх, выживший из ума старосветский коммунист.

И откуда Коломейцев выкопал это странное слово: старосветский коммунист.

Мучительно, неврастенически ворочаясь на черством матраце, он старался представить себе, как физически, телесно должен выглядеть старосветский коммунист. Он хотел вообразить себе эту жалкую, мелкую, трусливую фигуру перерожденца. Нет, он никак не похож на эту выдуманную Коломейцевым личность.

Он неврастенически перебирал всю свою жизнь и, развенчивая, пристрастно копаясь в подлинных подвигах и риске живнью во имя революции, старался везде и всюду найти гнилые ростки, корни будущего старосветского коммуниста — гнилого интеллигента Ивана Ивановича Раменского.

Ночь, удушье волчьего тулупа, тишина, струившаяся ощутимо капля за каплей, бессонница вызывали сумбур мыслей и ощущений.

Иван Иванович Раменский — стар. У него нет острого зрения. Он не видит кулаков, он потакает, либеральничает. И вот идет ему смена, молодая, зрячая, смелая: эй, посторонись, задавлю.

«Нет, нет,—стискивал зубы Раменский,—я—большевик, я не старею, я от года к году тверже, большевистская теория и практика все время меня омолаживают. Я попал ногой в рыжее болото, утром я выдерну ее».

Другой—измышленный, неврастенический, полудремотный Иван Иванович Раменский бродил по комнате размагниченными шажками и шептал:

— Я хирею, я совсем, совсем дряблый, я старею, я морщусь, как жаба в старости. Я—жалкий гимназист, я—неврастеник, ну да, старосветский коммунист.

Кошмар.

Директор заснул лишь под утро тяжелым, вязким сном.

8

Директор проснулся с головной болью. Он принес кувшин со снегом. Долго натирал тело. Колючая теплота придала ему молодость, пружинную легкость. Он набросил на плечи свежую, хрустящую рубашку.

— Нет,—говорил, оглядываясь в зеркало и шустро бегая усами у губ (это напоминало бег серого мышонка).— Я не старосветский, у меня еще зрение во какое. Был насморк, да прошел, а теперь я еще посоревнуюсь с вами. у меня нюх—ого-го! Оппортунизм на практике. Как бы не так. Отдельные случаи, да, да. Я задыхался, у меня не было рабочей силы. Я выметал кулаков. И буду. Да, откуда у Бахтиара бык? Откуда? Где коровы? Это так просто.

Он побрел в контору. В четырех комнатах толпился народ, суетились агрономы, зоотехники, гуртоправы. Все это рвалось к нему, требовало распоряжений, просило, жаловалось, легко перебранивалось.

Директор никого не принял. Он вызвал старшего милиционера и велел ему скакать немедленно на «Батыев аул». Он поручил ему три серьезных операции: отобрать у Бахтиара подписку о невыезде, наложить арест на быка «Калмыка», вручить заведующему точкой

приказ о временном отстранении завхозом Бахтияра.

— Гора с плеч, — облегченно подумал директор.

Завхоз Кунов вошел в кабинет без стука. Торжественно-улыбчивый, весь пружинясь на мягких подшитых валенках, он подобрался вплотную к письменному столу.

Ему не понравились хмурые, измятые, изжеванные глаза директора.

Он подумал: обрадую смаху.

— Дело сделано, Иван Иванович. Уломал Марфу Ивановну. Цельный час водил ее по складу. Наговорил ей турусов, сам не помню каких. Хоть под трибунал иди. Вчера вечером записку получил от Бахтияра. Пишет старый чорт: приеду сам, падажды.

— Кто велел уломать, — внезапно явственнейшим образом взвинулся директор.

Он отшаркнул ногой назад кресло и, сжав кулаки, вплотную придвинулся к завхозу.

— Якшаться с кулаками, товарищ завхоз, лопаешь беляши, вводишь директора в заблуждение.

— Товарищ директор, — растерянно пробормотал завхоз.

— Да, да, знаю, сам ездил. Приглядывался. Я дурочку играл, принимался, а ты за чистую монету. Откуда бык? Где остальное стадо? Кто разрешил тебе посторонних людей водить на склад?

— Инициатива моя...

— Книгу приказов, — гаркнул директор, — ты думал: я мягкий, меня обкрутить легко. Тебе лучше меня знать: откуда бык? Кулацкий! Вписать Кунову выговор.

— Товарищ директор.

— Вписать. Благодарю, что не в трудовой список. Да, товарищ завхоз, я видел лошадей со сбитыми спинами. Что это? Без потников ездят?

Кунов вытянулся в струнку.

— Так точно, бывает, не уследишь.

— Вписать потники в приказ.

Когда он остался наедине и охолонул, он судорожно взмахнул рукой.

— Ну, теперь пойдет по начальству. Я — завхозу, завхоз смотрителю конного двора, смотритель — конюхам, а конюха — кому?

На него нашел внезапный хохотун.

От натуги он уперся руками в пись-

менный стол. Стол, топорно, самодельно сбитый из некрашенной фанеры и сыроватых софновых досок, смешно запел, застонал, зашущукал.

9

Милиционер Грач сбрасывает тулуп на бычью кормушку. В руках у него свеча и сургуч. Он ломает голову: как запечатать быка.

— Бахтияр, — сурово говорит Грач. — За ломку казенной печати отдельная статья есть.

— Мой знает хорошо, — неприятно отвечает Бахтияр.

«Калмык» проявляет беспокойство. Он сопит при виде горящей свечи. Грозно изворачивая голову, срывает передними ногами мерзлые комья земли. Он не терпит шума, чужих людей. Его волнует раздраженный тембр человеческих голосов.

— А ты погладь его, — смеется Грач. — Скажи ему ласковое, дитячье слово.

Грачу нужно забраться на борт кормушки и, стоя, развести на свече сургучевое месиво. Он — человек городской и прислан в глушь из Оренбурга за какие-то пьяные провинности. Страх перед быком заставляет его смешно подбирать под себя живот.

Бахтияр дает себя уговорить: он выше ростом, ему удобней накапать сургуча на деревяжку, на жгутовый узел близ железного кольца, вделанного в потолочную балку.

Огромный, саженого роста, в старом, черном тулупе Бахтияр походит на медведя, подбирающегося к быку, чтобы его задрать. Березовые жерди скрипят, гнутся под тяжестью тела. Завязав жгутовые концы, он долго, неуклюже выпрямляет дощечку. Сургучевые хлопья багрово стекают со скрюченных желтых пальцев.

Племянники стоят подле, кроткие и подавленные. Они в неизменных равных штанах. Они долго упрашивали Грача, висли на его руках, хватили сургуч и дощечку, кружились вокруг в ликующей возне.

— Товарищ, наш бык, не печатай, половина наш бык.

Бахтияр не мешал им проливать слезу. Когда вышли из дому и все было

ясно, Бахтиар спокойно, словно ничего не случилось, шел впереди. Племянники никак не могли унять. Он трогали Грача за спину, за руки, выдумывая коверканые, будто русские, ласковые слова, забегали вперед, загоразивая собой дорогу к базу. Временами они шли задом наперед. Они рассказали выдуманную историю о быке, о купле его на общие последние деньги, о голоде четырех киргизов — бедных, совсем бедных — в снежной степи ради бычьей сытости.

— Прощай, — сказал Грач, — может быть, и ты — товарищ, а может быть, и нет. Ежели ты не кулак, все развиднеется и ничего быку не делается. Засим будь здоров.

Грач грузно взобрался на седло.

— Гляди печать. Дыши возле ней в полгрудь.

Он ускакал на зону № 3.

Бахтиар и племянники долго провожали Грача. Они вышли на пригорок и упорно стояли, пока на белом равнинном снегу плясали рыжий тулуп и рыжий лошадиный зад. Собственно, провожал Грача Бахтиар, племянники следовали за ним, как стайка покорных, усталых легавых.

Вчетвером вернулись они в баз. Ворота были раскрыты настезь. В базу багровел одинокий, сумрачный «Калмык». Бахтиар остоял молча, племянники остояли тут же и молчали. Бахтиар прошел по пустому базу несколько раз взад и вперед (скот был с утра угнан к отмету — на километр). Он сбивал валеными сапожищами мерзлые навозные лепешки. Племянники бродили во след, их мучило молчание Бахтиара.

Он посылал их к омету, на зону с ведомостями, но они подозрительно неглядывались и никуда не уходили.

И тогда Бахтиар пошел домой. В избе было пусто и неуютно. Марфа Ивановна уехала к разезду на ярмарку.

— Я ухожу, — сказал Бахтиар, — я оставляю вам бык, мясо, кожу.

— Живой бык, — равнодушно сказали племянники, и тотчас добавили, — резать нельзя, казенная печать.

Бахтиар ничего не ответил. Он стал, не спеша, укладываться. Он рылся в сундуке у себя, у Марфы Ивановны, он выбирал оттуда все наиболее ценное и

легкое: чай, серьги, шелковый платок, старые солдатские часы.

— Далеко ухожу, совсем ухожу, — бормотал он по-русски, — окончательно прощай, пойду в Россию, пойду в Крым, пойду на Кавказ. Бахтиар не пойдет на Аральское море. Бахтиар не будет жить в улацком поселке.

Он перевязал толстой бечевкой мешочное ухо.

— Бахтиар ничего не дал товарищам, ни одна корова не дал, и бык не даст.

Бахтиар развернул папку и добыл большой лист бумаги. Задумался.

— Вещи можете взять себе, — сурово сказал он.

Племянники не двигались с места. Они не верили в доброту Бахтиара.

— Не хочешь. Ну, хорошо. Русская женщина заберет все.

Бахтиар сидел на корточках и думал.

Ненависть широкими потоками захлестывала его память. Год тому назад ночью он набрасывал коровенкам на ноги скользкие, шерстяные петли, подворачивал головы к копытам, бил коротким, острым ножом в затылок.

Ненависть пеленала его крепко и больно. Год тому назад он, захватив в подмогу племянников, угнал остатки своего гурта через буранные степи, он продавал толстых коров за бесценнок, раздавал их знакомым беднякам на тайную передержку.

Ненависть вздымала его на дыбу мести. Только с быком он не мог расстаться. Он сохранял его. Когда наступила степная весна, он раздобыл за недорогую плату сносные документы и пришел в совхоз. Ему стоило больших трудов прикрывать свою ненависть ежедневными ворохами любезных слов. Ему не легко было честно хозяйничать, но он крепился, ожидая часа мщения.

Бахтиар истуканом сидел на корточках и старался во что бы то ни стало припомнить, что писал Андрей Степанович, когда товарищи пришли к нему в дом и объявили ему волю бедноты. Он никак не может вспомнить точных слов. Он хотел их повторить слово в слово. Но смысл их запомнил хорошо.

И он написал:

«Хазаен-директор, борьба не на живой, а мертвый, возьми мой мертвый бык. Больше меня не увидишь».

— Ухожу, — сказал Бахтиар и, сняв со стены берданку, стал ее заряжать.

Он зарядил ядерной дробью, он шел на крупного звёря. Племянники думали: уходит, вот вскинет мешок на плечи и пойдет в степь, снега, бураны, ветер, — жалко дядю.

— Я написал, — сказал Бахтиар, потрясая листом оберточной бумаги, — чтоб вам дали половину быка.

Они вышли вчетвером из дому. Но Бахтиар не пошел в степь. С полдороги он внезапно завернул в баз. Он шел крупным, решительным шагом. Племянники бросились наперерез.

— Куда идешь, куда идешь, — кричали они, — дорога там.

Они догнали его.

Над головой быка Бахтиар прибил лист бумаги. Неграмотные племянники закивали головой: хорошо, дядя, правильно.

Бахтиар соскочил со стойла и отошел в сторону. «Калмык» глядел на него выпуклыми, яйцевидными синими глазами и добродушно сопел.

Бахтиар прицелился. Бешено, словно тройка великовозрастных щенков, набросились племянники на Бахтиара. Они повисли на его руках и ногах, они ухватили дуло ружья и кричали по-русски.

— Дядя, нельзя, сукин сын, дядя.

Бахтиар отбрасывал прочь свору племянников, но они тотчас же набегали, вгрызаясь в черную овчину.

Суматоха волновала «Калмыка». Цепь громыхала, как пустая телега. Бык ревел протяжно и грустно.

Бахтиар трижды ловчился, будто уходил прочь, будто бросал мысль убить быка. Спокойным, неторопливым шагом доходил он почти до самых ворот. Внезапно поворачивался, брал на прицел. Но каждый раз племянники повисали на локтях. Ассан, словно кошка, вскидывался на шею Бахтиара, и никакие удары не могли разжать его объятий.

— Хорошо, я ухожу, — сказал Бахтиар, — бери бык, живой бык.

Племянники провожали его и уговаривали:

— Уходи, ты — бай, бык — не бай, наш папашка — бедняк, ты написал на бумажке — бык половина наш, уходи.

Они вышли за ворота. Они вместе прошли десяток саженьей.

Нежданно Бахтиар повернулся к ним лицом и выставил вперед берданку. Он пятился назад.

— Убью, — кричал он, тыча им в лица дуло.

Так шаг за шагом они снова вернулись к базу. Молча прошли ворота и долго стояли друг против друга.

Бахтиар молниеносно повернулся к быку и вскинул ружье. Племянники тотчас вскочили ему на спину, неистово визжа. Бахтиар бешено возил их по земле.

Сухой, короткий удар прокатился по базу и вернулся обратно. Вслед за ним чудовищный удар сотряс их всех и раскидал по разным углам.

Племянники хотели броситься на дядю, но бык вскинул Бахтиара кверху, поволок его по земле, потом ринулся в белое пятно — на базовый денник.

Бахтиар был жив. Он лежал огромной неживой грудой и тихо стонал. Тулуп был в крови.

Племянники вскочили на стойла. Просовывая головы в окна, они старались увидеть быка.

— Живой, живой, — кричали они, радостно приплясывая.

Бык сумасшедше бежал по деннику, сметая легкие березовые изгороди. Он метнулся к небольшому омету и, раскидав охалью, снова помчался к базу. Племянники отпрянули: чудовищная красная туша неслась на них напрямиком.

Бык остановился посреди денника, усыпанного легким снежком, санными стружками. Он стоял будто в раздумье. Голова его была в крови, кровь стекала мохнатыми змейками с шеи на ноги. Он простоял в раздумье недолго. Он нелепо зарылся головой в снеговой намет, ввинчивался в него, отбивая задними ногами невидимого врага, ревел, вертелся, разбрасывая багряные комья и искры снега.

— Живой, живой, — весело кричали племянники.

Они не хотели слушать стонов и просьб Бахтиара. Их занимала картина буйной жизни быка. Они приплясывали, щелкая языками, толкая один другого в бок.

Бык привскочил. Он стоял в раздумье, жмурясь и ежась, словно он был сыт и

нежно настроен. Но внезапно мягко, плавно опустился на бок. Он чуть дергал ногами, хватал, лизал приятный, сладкий снежок.

— Живой, живой, снег ест, отдыхает, — говорили друг другу племянники, — дядя — сукин сын, умирай, дядя.

Они стали уговариваться: кому ехать

на зону за милиционером и ветеринарным фельдшером. Они вышли из база на денник, но не осмеливались близко подходить к «Калмыку».

Бык жил. Он лежал, тяжело дыша, по инерции скользя языком поверх снежной земли. Он был на коротком пути к смерти.

■■■■■■■■■■

Два стихотворения

НИК. ТАРУССКИЙ

1.

За 20-й век! За мировое
Водополье; за разбитый лёд;
За года, летящие Москвою,
Как один неотвратимый год;
За высокий голос смуглой крови;
За сердцебиенье, — не заснешь!
За того, кто строит и готовит,
И выносит в дружелюбьи дождь;
За бессонниц страстный шопот сердца;
За бессмертье тех, что не дошли;

За замерзших, нам дающих греться
Всем огнем, всей теплотой земли;
За негаснущее солнце комнат;
За погоду времени, где я
Пил твой воздух, гордый, беспокой-
ный
И неподходящий для жилья!
Командарм! Сопротивляясь бедам,
Чтя приказ бесповоротный твой,
Я иду за конницею следом,
Как красноармеец рядовой.

2

Я осенью болею, а ты не спишь, мой
друг!
Мой ласковый, дай руку, мы вступим
в об'яснение
С той памятью, где кружит зеленый,
звонкий круг,
Лес отроческих лет, полуприкрывшись
тенью.
Мы эту тень развеем и копать обо-
трем.
Давай начнем сначала! Ну, вместе!
Восемнадцать!
Ты помнишь этот год? Как музы-
кальный гром,
Он в комнату вошел и приказал ме-
няться...
Сквозняк ломает рамы. Он — синий,
ледяной!
Навылет сквозь квартиру, выдавли-
вая двери!
Навылет сквозь сознание, — а ты,
мой друг, со мной!
Привычки отживают, и мне не жаль
потери!
Восторг? Слепое пенье? Случайный
обертон?
Мальчишество, быть может? Но воз-
раст умирает.

Шинели и бушлаты. Дымящийся
перрон.
Слепит морозным солнцем. А я дру-
жу с мирами.
Ночь. С легким саквояжем стою на
холоду.
Столбы фонарных светов. Обмерз-
шая площадка.
И вдруг состав вскипает свистками на
ходу
И в ночь меня выносит, рыча, из бес-
порядка.
И режет мир, и ломит, и прется на-
прямик
Сквозь белые вагоны тифозного со-
става
Туда, туда, в ночное, где не читают
книг,
Где широко без края, где завалило
травы.
И круглый шум колесный. И снег. И
стоны рек,
Когда их дружно давят гудящими
мостами,
Прощай! Прощай! В последний! Раз-
гон в 20-й век.
Где ночь вздыхает жизнью над мча-
щими кустами.
Август. 1931 г. Ока.

Апрельские бунтари

Главы из романа о Достоевском

ЛЕОНИД ГРОССМАН

Итальянчик Антонелли

Он следил за ведомостями У Вольфа и Беранже, у Излера и Доминика, во всех кофейнях и ресторациях на Невском получались немецкие, польские, даже французские листки. Он мог, не читая, отбрасывать «Инвалид», закапанный ликёрами отставных гвардейцев, и бегло пробегать «Пчёлку», всю залитую шоколадом департаментских юнцов. «Газета прений» сообщала ему все политические известия. За чашкою кофе, за тарелкою бульона узнавал он о всех тревожениях в Париже, Берлине и Вене.

В тот день, зайдя пообедать в известный трактир, он с жадностью прочитывал сообщение о восстании в Генуе. Революция в Италии продолжалась. Правительственные войска отступили перед народной гвардией и инсургентов, занявших три главных форта городских укреплений. Новый отряд королевских войск под начальством генерала ла-Мормора начинал вытеснять вооруженные отряды мятежника Авеццаны. Достоевский с волнением следил по телеграфическим депешам за этой отчаянной борьбой старой власти с народной революцией.

Вдруг овладело им неприятное ощущение, — словно стеснение какое-то, как-то не по себе, неудобно и даже тревожно, словно что-то хотелось с себя сбросить, как гусеницу, проползающую по шее. Он сделал невольное движение, приподнял глаза и... все разъяснилось.

Прямо напротив за тем же столом, не читая и даже не завтракая, исп-

движно и очень прямо сидел перед ним в красном своем плюшевом жилете с широчайшими отворотами «à la юная Франция», с пышным у горла фуляром модного цвета апельсинной корки и крупными перстнями (тонкие профили женщин в агате и яшме, подернутых жилками) беспокойный и странный гость Петрашевского, сожитель этого безбожника Феликса Толля, бывший филолог, теперь канцелярский чиновник — Петр Дмитриевич Антонелли.

Низкий, заросший и поразительно плоский лоб лоснился, как маслянка фонарщика, а пухлая и влажная нижняя губа, тяжело отвисая, придавала лицу его алчный, почти растовщенный вид. Не мигая, смотрел он на Достоевского. Но, заметив его удивление, преобразился, нагнулся, весь застыдился как-то, расплылся улыбкой, салютовал взмахом руки и, сияя вспотевшим лицом, наклонился к столу, пробегая мышьями глазками по газетным столбцам.

— Интересуетесь бунтами на Западе? Генуэзским восстанием? Следите за европейской революцией?

И носом своим, острым и длинным, как бритва, уткнулся в шуршащий инфолио газеты.

— А с чего вы заключаете? — равнодушно уронил Достоевский. — В газете ведь много статей...

— Да вижу, вижу, что привлекает ваш взгляд. Вон — бульвар итальянской демагогии, — придумывает же Булгарин политические прозвания: триумвират головорезов, республика контрабандистов (он суетливо и быстро бегал глазами по столбцам)! «Мащинисты во-

оружают каторжников и уголовных преступников»... (Он понизил голос).— Вот вам петербургская полицейская оценка великой итальянской революции.

— Великой? Но мне кажется, в событиях последнего года Италия не на первом плане...

— Ошибаетесь... Эй, мальчик, горькой водки и пару слоёных — послаще! (Тяжелая, длинная капля повисла и пала с припухлой губы). Есть только два решения социального вопроса в Европе, и оба, заметьте, ведут на мою родину.

— Каким же это образом?

— Только Италия может предложить миру новые союзы из испытанных старых объединений. Всю теперешнюю политическую смуту разрешит папа...

— Кто?

— Его святейшество Пий девятый. Он предложит бунтующим массам всемирную организацию католической церкви. Вы соображаете? Ватикан приложит свой опыт объединения миллионов и всемирного владычества над ними к делу мировой революции. Я спрашиваю вас: кто тогда устоит на троне из всех королей обоих полушарий?

— Мне кажется, вы, Антонелли, рассуждаете, как католик...

— Нисколько. Я говорю от имени всех наций, всех бедняков, всех работников, всех оборванцев, всех лаццарони мира! К ним-то и обратится с протянутой рукой глава католической церкви.

— Однако первый вольнолюбивый папа бежал из папской области от возмущения римской бедноты.

Антонелли ответил не сразу; он поглядывал куда-то вбок. У стойки появилась буфетчица, полная, откормленная, блистающая сытостью, довольная и здоровая, как огромный, разжиревший, сверкающий кот, с надменной безмятежностью присевший на край прилавка. Мышьи глазки Антонелли задержались довольно долго на полновесном торсе хозяйки, пока тяжелая губа его отвисала все ниже, заметно увлажняясь и подрагивая.

«Э, да ты видно действительно падок на сладкое» — подумалось Достоевскому.

Вспомнился особый петербургский тип: любители кондитерских и Мещан-

ских, способные на все ради удовлетворения грубейших плотских наклонностей.

— Папа вскоре вернется в Квиринал, вот увидите (Антонелли опрокинул рюмку и прожевывал пирожок), уже по всей Италии составляются петиции..

— Он вернется для борьбы с мятежом.

— Рано или поздно он примкнет к революции. Я говорю вам о неизбежном мировом движении. Папа благословит толпы на последнюю победу. Кардиналы, епископы и пресвитеры поведут во всех столицах блузников и чернь на баррикады. Конклавы изберут советны верховных комиссаров, конгрегации и консистории превратятся в народные трибуналы. Смертные приговоры будут ссылаться на латынь евангельских текстов, гильотина воздвигнется на папертях костелов, потоки крови прольются именем Христа. И весь мир окутает единая несокрушимая организация римского первосвященника, ставшего диктатором мировой революции...

— Какая странная фантазия, — удивленно произнес Достоевский, внимательно всматриваясь в своего собеседника.

— А разве Фурье не фантазия? Или Кабэ? А Прудон или Консидеран? Согласитесь, что у всех установителей земного рая воображение самое необузданное...

— Но все же — глава церкви и гильотина...

— Так что же? Священнослужители присутствуют же теперь при казнях. Ни одна капитальная экзекуция в Петербурге не обходится без священника...

— Социальная революция никогда не пойдет путями церкви. Ватикан мог организовать средневековье, но справиться ли ему с рабочими секциями Парижа?

— Вы не хотите Рима? Не надо. Уступаю вам святейшего отца! На Апеннинах есть Неаполь. А в Неаполе — вы догадываетесь, о чем я говорю — в Неаполе — цех угольщиков...

Он таинственно воздел палец к небу. Тонкими розовыми жилками переливалась камей в массивном перстне. Достоевский почему-то долго не мог отвести глаз от этого крупного, тонко точеного, нежно окрашенного камня.

— Угольщики? — произнес он сквозь легкий сон созерцания. — Это что же такое?

— А весьма неплохое сообщество, — протянул италянец, сильно снижая голос и озабоченно озираясь по сторонам.

Вокруг, среди пыльного бархата и потускневшей бронзы, равнодушно жевали челюсти петербургского среднего люда с его крупными аппетитами и ограниченными окладами. Все были погружены в невозмутимое прожевывание своих порций.

— Вы только послушайте: железная организация, беспрекословное подчинение, глубокая тайна, жертва всем во имя общего дела. Клятвопреступнику смерть! Кровью спаяно все. И единая воля — очистить лес от волков, Европу — от хищных тиранов. Беспощадная война с полицией, — долой кальдераров! — Упорное пусканье корней в армию, школу, бюрократию, неутомимое стремление опутать сетью грандиозного и таинственнейшего комплота весь священный союз европейских монархов... и нашего тоже конечно.

Под гудение органа он говорил почти шопотом, но остро оттачивая в медном голосе труб каждое слово и почти вонзая его в слушателя, как заговорщик кинжал, — бесшумно, коротким и четким ударом.

— Но на Россию союз этот вряд ли распространит свое действие. Да и на Западе, кажется, он не достиг заметных успехов...

— А восстание в папской области, а революция в Пьемонте, Неаполе? А военные бунты во Франции, а июльские дни в Париже? Всего этого вам мало?..

— Но этот союз ваш тоже какой-то... католический, иезуитский. У нас все пойдет другими путями, я в этом уверен.

— Нет вернее путей, нет организации крепче и действеннее. От нее затрещит по швам весь феодальный мир и распадется, как труп. Мы устроим «бараки» для сборищ в столицах и всех губернских городах, — ха-ха, у каждого губернатора под носом — «хижина угольщиков», мы разбросаем по всем уездам «рынки», всю страну от Камчатки до Эйдкунена покроем сетью союза, а где-нибудь здесь, под самым Зимним дворцом, ну хотя бы на Миллионной,

устроим верховную венту... Вы представьте себе — император, министры, фельдмаршалы, директора департаментов, генералы воображают, что они управляют страной, а на самом-то деле параллельно, секретно, неведомо властвуем мы, разрушаем деспотию, развиваем болты, очищаем место для новых построек, воздвигаем в оврагах и топах фундаменты будущих фаланстер.

Достоевский слушал задумчиво. Его чем-то прельщали эти безрассудные планы, в которых история, политика, будущность странно сливались в какую-то невообразимую, дикую и чем-то привлекавшую его утопию...

— У вас, кажется, опять разыгрывается фантазия, Антонелли...

— Эх, Федор Михалч, без фантазии-то революции не состряпать. А ведь вы, небось, не за старый режим?

И суматошливые глазки Антонелли вдруг неподвижно пронзили лицо его визави.

— Вы ведь, кажется, слышали мнения мои у Михайлы Васильича...

— Слышал, слышал. Да знаю, не всё ведь в такой большой компании выскажешь... Вы ведь известный писатель, немало, верно, замыслов про себя таите... Знаем вас, российских Эженов Сю! Там какие-нибудь «петербургские тайны» замыслили и незаметно, мимо носа цензуры, коммунизм проведете в «Отечественные записки». А лучше бы, знаете, тайно...

— Как же так?

— В собственной типографии. Секретным набором, — шептал Антонелли. — Так на Западе действуют. Кажется, ведь и у нас что-то такое замыслили? Правда ведь? Правда?

— Не-нет, не знаю, — отвечал медленно Достоевский.

— Будто? Уж вам ли не знать? Литератору! Полно, знаете. Говорят, заказан станок в разных мастерских, отдельными частями, и где-то будет он собран. Вот это удачная мысль! Вот за это нужно хвалить наших. Это уже зрелый шаг! (Он был вне себя от восторга). А где соберут его? (бросил он как-то небрежно).

— Вам лучше это знать, — с трудно преодолеваемым отвращением прогово-

рил Достоевский, — ведь не я вам, а вы сообщили мне о типографском станке...

— Так неужто не знаете? А мне так хотелось распространить свой трактат о применении карбонарской организации в России. Вы подумайте только, в Орле, Таганроге, Ревеле малые венты шлют депутатов в центральные ложи Киева, Иркутска, Архангельска, всех трех столиц (разумею и царство Польское). Рядом с каждым губернским правлением — ячейка всероссийского заговора. За каждым земским исправником слежка ученика или мастера. В каждом уезде строжайший надзор и неустанная пропаганда фактами. Все невидимо, даже по внешнему виду благопристойно, а между тем власть подрывается ежеминутно. Председатели казенных палат играют нам в руку, городничие — наши агенты, становые пристава пляшут по нашей дудке. Сеть жандармских округов плотно подбита филиацией всеславянского цеха угольщиков. Из провинции делегируют членов в высшие разряды, ведущие сношения с заграницей. А от них великие избранники направляются в единую верховную венту, незаметно управляющую всею Российской империей из меблированных комнат Штрауха на углу Морской и Гороховой... Недурно, ха-ха?..

Было в этих политических планах что-то шутовское. Достоевскому вдруг показалось, что этот итальянчик, как любой петербургский акробат, должен превосходно вращать на мизинце тамбурин или держать на своем длинном носу стул, как славный Киарини или Пацциани из адмиралтейских балаганов.

— Кто же войдет в вашу верховную венту?..

— Представители с мест, а от Петербурга — Спешнев, я и конечно вы, Достоевский. Не удивляйтесь, такими людьми, как вы, должна дорожить революция. Вы по природе — заговорщик, вы агитатор, трибун... О, вы способны убить тирана... Да, да, вы из расы героев-убийц, как Брут, Равальяк...

Достоевский бледнел. «Вы ошибаетесь, я не убийца» — хотелось сказать, но почему-то не выговаривалось...

— Вы поведете толпу на штурм цитаделей, вы завершите последним ударом разгром всего... Вы подумайте

только: красный петух в деревнях, а в столицах, в губернских центрах — восстания и травля властей. По всей России — разбой и пьянство! Бунты в армии, распад администрации, хищения, прокламации, публичные скандалы, вымирающие селения, восстающие фабрики, голод, эпидемии, поджоги... И тут-то — кинжал в тирана!

Красный жилет Антонелли, казалось, пылал, как зарево. Оранжевый шелк фуляра взметался, как языки пожарного пламени. Щеки лоснились, блистала губа. Оратор словно хотел вовлечь собеседника в свои страстные прорисания.

Но Достоевский молчал и внимательно следил за ним. Он давно уже имел свою мысль об этом чрезмерно разговорчивом и излишне пытливым мятежнике.

— Так неужели же вы, Достоевский, не примете в этом великом деле участия? Неужели же пламенным своим пером не заклейте тиранов? Быть не может того, никогда не поверю!

Достоевский поднялся. Поправляя свой плащ, окинул холодным взглядом собеседника.

— Да уж если бы и участвовал, то вам, поверьте, о том не сказал бы.

Антонелли опешил, вильнул своим острым носом и даже привстал.

— Почему же?

— Да так. А кстати, Антонелли (в нем вдруг проснулось желание сразу сорвать с негодея маску, дерзко пренебречь опасностью — это не раз с ним случалось), вы вот знаток устройства католической церкви, союза карбонариев, всяких там тайных обществ. А вам неизвестно, как Фуше — в своем роде ведь тоже гениальный систематик и устроитель — организовал в Париже при консульстве высшую полицию?

И оба, молча, слегка побледнев, прошагали, как два автомата, вдоль тусклой бронзы и пыльного бархата, сквозь гуды органа и дым, из трактира на Невский.

По повелению его императорского величества

Ночь была в Петербурге. Холодная, с ветром, весенняя ночь.

Уже черное небо бледнело, болезненно истончалось, становилось прозрач-

нее, мертвеннее, малокровнее и дольше блестела игла с кораблем над воздушной колоннадой адмиралтейства.

Лед со звоном сошел с Невы, но мосты еще были разведены. Ждали льда с Ладоги. И тонко звенели ночами осколки разбитых покровов по черной реке, и стлы на своих пьедесталах фиванские сфинксы, уже явственно различимые в прозрачных завесах хиреющей ночи.

В Петербурге начиналась весна. В шустерклубах расчищались кегельбаны. Сквозь выставленные рамы явственнее доносились тоненькие переливы тирольских цитершлегеров. «Северная пчела», осторожно и ни в чем не нарушая благоговения перед мудрым и кротким правительством, невинно и мило подшучивала над мокрыми дачами в Полюстрове или Парголове. В самой столице уже усиленно готовились к открытию увеселительных садов и огородов.

Он навсегда запомнил эту последнюю весну своей молодости. В бессоннице бледнеющих ночей слагалась горячая повесть о гениальном и беспутном скрипаче помещичьих оркестров и бродячих трупп, забулдыге и отверженце жизни, матерински обласканном одною запуганной девочкой. Рассказ расстился, вырастал, развертывался в необычайную историю одной несчастной женщины. Вдруг все оборвалось.

В апрельскую хворую ночь в жизнь его вошла блестящая нагола сабля и что-то навсегда отсекала. Беззвучно одним своим холодным сверканием перерезала жизнь надвое, разрубила судьбу. Повисла над ним новым Дамокловым мечом на целое десятилетие. Неожиданно и неумолимо повлекла за собой и ввела его в жизнь чужих и грозных людей — тюремщиков, следователей, надсмотрщиков, комендантов и плацмайоров, тесно замкнувших на долгие годы в свой заклятый круг его, государственного преступника Достоевского первого.

На заре голубой подполковник с нижним чином и полицейским приставом усадили его в карету — словно смольнянку или театральную воспитанницу (никогда он не пользовался столько каретами, как в эти нелепые месяцы).

Вот Фонтанка, вот опрятное и зловещее здание у Летнего сада. Напротив в бледном свете утра чуть розовеет укрепленный замок нежного цвета перчаток Лопухиной. Карета круто переламывает за угол свой бег. Распахиваются ворота, узкий под'езд, полутемная лестница, но зато наверху просторный, нарядный аванзал. Посреди сверкающий цоколь. На его высоте, склона застенчиво нежную голозу к плечу и прикрывая легчайшей мраморной тканью от взглядов жандармов и штатских свой девичий торс, светилась тысячелетней улыбкой сама Анадиомена, лукаво и дразняще обнаженная Венера Каллипинос.

Откуда попала сюда, в покои Орлова и Дубельта, в этот грозный раздел личной царской канцелярии, пенорожденная Киприда? И для чего воздвигла она свой сияющий торс в этом тюремном преддверии среди следственных дел, обнаженных сабель и шпорного звона?.. Не для того ли, чтобы в последний раз радовать взгляды важнейших государственных преступников перед отправкой их в крепость, на каюту, на эшафот?

(Недавно только в Париже он стоял перед милосской богиней. Без рук она была еще прекраснее. Казалось, они ей и не были нужны, она словно отказывалась принимать что-либо от жизни, звать, влечь в себе, удерживать... Она и с отсеченными конечностями была победоносна и прекрасна. Сила ее притяжения не требовала иного орудия, чем спокойное совершенство ее черт и сверкающая гармония тела. Но в то петербургское утро Киприда игриво и задорно улыбалась, обнажаясь перед хмурыми сподвижниками Орлова).

Мимо богини его проводят в белую залу. По углам и вдоль стен — посетители пятниц, но нет самого Петрашевского (неужели прямо в крепость?). Множество незнакомых лиц. Брат Андрюша? Откуда? Растерянно смотрит девица с Невского, весьма миловидная, в шелковом платье с маленьким зонтом и в шляпке с огненным острым пером. Найдя ее в постели одного из подлежащих аресту в известной гостинице Клея, жандармский капитан доставил в эту добычу в Третье отделение вместе с рукописями и запрещенными книгами.

— Зачем же ее привезли к нам? — с изумлением вопрошал по-французски плотный седой господин во фраке со звездой, — ведь здесь не ночной ресторан, не зал Энгельгардта... Отпустите эту... даму. *Voions, ne soyons donc pas ridicules*, — во всем должен быть смысл.

Это был тайный советник Сагтынский, член следственной комиссии.

И вот снова распахиваются двери. Голубые патрули с обнаженными саблями. И меж них высокий и тонкий, спокойный и уверенный, как всегда, словно ведя за собой твердой поступью двух жандармов, легко и свободно вошел в белый зал человек необыкновенной и поразительной наружности.

Все взгляды обратились к нему. Жандармский майор метнулся к дверям со своим листом, но словно смущенный бесстрашием вошедшего, почти с робостью задал свой вопрос:

— Фамилия?

— Николай Спешнев.

Он стоял, как всегда прекрасный и невозмутимый, неволью и как-то неосознанно блистая своим челом поэта и мыслителя, весь в черном, в ослепительном белье, бархатном жилете, атласном галстуке. И на этот раз все в нем было сдержанно, заключено и строго. Нисколько не походил он на петербургских щеголей, а скорее напоминал европейских политиков или ученых, как изображали их в то время модные эстампы, прилагаемые к журналам и брошюрам.

И пока он медлительно и бесстрастно ронял свои ответы майору, Достоевский снова жадно всматривался в этот странный облик кроткого Мефистофеля, столь пленивший его своим ироническим и бесстрастным выражением.

Все в этой внешности было доведено до последней степени совершенства и какой-то высшей выразительности: шелковистость темных волос, блеск и непроницаемость глаз, алость губ, отчетливая линия лицевого овала, изящнейший очерк бровей и безошибочно точный разрез глаз. Казалось, голова эта была отточена самыми гибкими бархатистыми папильниками или тончайшей стеклянной бумагой.

Но при этом поражающем блеске красота его чем-то интриговала, драз-

нила и смущала зрителя. Возможно, что это впечатление получалось от странной неподвижности этих безукоризненных черт. Казалось лицо было вылеплено из матового фарфора и только местами тронуго киноварью игрушечного мастера. Это была почти кукольная голова с образцовым и тонким овалом, ярко вишневыми и слегка припухлыми губами. Глаза его смотрели недвижно и непроницаемо, каким-то многосмысленным и загадочным взглядом с остановившимся и тревожащим блеском, словно способным заморозить и внушить свою волю. Улыбка, еле заметная, почти неуловимая, и все же раздражающая, еле змеилась в уголках этих сочных гранатовых уст. Лучистая светлость и ледяная бесстрастность облика вызывали в памяти изображения древних кумиров, а безоблачная ясность знания, разлитая во взгляде, напоминала чем-то голову титановского равви перед фарисеем, протягивающим монету.

Тайный советник Сагтынский в тоне тончайшей светской приветливости, почти извиняясь, сгибал свой тучный стан под холодным взглядом Спешнева, предлагая ему присесть, подождать, обещая с улыбкой хлебосола сигары и завтрак. Тот недвижно смотрел на него, ничего не отвечая.

Достоевскому вспомнились их первые встречи. В то время он еще не утратил юношеской способности влюбляться в красавцев, облученных чарами таланта, необычайной биографии или внешней неотразимости. Спешнев завладел его воображением. Что Тургенев! Вот настоящий властитель душ, призванный вести за собой людей и повелевать ими; аристократ, богач и красавец, отдающий себя всего на служение отверженному человечеству.

Первоначально эта слепящая и раздражающая красота не только глубоко поразила, но одновременно как-то мучительно смутила и даже чем-то испугала. Слишком уж явственно сказывалось превосходство этого нового лица перед всеми «нашими» и даже перед самим великим пропагатором — Петрашевским, фатально терпящим в глазах своих слушателей авторитет вождя, как только в круг их являлась молчаливая фигура этого участника европейских политиче-

ских и рабочих союзов, автора важнейших научных исследований о тайных обществах и знаменитых заговорах, сражавшегося на чужбине в рядах отважнейших инсургентов. Такая слава таинственно окутывала его, порождая легендарные толки о чрезвычайных поручениях, возложенных на него каким-то высшим комитетом европейской революции в целях подготовки отсталой России к всеобщему перевороту; говорили о каком-то всемирном заговоре, в осуществлении которого Спешневу назначена роль начальника штаба славянских повстанцев, их зажигателя и предводителя, и много таких же неясных, чрезвычайно тревожащих и во многом непонятных слухов бродило о нем.

Достоевский любил, не отрываясь, следить за ним на собраниях, во время прений, когда он внимательно слушал ораторов, изредка как бы срезая шумную разногласию мнений своей отточенной фразой. Пред всеми теоретиками пятниц он имел великое преимущество прямолинейных и решительных суждений. Когда как-то один из коломненских фурьеристов отстаивал мысль, что новое учение об устройстве человечества перенесет древний завет о любви к ближнему в научно организованные общины, Спешнев сдержанно, но как-то неопровержимо заметил:

— Любовь к ближнему даст нам армия граждан с сильными руками.

Когда Петрашевский изложил однажды принципы переустройства крепостной деревни в фаланстеру, Спешнев медленно, но как бы диктуя новый закон для высекования его на скрижали, произнес:

— Нам нужна не фаланстера, а стальная организация заговорщиков с неумолимо строгой иерархией, обязывающей каждого члена беспрекословно повиноваться приказам неизвестных инстанций.

— Но ведь это может нарушить мирные пути к реформе общества и привести к тирании немногих, к насилию и даже антропофагии...

— Грахх Бабеф считал, что социальные замыслы нужно осуществлять с оружием в руках.

— Но французская революция заглохла в крови...

Еле заметная усмешка тронула коралловый рот Спешнева.

— Французская революция — только предтеча другой, более великой и более величественной революции, которая будет последней в истории человечества.

... В белом зале Третьего отделения не прекращается шум. Все утро — суэта, переключки, проверка, опросы. В полдень среди трепета всех жандармов и чиновников появился сам граф Орлов, высокий и тонкий, с крохотной головой, как булавка. Укоризненно звучал горестный голос оскорбленного в лучших чувствах отца:

— Будьте же чистосердечны. Царь в неизреченном своем милосердии предоставляет раскаявшимся с первых допросов обрести снисхождение...

К вечеру стали по списку кое-кого вызывать в кабинет к Дубельту. Уже прошли и не вернулись обратно Момбелли, Спешнев, гвардеец Григорьев.

— Отставной поручик Достоевский первый!

Его ведут бесконечными коридорами — направо ряд камер, налево — глухая стена. На дверях надписи: «Канцелярия для производства дел по преступлениям государственным»... А вот наконец: «Кабинет управляющего III отделением».

В кабинете Дубельта

Он сидел в глубоком кресле с высокой спинкой, тонкий, легкий, словно весь заостренный, пронзительно изящный, чуть улыбающийся, бодряще сверкающая при этом зелеными своими глазами и ровным оскалом белоснежных, длинных зубов под полуседыми и ниспадающими усами, в каких изображают обычно Мервингов. Достоевскому мгновенно и сразу представился вдруг зверь из его страшной детской галлюцинации: матерый, остромордый, белосватый волк с изумрудно пылающими глазами несся на него, лязгая своими сверкающими клыками.

Генерал любезно наклонился и указал ему на стул перед самым бюро. Под восьмилучной золотой звездой голубое сукно мундира, казалось, отливало небесным эфиром или лазурными волнами

Адриатики в солнечной ласке эрмитажного Клода Лоррена. Блистание парадного убора (Дубельт только-что вернулся из Зимнего дворца, куда он сопровождал Орлова для высочайшего доклада о «большом дне» в Третьем отделении) ослепляло неподготовленный взгляд. Орденские знаки тяжелой искрометной гроздью свисали с высокогорного воротника, словно схваченного выпуклыми серебряными обручами. Казалось, кресты и медали были щедро брошены целой пригоршней на эту доблестную грудь верховного государственного стража.

Несколько мгновений, откинувшись на спинку кресла, он молча оглядывал своего гостя фосфорящимися зрачками, впрочем с неизменным выражением любви.

— Нас бесконечно огорчает, — начал он серьезным, но не лишенным некоторой великосветскости тоном, — что писатель с таким именем, как Федор Достоевский, оказался замешанным в это печальное и воистину позорное дело. О, мы не торопимся с обвинениями, — словно спохватился он, — следствие еще не сказало своего последнего слова, и вы, может быть, докажете свою непричастность к преступным замыслам (он как-то сразу выпрямился в кресле), направленным против жизни нашего обожаемого государя...

Он резко оборвал фразу и пристально взгляделся в лицо собеседника. Достоевский сделал невольное движение: этого он никак не ожидал.

— Ну, вот видите, — продолжал Дубельт, снова погружая в кресло свою сухопарую фигуру, — вы словно уже готовы протестовать против этого обвинения, и я, поверьте, буду первый ликовать, если вам действительно удастся доказать со всей неопровержимостью, что вы не были участником царубийственного заговора...

— Но никакого заговора и не было, — с глубочайшим убеждением и почти возмущенно проговорил арестованный.

— О, не будьте так убеждены в этом, — вежливо, хотя и с ноткой предостерегающей строгости возразил Дубельт. — Но если вы лично не замыслили против жизни нашего ангела-монар-

ха, вам это, разумеется, и не будет поставлено в вину. Ошибок у нас не бывает.

— Я смогу доказать, что принимал участие лишь в литературных и экономических прениях. Наши мирные беседы...

— О, я не собираюсь расспрашивать вас о деталях дела, о лицах, о намерениях, о разговорах (он даже чуть-чуть поморщился: как, мол, противна эта следственная кухня с ее придирами и мелкотой!). Меня интересует более общий вопрос — о вашем отношении к некоторым событиям.

Он на мгновенье задумался. Легкая пауза должна была углубить впечатление от сказанного. Он словно хотел подчеркнуть перед Достоевским свое особое отношение к делу, какую-то высшую точку зрения, безупречную позицию верховного руководства, быть может, чистейшей идейности и высокой принципиальности. Эта была та олимпийская отрешенность от всякой пошлости и грязи, которая неизбежно внушает мягкую и светлую благожелательность даже противнику. Он как бы стремился отчетливо отгородиться от всей этой низменной полицейской процедуры с агентами-провокаторами, сыщиками, шпионами, осведомителями, приставами следственных дел. Он пребывал где-то неизмеримо над ними, парил в лазури, среди светил, в какой-то астральной сфере, словно возведенной безгрешным цветом его мундира; серебрящейся белизной эполет и солнечными лучами анненской звезды... Это был почти художник, зачарованный светлым видением своего надземного замысла.

Было известно, что Дубельт считал себя отпрыском царствующей католической фамилии и любил выказывать себя — особенно с литературной публикой — благосклонным потомком принцев, аристократически спокойным и безоблачно приветливым. Его бешеную ругань, когда из-под личины этого потомка владетельных князей внезапно выступал вахтер полицейского ведомства, знали клиенты низшего сорта, лишенные возможности запечатлеть на бумаге, хотя бы в отдаленном будущем, черты и жесты жандармского генерала.

Все это было достаточно известно. Достоевского не удивил этот исполненный благоуханной грации, величаво-ласковый тон. Не верховный истребитель крамолы, не глава тайной полиции — артист и мечтатель, почти единомышленник, беседовал в своем кабинете с молодым писателем Достоевским. Начальник государственной охраны мог даже позволить себе некоторую задумчивость. Он впрочем быстро вышел из своей рассеянности и прервал краткую паузу.

— На следствии вы сможете во всех подробностях доказать вашу непричастность к злодейской конспирации. Тем отраднее будет установить вашу неповинность в покушении на подобное отцеубийство, смею так выразиться (Достоевский вздрогнул), тем отраднее, говорю я, что его величество в неизреченном милосердии своем предоставил вам возможность получить в свое время высшее и почетное образование, признал вас своим инженер-прапорщиком и выразил свою высочайшую надежду, что в сем чине вы так достойно и прилежно поступать будете, как то верному и доброму офицеру надлежит...

— Слабость здоровья и склонность к литературным занятиям побудили меня выйти в отставку.

— Это не было поставлено вам в вину, — с успокоительным и сочувственным вниманием, хотя и не без некоторого затаеннейшего налета укоризны, отвечал генерал. — Его величество никого не неволит. Когда же вашею первою повестью вы с таким блеском доказали свою способность служить пером отечеству, государь-император соизволил благосклонно отозваться о вашем сочинении. Его читали при дворе. Великая княгиня Елена Павловна, его высочество герцог Лейхтенбергский нашли всемилостивую возможность оценить вас. К вам отнеслись с вниманием и одобрительным сочувствием. (Глухая укоризна крепла и звучала все явственнее). Перед вами открывался, быть может, широкий и славный путь, по которому не гнушались шествовать Карамзин и в наши дни Жуковский...

— О, едва ли бы я мог стать придворным писателем.

— Почему же? Разве вам не дорога

наша великая Россия? Разве вы не хотите видеть ее мощной и грозной? Непобедимой и славной? Вы ведь русский писатель, а не иностранец, как эти полячишки, французики и немчики, которых согнал к себе господин Буташевич.

Он брезгливо покачивал в руке какой-то канцелярский листок.

— Чего только стоят эти имена: Монбелле, де-Буст, Балас-Оглы (даже турок затесался!), Ястржембский, ну конечно — *la resurrection de la Pologne*, так, кажется, требуют в Париже? Ольде-Коп, Эуропеус...

Он декламировал с недоуменным отвращением, не совсем правильно произнося эти иностранные имена, словно забыв о своей собственной заморской фамилии.

— Так вот они, спасители нашей святой Русч? Только иудеев недоставало... Впрочем один, кажется, удостоивал своим посещением — музыкантик Антон Рубинштейн, что ли? О, я знаю, что вся эта иностранщина вам глубоко чужда, что вы, слава создателю, не «эуропеус», а настоящий русский душою и сердцем...

— Судьбы моей родины мне были всегда дороже всего. Но, сознаюсь, я не закрывал глаз на темные стороны нашей жизни, на эту вечную подозрительность властей, на продажность наших судейских канцелярий, на удручающую нищету столицы, на приниженность и рабство нашего крестьянства. Неужели же мне, мыслящему человеку, надлежало молча принимать все это неустройство нашей жизни?

— Никким образом, — почти с предупредительной любезностью отозвался Дубельт. — Ведь для борьбы с тем злом, на которое вы указываете, и существует Третье отделение собственной его величества канцелярии.

Он вспорхнул и прикоснулся своей костлявой рукой к большому стеклянному колпаку. Под ним на легком постаменте повис шелковый фуляр, украшенный коронованным вензелем «Н» в одном из уголков.

— Под этой хрустальной шапкой — вся программа нашей деятельности. Этот платок передал наш премудрый и великодушнейший государь незабвенному графу Александру Христофоровичу

Бенкендорфу с золотыми словами: «Утирай им как можно больше слез — вот моя инструкция». И мы свято выполняем ее. Вступая в корпус жандармов, я дал клятву быть опорой бедных, защитой несчастных, поддержкой угнетенных, другом вдов и сирот, неутомимым борцом с судейскою неправдою... Видит бог, я выполняю мою присягу.

Он с видом умиления поднял к потолку свои круглые несытые глаза лесного хищника. Удержав несколько мгновений молитвенный взгляд на полногрудой нимфе плафона, он с кроткой покорностью перевел его на Достоевского.

— Верьте мне, вы пошли неправильным путем. Ибо сказано: «Никто не может служить двум господам». Разве ваше желание помогать бедным людям, нищим и угнетенным могло встретить поддержку в этих низких сборищах грубых, полуневежественных людей, неудачников и проходимцев всякого сорта, бессильных и беспомощных болтунов, лишенных всяких средств и влияния? Не изгоняйте бесов силою Вельзевула, князя бесовского! Только рука в руку с правительством, только в согласии с его широкими планами и неисчерпаемыми возможностями, резко отграничив себя от всех этих бессмысленных филантропов, вы могли бы по-настоящему выполнять долг человеколюбивого писателя, одновременно служа пером благожелательнейшим предначертаниям верховной власти.

— Я всегда полагал, что дело писателя — только указать на зло, изобразить его сильно и заразительно, дать его полное отражение, а действовать будут другие.

— Однако вы все же вошли в тайное общество с революционными целями, где изволили неоднократно выступать в качестве деятельного одного сочлена (глубочайшая укоризна начинала звучать отдаленной угрозой). Вас, кажется, особенно занимал так называемый крестьянский вопрос, эмансипация рабов, которые, кстати сказать, насколько не жалуются на отеческую опеку просвещенного дворянского сословия, возглавляемого священной особою его императорского величества.

— Я ни перед кем и никогда не скрив-

зал, что являюсь сторонником скорейшего освобождения крестьян от помещичьей власти. Мне слишком знакомы наши крепостные нравы — все эти засеченные, изнасилованные, заморенные голодом, жестокой барщиной, дикими помещичьими пороками. Я сам видел как разоряют крестьян страшными поборами, как торгуют на Руси невольниками, отдают дворовых в залог ростовщикам, секут и пугают людей без всякого повода, из одного зверского желания причинить страдания. Я знал одного помещика, который веревчатой плетью заставлял своих рабов плясать и кружиться до упаду, до полусмерти, наслаждаясь их обмороками и бессильем. Недавно только один почтенный барин хвастал предо мной, что он пользуется «невинностями» своих крестьянок, как в феодальную эпоху... А эти несчастные крестьянские дети, которых считают просто приплодом домашнего скота! А все эти забитые в рекруты, искалеченные на конюшнях, прикованные к стенке, проигранные в каоты, проданные с молотка без семьи... О, почему они так безгласны, бесправны и беспомощны? Ведь вся земля русская пролита насквозь слезами, потом и кровью этих беззащитных... Почему ж они так тихи, покорны, безмолвны, почему не стонут, не ропщут? Неужели же считают, что вправе с ними так поступать?..

Генерал внимательно слушал говорящего и пристально смотрел в его лицо своими непроницаемыми зелеными зрачками.

— Вы, стало быть, полагаете, что наш народ уже вполне созрел для самостоятельной жизни и свободной деятельности без указующего и направляющего надзора наиболее цивилизованного сословия страны?

Он медленно свел свои сухие и длинные пальцы и почти приложился к ним губами, пылливо глядя исподлобья на допрашиваемого.

— Я в этом совершенно уверен, генерал.

Дубельт встрепенулся.

— Не сообщите ли мне в таком случае, отчего скончался ваш почтеннейший батюшка?

Достоевский побледнел. Призрак старца с обнаженными чреслами, каза-

лось, повис между ним и генералом. У него захватило дыхание...

— Впрочем не трудитесь, отца вашего, сколько известно, убили его собственные крепостные. Странно, не скрою, видеть вас в числе сторонников этого темного простонародья, из недр коего вышли убийцы вашего достойшего родителя, слуги царя, коллежского советника и кавалера трех орденов.

— Но... может быть... все эти убийства крестьянами своих помещиков сильнее всего свидетельствуют о вреде самого института.

— Допустим. В вашем лице мы, стало быть, имеем убежденного защитника прав закрепощенного народа. Вы полагаете, что обуздание этой многомиллионной черни крепкою поместною властью лишено основания? Это, может быть, и благородно, но...

Перед ним лежала стопка бумаг, и он легко, небрежно и быстро, с поразительной безошибочностью извлекал из кипы нужный листок, бросал на него беглый взгляд и, роняя документ, задавал вопрос.

— Если не ошибаюсь, у покойных родителей ваших состояло имение, кажется, в Тульской губернии, с угодьями, отхожими пустошами, пахотной землей, что-то свыше трехсот десятин, не так ли? Ведь оно осталось в семье, и вы от своей части в общем владении нисколько не отказывались?

Он смотрел на Достоевского задорными, веселыми и наглыми глазами, словно втайне подсмеиваясь над ним.

— Сколько мне известно, — продолжал он, мерцая игривыми взглядами, — вы, вступив в совершеннолетие, не принимали каких-либо мер к освобождению ревизских душ, ни к облегчению барщины, ну хотя бы в виде воздействия на ваших почтенных родственников?

Он обворожительно улыбался. Длинные зубы его плотоядной челюсти весело поблескивали сквозь горделивые усы Мервингов.

— Понимаю, вы личным примером не желали колебать существующий порядок вещей, не правда ли? Весьма похвально: кесарево — кесарю...

Волк оцарапал своим клыком. Это был известный прием следственной беседы с Дубельтом: скрытая язвитель-

ность и еле замаскированное издевательство над допрашиваемым. Но тут же, с некоторой иронической театральностью, он как бы спохватился.

— Впрочем, кажется, господин Прудон, враг собственности и непримиримый противник капитала, начал с того, что основал народный банк и пытался воротить миллионами. Ведь, кажется, так? Вам это должно быть лучше известно...

Сарказм чуть-чуть затянулся. Дубельт впрочем уже изменял выражение лица, тему и тон речи.

— Нам известно, — продолжал он снова вполне серьезно, — что вы решительно разошлись с покойным литератором Белинским, которого мы считаем таким же государственным преступником, как и этого Буташевича-Петрашевского. Мы знаем, что вы довольно резко подвергали критике все эти фаланстерии и коммуны, отстаивая исконные русские начала общежития. Мы извещены также, что в компании этих гнусных безбожников вы сохранили верность церкви и не поддались на диаволово искушение. Последнее особенно важно для вас...

Он снова слегка встал и почти подбежал к большому образу с пунцовой лампадой в углу кабинета. Склонив голову и сведя руку на груди, над самой гроздью сверкающих крестов и медалей, он беззвучно зашевелил губами под своими свисающими галльскими усами. Потомок католических принцев Медина-Челли широко осенял себя истовым православным знамением.

— Друг мой, — обратился он наконец священническим тоном к Достоевскому, — друг мой, я помолился за вас. Да обратит вас всевышний, в которого вы веруете, на путь сознания своих ошибок и чистосердечной исповеди. «Сотворите же достойный плод покаяния», как говорится в писании. Стучите и отверзется вам. Дерзай, чадо. Простятся тебе грехи твои... Ведь сам я был молод и грешен, мне ли не понять вас?

(Достоевский вспомнил ходившие о Дубельте слухи, будто в молодости он был известным либералистом, пропагатором восстания, одним из застрельщиков движения в Южной армии и масоном запретных лож).

Шеф жандармского корпуса отечески смотрел на него погасшими зрачками.

— Если же дальнейший ход следствия и суда обнаружит, — чего впрочем я не хотел бы допустить, — с вашей стороны некоторую настойчивость, упорство, неуступчивость, гордость, самолюбие («мой, мол, убеждення»)! «служу истине и добродетели!» и прочие свойственные молодости, но в настоящих условиях совершенно недопустимые возражения), то я вынужден предупредить вас, что производство по делу, к которому вы, по несчастью, причастны, поручено его императорским величеством особой следственной и военно-судной комиссии, облеченной высшими полномочьями. О, русский царь достаточно силен, чтоб растоптать в крови измену.

Все это было сказано внушительно, даже с гневной вспышкой в зеленых зрачках, но как-то в виде вставки, отчасти даже между прочим, словно в нарушение главного предмета беседования. И словно в подтверждение тому Дубельт быстро изменил этот на мгновение зазвучавший угрозой тон.

— Порядок дальнейшего никто не может изменить, кроме государя, — прибавил он не без елейности. — Не забывайте: «уже секира при корне ствола лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Так, кажется, сказано в третьей главе от Матфея? Примите же смиренно свою участь: вам придется некоторое время пробыть в крепости. О, пусть это вас не пугает, генерал Набоков — отец родной всем заключенным. Со своей же стороны я отдам распоряжение, чтобы вам были предоставлены книги, бумага, возможность работать и переписываться с родными.

Он позвонил. В кабинете мгновенно появился щегольской поручик в сопровождении двух жандармов.

— Арестованного отправить немедленно к генералу Набокову под личную расписку, — сухо произнес Дубельт, вручая офицеру запечатанный пакет.

Он встал. Достоевский под конвоем направился к выходу. Дубельт быстро приблизился к дверям.

— А знаете ли, что я вам скажу на прощанье?

Он произывал уходящего своими пристальными и горящими глазами:

— Я никогда не ошибаюсь в лицах: рано или поздно, вы будете наш. Чем скорее это случится, тем лучше для вас. Но помните, это совершенно неизбежно: вы — наш, наш, наш!

Достоевскому стало как-то не по себе от этого неожиданного и настойчивого прорицания.

Карaulные уже распахнули двери кабинета. Генерал Дубельт позволил себе последнюю жандармскую любезность к уводимому писателю. Он изящно как-то взмахнул своей сухой и длинной рукою, не то прощаясь, не то благословляя, не то грозя.

— Обдумайте же все! До скорого свиданья в следственной комиссии.

Санкт-Петербург

— Сабли вон!

Франт-поручик любезным жестом приглашает следовать за ним между двух обнаженных лезвий. Снова узкая пещера коридора с глухой стеною. Галерея. Аванзал.

Снова торс и улыбка богини с обнаженными чреслами, прекрасной («каллипигос!..») Венус.

Снова карета. Щелкая, хлопает дверца. Рядом бравый поручик, напротив — жандармы. Броско тронули лошади, бодро несутся вдоль Марсова поля, словно спешат доставить министра в приемную Зимнего дворца. Но нет, промелькнула Миллионная («здесь жил недавно Бальзак»), пронеслась набережная, карета стучит по досчатым настилам Дворцового моста.

«Кажется, ладожский лед не прошел, а мосты уже снова наведены?»

Было холодно, как всегда в ледоход. Над рекою пустынно, темно, ветрено, гулко и звонко. Где-то немотствуют сфинксы. Тонут стогны в первозданном сумраке. По весеннему уставу фонари не зажигались. Сквозь синь пролетают кварталы. Прогрохотал под копытами Тучков мост. Пронесется бесконечные улицы Петербургской стороны. И по понтонному мосту карета подкатывает к высокой и гладкой ограде.

Санкт - Питер - Бурх.

Крепость святого Петра принимает его в свои стены.

Здесь карета замедляет аллюр. Сквозь окна видны земляные валы и каменные куртины. — «Система Вобана, столь ценная Шарпгорстом»...

Широкий пустой равелин замкнут тяжелыми глыбами остроконечных раскатов. Гулко проезжают под вторыми воротами темным тоннелем. Дорога вдоль низких домов с решетчатыми окнами выносит к внутренней площади. Справа устремляется в небо тонкой иглой и ниспадает волотами своей колокольни царский собор. Так стремительный взлет водомета низвергается в бассейн, ширясь по концентрическим дискам тарелок и тяжело роняя свои разбитые струи.

Карета останавливается. Офицер деловито и спешно выскакивает и скрывается в невзрачном грязно-белом доме. Через минуту он снова в карете с бумагой - пропуском. Экипаж несется вдоль желтого здания, где тяжело пылят и грохочут машины («монетный двор»!) подкатывает к глухому забору и сквозь раскрывшиеся бесшумно и быстро ворота въезжает в тесный и замкнутый двор.

Безнадежно высокие стены бастионов. Кордегардия. Деревянные длинные скамьи глаголем вдоль стен. В углу ряд составленных ружей.

— Переодеться!

Клетчатые брюки, фрак, пальто и цилиндр Циммермана — последние атрибуты свободной жизни — сняты, отобраны, унесены в занумерованном казенном мешке. Нужно надолго расстаться с нарядными изделиями Рено - Куртеса: рединготы на шелку, кашемировые жилеты, лондонские плащи дымчатого цвета — прощайте! Вместо них — бурый халат арестанта, суконные портянки, шапка из грубой сермяги, коты на гвоздях.

Равнодушно он слышит приказ:

— В секретный дом, камера номер девять.

Ночью узким простенком, под сильным караулом, через подъемный мостик над внутренним узким каналом его вводят в низкий старинный приземистый домик, со всех сторон сдавленный каменными глыбами крепости.

В середине коридора направо — каземат номер девять.

Тяжелая дубовая дверь с огромным средневековым замком, засовами, петлями, скрепами, вся истыканная крупными выпуклыми шляпками старинных железных гвоздей прошлого века, со скрипом раззевает пасть каземата и снова смыкается. Грохот засова по скобам и скрежет замка.

Он в Алексеевском равелине.

Стены крепостной толщины. Тройные решетки. Окна забелены. Там, за ними — высокие стены бастионов. Только прильнувши к стеклу, увидишь серый клочок петербургского неба. Иногда проплывает робкое облачко.

В одиночке всегда полусумрак. Тают в сырой полумгле табурет, железная койка, стол, умывальник и судно. Стены покрыты на сажень от пола чернозеленой мохнатой завесой плесени. Еле заметна узкая, длинная, темная щель, пропиленная в массиве тяжеловесной двери. Это глазок. Не поймешь — занавешен ли плотным заслоном или глядят на тебя неслышно и зорко два глаза — коменданта, смотрителя, караульного? Сыро, холодно, голо. Повсюду — тесный камень. Молчанье. Безлюдье.

Только недавно мечтал об Италии.

Аполлон Майков увлек рассказами о своем путешествии. В Рим, где, как Гоголь, он будет писать поэму. Верона — Ромео и Юлия... Венеция — дворцы, каналы и солнце. И вот — каземат, бряданье ружья, чадающая сальная свечка, тяжелый засов, железное ложе, параша.

Вот тебе Катарини, Лучии и Бьянки, догарессы и читадины! Впервые его поразила неожиданность и непредвиденность жизненных страданий. Они не входят в наш расчет, план будущего строится без включения в него возможных трагедий, неисчислимы несчастия и горести благоразумно исключаются. И вот, в процессе жизни, непрерывное нарушение этого ясного плана, построенного, казалось бы, четко и безошибочно, как сметы инженерного департамента: болезни, женщины, друзья, даже любимый труд, — отовсюду ползут на тебя эти непоправимые обиды, разбивающие волю и обесмысливающие дальнейшее существование.

Пустота одиночной камеры полна зву- чаний. Шаги часового, бряцанье ружья, звон ключей, щелканье замочной пружины, скрип тяжелых петель. Есть и шум: воркованье голубей в амбразуре окна, шуршанье тараканов у нагретой стены, подпольное царапанье и легкий писк мышей. Есть и человеческие звуки: из соседней камеры доносится унылое шарканье шагов, судорожный плач или истерический хохот, монотонный говор одиночника, болезненная зевота или безнадежный мотив отчаянной песни, иногда ужасающий вопль кошмара или бреда наяву. Сводчатый потолок пустынной комнаты гулко отдает каждый звук...

Что привело его от редакций, трактиров, бильярдных, салонов в этот темный подвал санкт-петербургской Бастилии?

Апрельские бунтари

— От нищеты и унижений, от грозных и остервенелых сил, втоптавших человечество в скорбь и муки современных городов, великие прорицатели лучшего будущего зовут вас к ликованию и всеобщей радости на всем земном шаре — от полюса до полюса. Из душных чердаков и промозглых подвалов они приведут к цветущим садам и солнечным побережьям, омываемым лазурными волнами, выносящими на золотой песок все драгоценности своих подводных жемчужниц. В преображенной вселенной новые люди будут упоены высшим счастьем — безболезненно и полного господства над своей планетой во всех источниках ее великих наслаждений. Кровавые и пасмурные пути истории завершатся радостным пришествием к земному раю, когда установится наконец для всего растоптанного и замученного человечества пора неомрачаемого блаженства среди цветущих материков, открытых дворцами, парками, золотыми колосьями тучных нив и лучезарными чертогами сияющих фаланстер...

Нагоревшая сальная свечка чадила, трещала и бросала прерывистый свет на убогую комнату с оборванной и ветхой мебелью, шаткими половицами и мутными, запотелыми оконцами. Там, за их стеклами, глухая осенняя ночь, завывая и плача, роняла свои дожди и туманы

на казармы, дворцы и доходные дома огромного, тяжеловесного, взрошенного стальными кольями города. Там где-то в прелой слякоти петербургской ночи горбились на паперти Г. Сенного спаса промокшие лохмотники, прятались в полосатые будки квартальные, неумоимо скакали во всех направлениях курьеры и монументально стыли на своих козлах и запятках гайдуки и форейторы. А меж мигающих фонарей Невского проспекта, с визгом и скрипом сотрясаемых порывами ветра, бродили с последней отчаянной надеждой опрятные, принаряженные, худощавые женщины с растерянными, жалкими улыбками и тревожными, несатыми взглядами.

В полутемной лачуге Петрашевского развертывались видения золотого века. Через долги, томительные и жестокие годы Достоевский неожиданно вспомнил этот ликующий миф петрашевцев среди своих заграничных скитаний, в пустынных музейных залах, перед полотнами Лувра и Цвингера. По картинным галереям Европы он следил за своим любимым художником, сумевшим запечатлеть в светящихся и воздушных красках величайшие легенды философов и поэтов о грядущем всеобщем счастье. Знакомство с этим старинным мастером было одним из счастливейших событий его жизни. С давних пор любил он бродить по Эрмитажу и копить в своей библиотеке каталоги картинной галереи. Он имел здесь своих любимцев и недругов. Быстро и словно опасаясь неследования, проходил он мимо дымных полотен Рембрандта: слишком много общего с его собственным творчеством — угрюмо, бескрасочно, мучительно, безнадежно. Старческие морщины, насупленные брови, тревожно и подозрительно блещущие глаза. Вот кто написал бы портрет Прохарчина! От всего этого темного и грешного, переполняющего душу черной меланхолией, его влекло в какой-то солнечный просвет, раздражающий тяжелые и плотные завесы истории. Он уверенно шел к этому мудрому и радостному изобразителю безгрешных снов человечества. Это был Клавдий Желэ, прозванный по своей родине лотарингцем и вошедший в списки картинных галерей под несложным и мелодическим именем Клода Лоррена. Бытопи-

сатель петербургской бедноты полюбил эти видения блаженного племени, солнечную память о младенчестве человечества и материнском лоне Европы. Он мог часами вглядываться в эти древние долины с разостланным шелком недвижимого потока, где мох оврага, кружево рош, руно овец и волнистое оперенье облаков создавали ощущение глубокого и сладостного мира. Его восхищали эти просторные, праздничные гавани, схватывающие море мраморными колонадами и фигурными перилами широких дворцовых лестниц. В черных туманах финского болота его чаровали эти перламутровые переливы волн и золотые отсветы полуденного неба в легкой перистой зыби сверкающих водных громад Средиземья.

В музеях Европы он с тревогой искал очертания этих дворцовых архитектур, приосененных тончайшею листвою и словно пронизанных насквозь косыми лучами тяжеловесного солнца, медлительно ниспадающего к горизонту. И когда он всматривался в эти высокие широкогрудые корабли с вычурными грифонами и позлащенными парусами, подплывающие к хижинам безмятежных обитателей какого-то неведомого острова или к башням сказочного города, он ощущал врачующее спокойствие, сменяющее беспрепятственную тоску и раздражение. Старинный художник, казалось, наполнял до краев легенду о человеческом счастье своими видениями достигнутого и окончательного блаженства. Особая раса людей, приобщенная к любви, но не ожесточившаяся в сладострастии, сквозь прозрачный воздух утренних зорь или ранних сумерек, казалось, заполняла весь мир своей неистощимой лаской. Какой-то фантастический архитектор, полный юности и словно овеянный вечной весною, разбрасывал свои холмы и роши над ясною гладью серебрящихся вод. Даже руины античного портика с надтреснутыми карнизами казались только премудрым знаком истекающего времени, словно повышающим своим безмолвным напоминанием блаженство быстротечного мгновения. Эти сады с их сложными архитектурными пейзажами как бы являли цветение самих вещей, преображенных незримым и безболезненным трудом, уже ставшим

сплошной радостью для возрожденного и мудрого человечества.

— Тяжелая, безобразная, грязная, отталкивающая работа нашей эпохи, — звучало в низкой и полутемной комнате Петрашевского, — уступит место радостному труду с песнями и плясками, когда изнуренные рабочие артели современной индустрии превратятся в крылатые хорорыводы безмятежных и радостных художников.

Он думал о видениях старинного лотарингца.

— В будущем обществе труд станет таким же привлекательным, как наши пиришествия и наши зрелища. Все, даже юные женщины, будут с жаром предаваться с раннего утра уходу за садами и работе на фабриках, один вид которых внушает в наши дни такое глубокое отращение...

То, что должно было наступить, казалось, уже происходило когда-то. Об этом запомнил и поведал нам Клод Лоррен. Эти безмятежные люди среди тонкорунных стад и зарослей бархатистого пастбища, на узорном ковре крупной, упругой и влажной листвы, в тени полуразрушенного капища, воздушно возносящего в золотое небо свои колонны и карнизы, — да разве эта древняя идиллия не возвещала будущего разумного человеческого строя среди икарйских садов и солнечных дворцов фаланстеры? И разве не весенним празднеством жизни веяло от этих стройных заводей, где Улисс, овеянный ветрами всех морей, возвращал отцу юную Хризиду, или легендарная девственница Клеопатра сходила в червонных отсветах заката с кораблей, горящих и блещущих, как александрийские чертоги?

Сменялись ораторы. Бледные мечтатели уступали место косматому ученому. Петрашевский говорил о будущем перерождении земного шара.

— Новые виды домашних животных — антильвы и антикиты — будут служить хозяйственным целям человечества, как слоны и жирафы африканцам. У людей появятся новые органы, в роде глаз на затылке. Изменится течение светил и преобразится карта вселенной. Морское побережье Сибири, ныне необитаемое, будет смягчено климатом Прованса или Ниццы!

— Смотри как бы тебя не отправили смягчать сибирский климат на месте, — с добродушным хохотом прервал его высокорослый слушатель с выраженным польским акцентом.

Но это не смутило оратора. Он улыбнулся и продолжал свою речь:

— ...Соленые воды морей превратятся в потоки прохладительных напитков, горькие воды океанов — в играющую влагу целебных источников...

Достоевский переставал следить за нитью изложения. Он вспоминал морские ландшафты великого живописца. Он уже тогда знал эти мерцающие марины, словно предвещавшие ему великое полотно Дрезденской галереи, недавно лишь поразившее его. Огромное светлое море широко захватывало легкокрылою игрою своих порхающих переплесков почти всю картину и бескрайно расстилалось в закатных сверканьях своей свежей, золотящейся, тяжелой воды до самых облаков догорающего небосвода. Скалы поднимались отвесными громадами, окружая своим прочным оплотом узкую полосу побережья, где две обнявшиеся человеческие фигуры, казалось, растворялись в текущем золоте заката, в этом мягком воздухе южного моря, в легких, тающих, бестелесных облаках. И хотелось этим видением прорвать мрачную духоту современной истории, этими лучами прорезать непроницаемую мглу скопляющихся преступлений и, может быть, на мгновение озарить отталкивающую исповедь великого грешника этим миражем первобытного блаженства.

Так через всю жизнь сопровождал его своим видением счастливого человечества смиренномудрый и солнечный Клод Лоррен. Но и тогда, у Покрова в Коломне, в этом «политическом клубе», как его называли впоследствии, с президентом, ораторами, оппозицией и прениями, он с радостью питал свои думы такими же мерцающими утопиями. Они заражали и возносили его.

«Искупить свое греховное и темное прошлое приобщением к подвигу, высоким и жертвенным служением человечеству. Всеми силами способствовать наступлению золотого века, вступить в героическую фалангу его строителей, принести свой кирпичик на постройку ве-

ликого здания мирового согласия. Да, принять революцию и служить ей, со всеми ее опасностями, опьяняясь бесстрашностью собственного подвига перед лицом грозящей гибели...»

И он жадно вникал в пестрые прения об агрикультуре и промышленности, о химическом удобрении полей и удешевлении паровозоведения, о гончарных заводах, бумажных фабриках и овечьей шерсти.

Обо всем этом спорили на пятницах. Петрашевский знал чрезвычайно много и мог вести оживленнейшую беседу на любые темы. Он считал, что преобразователь общества должен быть энциклопедистом и, как Пико де ла Мирандола, принимать вызов на споры *de omni re scibili*. И он действительно умел высказываться по всем вопросам истории и экономики, технологии и врачебного дела. Ему приходилось говорить на своих вечерах о соединении освещения с отоплением, о переоборудовании типографий, о переустройстве фарфоровых и фаянсовых заводов, о прядении льна машинами, об обучении дьяконов и священников медицине, об интригах биржи и безденежных спектаклях, о сельском хозяйстве и крестьянских песнях, о европейских модах и хозяйственных потребностях азиатских народностей. Лучшее всего он излагал закон механики страстей, призванный разоблачить все нелепости цивилизации и создать через «промышленное влечение» новый индустриальный мир.

Как-то поздно ночью, когда все расходились, Петрашевский удержал за рукав Достоевского: «Мне нужно поговорить с вами».

Они остались вдвоем в полутемной низенькой комнате при тусклой мигающей свечильне.

— Вы жалете бедных людей и хотели бы помочь им. Но что такое бедность? Но какая помощь возможна в наших условиях? Думали ли вы об этом?

— Но в этом именно цель моего творчества...

— И все же вы еще недостаточно обнаружили ее.

— Между тем я обошел все нищие кварталы Петербурга. Я видел всех отверженцев большого города — унижен-

ных чиновников, голодающих студентов, обитателей углов, промышляющих девиц...

— Это еще не самая страшная беднота. Департаментский писец, у которого осыпаются пуговицы, старик, продающий книги для погребения сына, — это еще не настоящая нищета...

— Где же искать ее?

— А вот недавно в Лондоне министр коммерции в камере общин сообщил, что шелковые фабрики королевства держат на работе десятки тысяч детей — и это с трех часов утра до десяти вечера! Им платят шиллинг в неделю, т. е. около гривенника в день за девятнадцатичасовую работу под наблюдением надсмотрщиков, вооруженных кнутами, которыми они ударяют каждого ребенка за малейшую остановку в работе... Впрочем английские шелка превосходны.

Петрашевский взгляделся в собеседника своими огромными, глубокими и темными глазами, напоминавшими временами своей грустью и горечью взгляд древнего израильтянина.

— И знаете: так везде. Население самых цивилизованных стран так же несчастно, как дикие племена Индостана и Китая. Французские рабочие так бедны, что в провинциях высокой индустрии, примерно в Пикардии, крестьяне в своих землянках не имеют даже постели. Они устраивают себе подстилку из сухих листьев, которые превращаются за зиму в навоз, переполненный червями. Просыпаясь, родители и дети срывают с обнаженных тел огромных сырых червяков. Такая бедность вам незнакома?

Достоевский молчал. Перед ним в странной беседе раскрывался уголок нового мира, о котором он только смутно догадывался. Это был мир особых отношений, тесно сплетающихся в один смертоносный узел современную политику и экономику. Об этом иногда мелькали цифры в научном отделе журналов, но он не вникал в них. Ему нужно было исчерпать тему петербургской бедноты, еще только затронутую в его первых повестях. Он не решался обращаться к мировым вопросам голода и нищеты, к миллионным цифрам, к печальнейшим трудностям современной цивилизации. Его писательский голод еще насыщали

Варенька Доброселова и господин Прохарчин...

И, словно следя за его мыслями, оратор продолжал:

— Европа задыхается от нужды... В одном Лондоне триста тысяч нищих. Англия и Ирландия с их колоссальной промышленностью — только огромные нагромождения нищеты.

Петрашевского охватывал дух пропаганды. Он быстро двигался по комнате, вздевая руки и встряхивая гривую. Казалось, мысль его, стремительно нарастая, колыкала его приземистую фигуру. Под напором его размышлений не переставали ускоряться его жесты, шаг, самый темп его речи. Все в нем было охвачено вихревым движением. Буйно и энергично шевелились пальцы, мускулы лица, брови, корпус. Нарастала речь, походка ускорялась, мысли набегали сокрушительным прибоем, сыпались каскадом слов, он почти бежал вдоль стен, словно одержимый манией красноречия.

— Знаете ли вы, что вся современная цивилизация держится на принципе: чтобы обеспечить благосостояние богатых, необходимо организовать нужду бедняков? Вникните в эти слова, поймите, что нищету устраивают намеренно, вызывают, искусственно создают, как одно из условий аристократической роскоши. Эти плачевные условия жизни имеют следствием моральный упадок — мрачную покорность, с которой начинаются отупение и духовная смерть. Вот задачи для современного писателя.

— Но разве роман может вместить все эти темы?

— Превжний роман не мог. Создайте же новую форму. Будьте нововодителем, дерзайте! Нечего кадить предрассудками! Разве путешественники, доставившие нам из Америки хину, табак, картофель, какао, ваниль, индиго, не послужили нам лучше, чем если бы они вывезли давно известные товары?

— Вы словно забываете, Петрашевский, что я первый написал в России роман о бедных...

— Инстинкт подсказал вам верную тему. Но вы не указываете ни одного способа к исцелению этой болезни.

— Кто знает их? Кто может указать исход из этих бедствий?

— Был один человек, действительно понявший эту ужасающую нищету наших городов. Полстолетия назад по старому Лиону, раздираемому волнениями, болезнями, восстаниями, спорами мартинистов и иллюминатов, бреднями Калиостро, а главное потрясающей нищетой рабочих кварталов, бродил один молчаливый и сочувственный наблюдатель с острой мыслью и непоколебимой воле социального хирурга.

Достоевский жадно вслушивался.

— Он все изучил, все понял, все продумал и создал свою систему. Великое сердце подсказало ему метод лечения. Он нашел способ учетверить сразу продукцию мировой индустрии, убедить всех человековладельцев в необходимости освободить негров и рабов; безотлагательно цивилизовать всех диких; мгновенно установить единство в языке, мерах, монетах и типографии. Он создал учение, которое спасет и обновит человечество и откроет новую эпоху всемирной истории — эру всеобщей радости, безграничного счастья, высоких наслаждений в самом труде. Он сумеет создать на земле уже не мифический, а подлинный золотой век.

И, резко обернувшись, он поднял руку к большой парижской гравюре. Из черного квадрата рамы, спокойно сложив руки на трости и пронизывая зрителя огненным взглядом, прямо смотрел перед собой мыслитель-фанатик с крепко сжатыми губами и ярко светящимся лбом. Человек-сила, человек-воля, человек-мысль, казалось, все испепелял своими светлыми глазами магнетизера, весь напряжение, энергия и решимость. Но при этом сквозь пристальный огонь зрачков, сквозь властное напряжение лицевых мускулов чувствовалось в исхудалых щеках, в складках у рта, в глубоко впалых висках страдание непризнанного искателя, непоколебимого в своем учении, в своих открытиях, в своей вере. Великое спокойствие высшего знания, казалось, господствовало над выражением глубокой боли от драматизма личной судьбы, безотрадность которой преодолевалась торжествующая над всем и все озаряющая мысль великого новатора.

— Будущая судьба человеческого рода — либо беспредельное счастье в социетарном строе, предуказанном великим Шарлем Фурье, либо безграничные страдания в состоянии разобщенного и ложного производства. Оно уже привело к тому, что семь восьмых современного человечества захвачены небольшою горстью тунеядцев, которая живет на его счет и его трудами...

— Вы указываете мне целый путь. И все же я не вижу конечной цели. В чем она? Скажите мне, и я, может быть, пойду за вами...

— Извольте: в ассоциации.

— Но что понимать под этим термином?

— Искусство применять к индустрии все страсти, все характеры, все инстинкты и вкусы...

— Но к чему же это приведет нас?

— К новому социальному миру, который не станет звать к нищете, как это делало две тысячи лет христианство, а навсегда отменит страдание и бедность во всем человечестве.

Суд

Гладко выбеленный зал. На возвышении узкий стол под красным казенным покрывалом с тяжкой золотой бахромою. Из кровавой глади сукна вырастает трехгранное зеркало с указами Петра под крыльями двуглавого орла. Рядом огромный бронзовый крест с распластанной по его брускам точеной фигуркой из слоновой кости. У самого подножия этого резного изображения древней казни тяжелые томы военнополовых постановлений с их неумолимыми санкциями расстреливания и повешения. А длинные слоновые клыки, превращенные токарем в пригвожденные бескровные руки, распростерты на темном полотне парадного портрета, с высоты которого леденит зрителя своим мертвенным взглядом неестественно высокий конногвардеец с ногами Аполлона, мнувший небрежно перчатку и крепко сжимающий фетр, с белоснежным султаном.

Под самыми звездами высочайших шпор хмурятся пять старческих лиц в бакенбардах, усах и тупеях.

Волчья морда Дубельта. Тяжелый череп коменданта Набокова. Лунный лик седовласого старца с бритой губою и птичьими глазами, во фраке с белой звездой — сенатор Гагарин. И еще морщины, зачесы и жирные складки холчатых щек и двойных подбородков: тучный Ростовцев с широким бабьим лицом, сухой Долгоруков с металлически-жестким взглядом. Повсюду лазурь и зелень мундиров, серебро шнуров и золото орденских знаков. Секретная следственная комиссия в полном составе.

Они сидели молча, лейтенанты, адъютанты и тайные советники его величества, спокойные, замкнутые, непрístupные, упоенные дарованными им свыше полномочиями, гордые своими рабочими доблестями, даровавшими им под старость право проливать потоками молодую кровь и строить свое блистательное благополучие на бестрепетности смертных приговоров, скрепленных их узорными, нарядными и по-царски размашистыми подписями.

Из-под красного покрывала судейского стола, с высоты своей плахи, любопытно и жадно устремлялись пронзительные взгляды на щуплого, хилого, нервного молодого литератора, застывшего перед ними с тревожно бьющимся сердцем и широко раскрытыми глазами.

Перед верховными сыщиками, взъерошенными золотом и закованными в сукожные латы гвардейских мундиров, сутулый и бледный стоял величайший мечтатель о золотом веке и всеобщем счастье.

С высоты эстрады к нему слетают чужие, холодные, внятные слова. Говорит председатель комиссии старый Набоков. Руина в почетной отставке. Участник Бородин, Лейпцига и штурма Варшавы, он недавно лишь оставил командование гренадерским корпусом и получил обидно почетные звания директора Чесменской богадельни и коменданта Санкт-Петербургской крепости. Начальник над ветеранами и замурованными в казематы. Но он еще грозно хмурит брови и ревностно стремится выказать себя достойным выразителем высочайшего гнева.

— Отставной инженер-поручик Достоевский первый! Вы обвиняетесь в преступной принадлежности к тайному об-

ществу, приступившему к осуществлению своих злонамеренных планов, направленных против православной церкви и верховной власти. Извольте доложить секретной следственной комиссии все, что вам известно об этом деле. Подойдите ближе к столу.

Достоевский делает робкий шаг. Он говорит взволнованно и долго. Робкая и сбивчивая вначале речь его понемногу выравнивается, крепнет и разгорается. Снова вспыхивает перед ним мучительный вопрос: почему не все счастливы? Живо возникают в памяти ослепительные реплики диспутов и вдохновенные страницы утопических книг. Ему кажется, что великие мятежники и прорицатели осеняют его своей светонной мудростью. Он говорит о великой драме, разыгрывающейся на Западе, от которой ноет и ломится надвое несчастная Франция. Об учении Шарля Фурье, не приложимом к русским условиям, но чарующем душу изящностью, стройностью, любовью к человечеству; о социализме, который принес уже людям много научной пользы критической разработкой и статистическим отделом своим. О великих утопиях, перерождающихся через поколение в исторические факты; о грядущем всемирном братстве, призванном возратить на нашу несчастную планету блаженные времена золотого века.

— ...И тогда все, что нас окружает сегодня, все эти растоптанные жизнью, все эти тощие женщины с изглодавшимися детьми, запойные пьяницы, вымирающие селения, ужасающая нищета и болезни городов, — все это потонет в едином ликующем гимне неведомого, всемирного, необъятного счастья!

Его слушают внимательно и не перебивают. Но лишь только он кончил, верховные следователи приходят в движение, перебрасываются полуфразами, условливаются о дальнейшем порядке заседания.

Слово предоставляется генералу Долгорукову. Это — товарищ военного министра, знаменитый усмиритель бунта в новгородских военных поселениях, оказавший беспримерное мужество в делах против польских мятежников. Он вытягивает вперед свое сухое лицо с холод-

ными бесцветными глазами. Тонкий сгорбленный нос над щеткой коротких усов словно чует добычу. Блики света играют на впалых висках у жидких зачесов. Широкие лапчатые эполеты слегка приподнимаются. В осанке, взгляде и жестах командирская властность.

Он задает вопросы отрывисто и кратко.

— В каком чине состояли на службе?

— Полевым инженер-подпоручиком.

— Как уволены в отставку?

— По домашним обстоятельствам.

Быстро сыплются беглые вопросы: «Состояли во фронте»? «Участвовали в высочайших смотрах и парадах»? «Бывали в походах»? «Как несли службу в военно-инженерном корпусе?»

Затем он раскрывает тонкую тетрадь и почти с брезгливостью листает ее.

— Известно ли вам подобное рассуждение? (он читает с гримасой отвращения): «Обидно, ребяташки! Видно, мы нужны, пока есть силы, а там, как браковку, в овраг собакам на с'еденье. Служил я честно, а вот теперь руку протягиваешь под углом. А сколько нас таких? За все солдатство обидно. Царь строит себе дворцы, да золотит блюдай да немцев... Известно, солдатам-то ведь и шей хороших не дадут, а сами, смотри, на каких рысаках раз'езжают! Ах, они, мерзавцы! ну да погоди еще! первые будут последними, а последние первыми. Вот французы, небось, у себя так и устроили, да и другие тоже. Только у нас да у поганых австрияк иначе» (Он брезгливо отбрасывает рукопись). Вам эта мерзость знакома?

— Сам я этой рукописи никогда не читал.

— Но на обеде у подсудимого Спешнева в апреле сего года, где поручик Григорьев читал возмутительное сочинение под нелепым заглавием «Солдатская беседа», вы присутствовали и ничем своего возмущения не выказали.

— Но статья не обсуждалась и высказаться поэтому было затруднительно.

— Это вы, воспитанник военной школы, бывший офицер его величества, изволите так судить! Стыдитесь!

В речи Долгорукова зазвучал окрик свирепеющего фронтовика. Но, сообра-

жив, что он не в строю, а перед судейским столом, он сдержался и даже произнес — впрочем не без начальнической надменности — маленькую речь.

— Вам известно, что железный порядок и строгая дисциплина в российской армии основаны на продуманной системе строгих взысканий. Кнут, шпицрутены, кошки установлены еще великим преобразователем России и удержаны до сих пор в карательной практике наших войск. Допустимо ли с возмущением и подстрекательством рассказывать в обществе, где имеются также и военные, о том, как понес наказание нижний чин, осужденный к шести тысячам ударов шпицрутенами? Или об этом, может быть, не было речи на ваших собраниях, господин отставной подпоручик?

Последнее обращение прозвучало ядовито и злобно. Достоевский встретился.

— Речь была. Я говорил о возмущении в Финляндском полку. О зверском обращении одного из ротных командиров с солдатами. О мужественном поступке фельдфебеля, который с тесаком накинулся на капитана, чтоб отомстить ему за замученных товарищей. О том, как его приговорили шесть раз прогнать сквозь тысячу человек, пока его труп не выволокли за гласис экзекуционного плаца. Да, ваши сведения точны. Я все это говорил на собрании.

— А когда вы закончили речь, один из слушателей ваших не заметил ли, что вам следует выйти на площадь с красным знаменем?

— Я говорю о своих выступлениях, о других же, полагаю, показывать не обязан...

— Вы заблуждаетесь. Вам очевидно незнаком порядок судопроизводства.

Он обратился к Гагарину.

Старец с бритой губой и во фраке с белой звездой протянул свою черную руку к подножию распятия и извлек из груды кодексов тяжеловесный том.

— Согласно первому пункту 137-й статьи Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, — читал вкрадчивым голосом тайный советник, — буде преступник учинит полное чистосердечное признание и сверх того доставлением

верных в свое время сведений предупредит исполнение другого злого умысла, то наказание за преступление может не только быть уменьшено в мере, но даже смягчено в степени и в самом роде одного.

— У меня нет никаких сведений для предупреждения злоумышленных действий, о себе же лично мне нечего скрывать.

— Я вынужден все же поставить вас в известность, — продолжал также приветливо Гагарин, — что следственная комиссия, в случае особого упорства опрашиваемого, для доведения его к сознанию получает возможность с высочайшего разрешения налагать на него оковы.

Гагарин пронизывал его взглядом пытливых и хитрых глаз, умильно сжимаемая при этом свои тонкие бритые губы. Голова слегка склонилась набок, как это бывает во время исповеди у католических патеров, смиренно внемлющих голосу кающегося грешника. Старый сенатор, по традициям рода Гагариных, был выучеником иезуитов. В отправление высшей юстиции вносил он заветы славного братства Игнатия Лойолы.

— Вы забыли, что государство, это — своего рода общество Иисусово, где младшие беспрекословно подчиняются старшим, как в армии, — произнес он тоном проповеди. — Подданный есть посох в руках начальствующего. Не избегайте же, чистосердечного признания, предусмотренного законом. Исповедуйтесь, кайтесь — велико таинство покаяния!

И сановный юрист смиренно воздел свои птичьи глаза к точеной фигуре, привинченной к бронзе распятия. Он словно застыл в умиленном своем созерцании.

В это время слово взял тучный генерал с узенькими раскосыми глазками.

— Мне жаль вас, Достоевский, — внезапно воскликнул он тоном трагика Каратыгина, — мне жаль вас!

Он словно собирался произнести торжественный и страстный монолог, но тут же отчаянно скривил рот, дико прищурил левый глаз и запнулся от сильнейшего приступа заикания. Судьи терпеливо и участливо ждали окончания дли-

тельной речевой судороги тучного генерала. Это был любимец Николая, главноначальствующий над военно-учебными заведениями, генерал-адъютант Иаков Ростовцев, вынужденный в свое время оставить строй из-за недостатка речи и вступить на поприще военного просвещения.

Он медленно отирал фуляром чрезмерное истечение слюны. Широкое лоснящееся лицо расплывалось и, кажется, готово было пролиться густо и медленно, как опара, если бы не прямые и жесткие линии прически и воинского облачения, словно сдерживающие в своих строгих контурах эту тяжелую и дряблую человеческую маску. Жирный опыв под подбородком упирался в узорный золотящийся воротник, плотно облегавший короткую аполлексическую шею этого лощеного Фальстафа в свитском мундире. Узенькие глазки порывы мелькали и вспыхивали под жидкими бровями, а напомаженный хохол был замахватски взбит петушиным гребнем, как у знаменитых полководцев восьмисот двенадцатого года. Тяжелые щеки, обвисая, создавали впечатление несменяемой хитрой усмешки под холёными шелковистыми усами, искусно переходящими в короткие бакенбарды, по царски подбритые в ниточку. Горделиво приподнимались плечи крылышками витых эполет с коронованными вензелями, а пухлая белая рука, написавшая четверть века назад знаменитый донос на декабристов, горела из-под червонного обшлага крупными алмазами высочайше пожалованных перстней.

— Мне жаль вас, э-э-Достоевский, — произнес он, страшно заикаясь, но придавая при этом своему голосу дрожание слез и выражение умиленного сочувствия, — ведь вы поэт, писатель, как дошли вы до такого падения? Ведь я друг писателей, ведь Булгарин и Кукольник — мои лучшие друзья!

Внезапная спазма снова прервала оратора. Но, не смущаясь и терпеливо выдержав паузу, он продолжал свой монолог:

— И вот, друг поэтов и трагиков, я должен допрашивать вас, известного литератора, об ужаснейшем преступлении: вы осмелились позабыть, что власть царя — орудие самого провидения!

Лицо его сжалось в слезливой гримасе. Он словно готов был здесь же на месте оплакать своего погибающего друга.

(Гораздо позже в своих скитаниях по заграничным читальням и библиотекам, в поисках запретных страниц Герцена о царской России, Достоевский узнал всю правду об этом сановном зайке. «Полярная звезда» и «Колокол» поведали ему, что этот доносчик-энтузиаст был близок в 1825 году к Рылееву, Глинке, Оболенскому, принимал участие в их политических спорах, читал им свою трагедию (об «идеале чистой любви к отечеству»), а когда сам был привлечен к участию в тайном обществе, спешно явился 12 декабря в Зимний дворец и сообщил Николаю: «Противу вас таится возмущение, оно вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России». При этом доносчик обливался слезами, и на груди его плакал сам претендент на российский престол. Четырнадцатого декабря предатель деятельно участвовал в подавлении восстания. Во время следствия метался, каялся и клялся в непоколебимой верности престолу. Вскоре выпросил себе адъютантство при великом князе. Ему не мешали всходить на высшие ступени царской службы, но при случае напоминали о грехах молодости. Его участие в следствии по делу Петрашевского было одним из таких отдаленных напоминаний: а ну-ка искупи лишний раз свою близость к Рылееву,—ты ведь не без личного опыта в делах о государственных заговорах?..)

Между тем Ростовцев, продолжая заикаться, раздирать рот и подергивать глазом, вел свой чувствительный допрос:

— Знали ли вы литератора Белинского?

— Знал, но в последние годы я мало общался с ним.

— Извольте изложить комиссии о причинах вашего расхождения.

— Оно было вызвано различием наших воззрений на задачи искусства. Белинского необыкновенно волновали мои утверждения, что художник, преследуя цели стройности и завершенности своих созданий, служит по-своему человечеству, улучшая и возвышая его и тем вы-

полняя свое призвание перед современниками и будущими поколениями. Он с большой страстностью возражал мне, что отвлеченная, в себе самой замкнутая красота не нужна голодному, нищему, трудящемуся человечеству. Помнится, я возражал ему, что искусство, как воздух и солнце, нужно всем и всегда именно потому, что оно вернее всех прочих средств способно объединить всех людей высшею творческою радостью. Я рассчитывал, что этим шиллеровским аргументом смогу воздействовать на художественную сторону его природы, задеть ту поэтическую струну, которая никогда не переставала звучать в его сердце. Но в этом я ошибся. Он только горько упрекнул меня в недостойном писателя равнодушии к самым жгучим болям современного человечества, я же обвинил его в желчности мышления, — и мы разошлись навсегда.

— Но если вы разошлись навсегда, то чем объяснить, что совсем недавно (он заглянул в бумагу) — пятнадцатого апреля текущего 1849 года — вы изволили читать перед многолюдным собранием у титулярного советника Бугашевича-Петрашевского обстоятельнейшее послание литератора Белинского к известному сочинителю Гоголю?

— Я считал, что письмо это — замечательный литературный памятник, не лишенный даже художественных достоинств.

— Так что единственно из соображений словесных красот вы прочли, а затем передали некоторым лицам для списывания документ (он продолжал просматривать бумагу), в котором говорится о «гносном русском духовенстве», о наличии на Руси огромной корпорации разных служебных воров и грабителей, о российской церкви, как поборнице неравенства, льстеце власти, враге и гонительнице братства между людьми? Вчитанном вами письме рекомендуется даже созерцать самодержавие из прекрасного далека, ибо вблизи оно якобы вовсе не так прекрасно и не так безопасно. Все это было прочитано вами из соображения литературных достоинств?

Нервный тик странно дернул лицо Ростовцева. Казалось, он иронически сжал веки левого глаза, словно для

прицела, и лукаво качнул головой. Что это было? Болезнь лицевого нерва, мышечное сокращение щеки от внезапной задержки речи, или... быть может, касмешка?

— Я далеко не разделяю всех идей этой статьи.

— Стало быть, иные все же разделяете (он повернулся к Набокову). Полагаю по этому пункту вопрос достаточно выясненным.

В это время в беседу вступил Дубельт. Он легко приподнялся, быстро расправил сухой рукою свои галльские усы и не без грации, словно кидаясь в мазурку, ринулся в свой допрос.

— Раз вы изволили вступить на путь признаний, весьма для вас важный и спасительный (в тоне чувствовался налет кавалерственного расшаркивания), то не расскажете ли нам (здесь он начал странно растягивать слова и медлительно волочить фразу) о составленном плане в ночь на 21 апреля в публичном маскараде, в зале дворянского собрания...

Он остановился, как бы что-то соображая или припоминая. Затем вдруг резко оборвал фразу:

— ...Закролоть кинжалами царя?

Достоевский не дрогнул.

— В планах царубийства не участвовал.

— Но в сообществе ваших приятелей вам, вероятно не раз приходилось слышать о желательности совершенно изъять виновников зла, так сказать, уничтожить, ну, скажем, конечно примерно, — да и мысль пренелепейшая по своей неосуществимости, — царя, наследника, царскую фамилию?

Он нагнулся вперед над столом, и глаза его жадно впились в лицо Достоевского.

— Я к этому никогда не призывал.

— А кто же?

Зеленые фосфорящиеся зрачки под седеющими бровями продолжали сверлить его (на какой-то гравюре так изображен Люцифер)... Он стоял и смотрел, как замороженный. Мысли пронеслись вихрем: «У Спешнева был разговор... Кто же мог донести?.. Ведь свои, вернейшие люди... явно фраза тогдашней беседы... «Устранить царя и фамилию...» Именно так и сказал он»...

Дубельт вынул из папки и протянул ему лист. Это оказался план Петербурга с нанесением казарменного расположения гвардейских частей. Революционная карта столицы отметила тушью места, предназначенные для баррикад, — на Дворцовой площади, на набережных, у мостов, на Невском.

— Я не составлял этого плана.

— Но как военный инженер, вы, конечно, знали о нем. Ведь вы — топограф инженерного департамента, могли ли без вас решать такие вопросы?

— К восстанию и уличным боям не готовился.

— Будучи из первейших членов этого общества, вы должны были знать о плане умерщвления императора партией заговорщиков в масках. Принимали ли вы также участие в составлении лотерейных билетов, на которых написаны были призывы к восстанию и царубийству?

— Нет, не принимал. И вообще полагаю, что слух этот ложен.

— Но исповедывать систему Фурье и не стремиться к ее распространению едва ли логично. В революционных союзах обычно создаются тайные типографии для пропаганды новых идей. В нашем кружке, сколько известно, существовали такие же планы...

Этого вопроса Достоевский боялся пуще всего. В этом, с точки зрения власти, было конечно его самое сильное преступление. Организация тайной типографии для распространения антиправительственной пропаганды — это уже был не заговор идей. Не разговоры, не чтение стихов. Это был революционный факт, весьма заметный и крупный. Сознаваться в нем было совершенно немислимо. Помимо личной опасности, он вовлекал в свое заявление ряд других лиц, в первую голову Спешнева.

— Вы напрасно так молчаливы в этом пункте. В нашем распоряжении рисунок типографского ручного станка, вам конечно хорошо известный.. У нескольких ремесленников отобрали сведения о производстве ими на заказ отдельных частей. Если вы нам сообщите, где он был собран и у кого хранился, это может сильно смягчить вашу участь.

Генерал назидательно и не без грации приподнял свою сухую и узкую ру-

ку. Допрос, казалось, достиг предельного напряжения.

И вот снова, нарушая безнадежную паузу, заговорил председатель:

— Итак, — провозгласил своим сиплым голосом Набоков, — вы упорно отказываетесь признать свое участие в заговоре на восстание и цареубийство?

— В прениях о фурьеризме, о крепостном состоянии и воинских наказаниях участвовал. Письмо Белинского к Гоголю читал на собраниях. Солдатскую беседу слушал. В грядущее пришествие всеобщего счастья верил и не перестаю верить. Но в заговоре на восстание и цареубийство — неповинен.

— Вы даете возможность уличить вас во лжи. Читайте.

Он протянул к нему листок.

«Когда Распорядительный комитет тайного общества, сообразив силы, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, предварительно вооружившись огнестрельным или холодным оружием».

— Я никогда не подписывал подобной бумаги.

— Почерк знаком вам?

— Затрудняюсь сказать...

— А если мы назовем вам имя Николая Спешнева?

— Боюсь ошибиться. Возможно однако, что это его рука.

— И даже совершенно несомнительно для вас. Ибо вы входили в тайное общество, им организованное.

— Мы действительно собирались небольшим кружком для чтения и музыки...

— Вам необходимо во всех подробностях сообщить следственной комиссии все, что вам известно о тайном обществе, организованном Спешневым. Вы сможете это сделать в письменной форме. Вам будут доставлены в камеру опросные листы. Всякая ложь и заpiresательство послужат лишь к усугублению преступления. Подробное и полное показание, кто какие подавал мнения об истреблении особы государя-императора и августейшей фамилии, еще может спасти вас. Вам известно, что вам грозит в противном случае?

— Нет, неизвестно.

— Согласно воинскому артикулу, инструкциям секретной следственной комиссии и полномочиями генерал-аудиториата все признанные виновными в антиправительственных планах подвергаются четвертованию либо постыдной смерти через повешение.

Он торжественно встал. Вместе с ним поднялись все верховные следователи. Вдоль массивной бронзы царского портрета протянулись, в их странном и жутком разнообразии, пять инквизиторских голов: плотоядная челюсть Дубельта под седыми усами Меровингов, иезуитски сжатые губы Гагарина, ястребиный нос и оловянные глаза Долгорукова, лоснящиеся щеки Фальстафа-Ростовцева, чугунный череп презуса Набокона.

Они стояли напыщенные и грозные, словно до краев наполненные тщеславием и воинствующей верноподданностью, многократно доказанной за несколько десятилетий их ревностного служения царю и отечеству. Это общее прошлое царедворцев объединило и, казалось, крепко спаяло их. Все они родились и росли в общей тревоге и ужасе от Великой французской революции. Их молодость прошла в борьбе с Наполеоном, их верность престолу была грозно испытана 14 декабря, и уже на пороге старости они снова доблестно и кровавадно отличились в подавлении польского восстания. Теперь они состарились и уже как-то издалека, охладели и бесстрастные, следили за политическими событиями без энтузиазма и надежд, но с жесткой и терпкой враждой ко всему молодому, отважному и дерзкому, готовому бурно прорваться из-под их мертвой хватки и с насмешкой низвергнуть тяжеловесное дело их полувекowych усилий. Груз долголетних ожиданий, разочарований, интриг, суетных вожделений, неустрашимых ударов и смертельных тревог, казалось, неумолимо и тяжело давил на эти плечи, зачесы и тупеи.

— Согласно инструкции его императорского величества секретной следственной комиссии (все следователи мощно и бодро выпрямились) дело, по которому вы, отставной подпоручик Достоевский первый, привлечены, признано в высшей степени преступным и нестерпимыми, и степень вины и кары ка-

ждого участника должна быть определена по всей строгости военно-полевых законов.

Пять верховных следователей бесстрастно и каменно смотрели на него с высоты своей судейской эстрады, словно срезанные кровавым заслоном казенного покрывала. Бессильно корчился и вис на своем бронзовом орудии казни пророк, точеный в слоновой кости, беспомощно простирающий свои пригвожденные руки вдоль лакированного полотна, где выростал из блеска кожи и альпийской белизны лосин узкобедрый гвардеец с глазами на выкате и надменно приподнятыми плечами, величественно сжимающий, словно связку молний, щегольскую офицерскую перчатку своими цепкими пальцами всероссийского громовержца.

Спешнев

Большая ин-фолио тетрадь. Опросные пункты. Учтивый приказ плацмайора:

— Извольте в письменной форме ответить на вопросы секретной комиссии. Особенно же со всей обстоятельностью на пункт шестой.

Достоевский раскрывает тетрадь. «Ваше имя... возраст... где воспитывались... когда в последний раз приобщались святах таин...» А вот и шестой пункт: «Знакомы ли вы с неслужащим дворянином Николаем Спешневым, часто ли с ним встречались и вообще, что можете сообщить следственной комиссии о нем, его убеждениях, намерениях и действиях?»

Он задумался. Спешнев... Он мог бы написать о нем целую книгу. Но только не здесь, не в каземате. Быть может, когда-нибудь позже, в своих литературных воспоминаниях...

...Почти через двадцать лет, за границей, он записал в другую тетрадь свой ответ на шестой пункт политического опроса.

«ЗНАКОМСТВО МОЕ С НИКОЛАЕМ СПЕШНЕВЫМ»

I

Я встретился с Николаем Спешневым на одной из пятниц у Петрашевского в памятный и столь тревожный для многих год февральской революции. Стран-

ное, роковое для меня время! Мы с лихорадочным напряжением, томясь и восхищаясь, следили в Петербурге за развертывающимся на наших глазах зрелищем начавшегося человеческого перерождения. Я помню дни, когда по всему Петербургу передавали слухи о том, как царь, войдя на бал к наследнику с последними депешами в руках, обратился к офицерству гвардии: «В Париже революция, господа, седлайте ваших коней» (что впрочем уже было излишним, ибо снарядить русскую кавалерию в Париж оказалось не так-то легко, несмотря даже на страстную мечту Николая Павловича ехать на белом коне в столицу Франции, по примеру своего старшего брата, и короновать графа Шамборского на французский престол).

Петербург стал неузнаваем. Все прошло в состоянии какого-то восторга. Все кофейни на Невском кишели толпами, и слушатели роились вокруг какого-нибудь стула, с высоты которого взгромоздившийся на эту временную трибуну добровольный чтец с листом «Пчелки» или «Ведомостей» в протянутых руках сообщал последние политические известия.

«У Сен-Мартенских ворот линейные войска присоединились к инсургентам. Министерство Гизо распущено. Колонны ремесленников ворвались в Тюильри...»

В петербургских кондитерских слова эти звучали как великая хартия вольностей. Наши доморожденные политики с каждой выслушанной депешей вырастали в собственных глазах и с тайным самодовольством и гордостью любовались своей государственной зрелостью, не забывая впрочем по временам озираться на дверь, откуда могла внезапно нагрянуть и полиция. Последнее было весьма и весьма возможно в то недавнее и уже столь отошедшее от нас время. Впрочем эти благоразумные соображения никем конечно не высказывались, и слушатели продолжали с восторженной отвагой внимать чтецу политических известий.

В начале же события довольно подробно и верно освещались петербургскими газетами, и в публике свободно циркулировали парижские листки и брошюры. В окнах книжных магазинов выставляли портреты членов временного

правления. Патриарх Великой революции Дюпон де л'Эр смотрел своими опущенными веками из витрины Юнкера у Полицейского моста на фланеров Невского проспекта. Открыто передавали друг другу парижские революционные гравюры, изображавшие Ледрю-Роллена у плуга и печатного станка под сенью кипариса свободы с вплетенными в его листву знаменами.

Все это чрезвычайно нравилось нам тогда, казалось подлинной вестью обновленного мира, первым лучом восходящего золотого века для всего без исключения человечества.

После событий в Париже все стали смелее, решительнее, требовательнее, резче говорили о царе, настойчивее требовали радикальных преобразований. Влияние Петрашевского, отстаивавшего мирный путь реформ, заметно падало, пока необыкновенно поднимался личный авторитет Спешнева, бесстрашного отрицателя всех святых, атеиста и террориста, зачаровавшего всех своей сдержанной и необычайно ошутимой силой.

Много способствовала тому и соблазнительная молва о его неведомой и опасной деятельности на Западе, о какой-то близости его к революционной Польше, вольном партизанстве в борьбе швейцарских кантонов и высшими связями в Париже с главными коноводами европейской революции — Луи Бланом, Прудоном и самою Жорж-Занд. Все это было очень смутно, неопределенно, во многом противоречиво и неясно, но именно этой недоговоренностью и непонятностью своей оно поднимало в наших глазах на неизмеримую высоту влияние этого таинственного европейского скитальца. Быть может, его считали загадочным и потому, что мимоходом он называл какие-то далекие и секретные организации, неведомые большинству из нас. Он упоминал в своих беседах союз изгнанников, общество прав человека, секту праведных, тайную директорию, инсurreкционное бюро, комитет общественного спасения, заговор равных, союз ремесленников. Он говорил о древнехристианских общинах, об иезуитском ордене, об италийских марках и еретических коммунах средневековых сект. Во всем этом он был сведущ, ко

многому имел несомненное и личное прикосновение.

Самая внешность его с первого же взгляда поражала зрителя. Казалось, скептический апостол или кроткий Люцифер выступал на наших собраниях в модном и строгом парижском сюртуке. В те дни он недавно лишь вернулся из путешествия по Франции, Саксонии, Швейцарии и, казалось, носил на себе глубокий отпечаток западной жизни и нравов. Я всегда любил эту незаметную, не бросающуюся в глаза высшую безупречность костюма, в котором, кажется, все вполне обыденно и в то же время с такой обдуманной тщательностью закончено и отделано до последней ступени совершенства. Это та отчетливость в изящном и уверенный вкус, которые доходят подчас почти до художественного в силу именно высочайшего чувства меры, заложенного в них. Хотя иного наблюдателя, особенно в наших краях, такая безукоризненность может даже несколько озлить: слишком уж ты, братец, чист и аккуратен — по нашим ли скотопригоньевским нравам? Такие замечания у нас вполне допустимы и, помнится, они и вправду раздавались по его адресу, и даже довольно часто и настойчиво, что характеризовало впрочем больше их авторов, чем самого нового гостя. Однако ж должен заметить, что большинству он внушал несомненное и глубочайшее почтение, доходящее почти до благоговения, хотя и чрезвычайно сдержанного. При нем не решались как-то на громкое изъяснение своих чувств.

Спешнев знал о впечатлении, которое он производил на окружающих, но он по-своему объяснял его: «Мои чувства и страсти горят внутри и ничего не видно снаружи,—говорил он мне как-то в минуту откровенности.—Меня стали опасаться, потому что не могут понять»...

И действительно, только самые близкие люди знали, что Спешнев вовсе не драпируется в плащ загадочной природы, непонятного героя, будущего великого человека, до времени лишь сохраняющего свое инкогнито (иные так понимали его).

Это была не романтическая таинственность, а разумная скрытность

крупного деятеля, предпринявшего ответственное государственное дело. Не эффектная молчаливость мрачного заговорщика, а спокойная сдержанность политического вождя определяла его отношение к окружающим. Не романтика авантюрных покушений, а серьезность большой революционной задачи придавала подчас особую недоступность его взгляду и речи. Это была затаенная решимость действовать согласно строго обдуманному и тщательно проверенному плану для неуклонного осуществления опасной, великой и спасительной цели.

Вскоре я был в составе его маленькой партии, отпавшей от «пятниц». Меня поразило это сочетание силы и красоты, пугачевского бунтарства и европейского изящества, философской мысли и революционной решимости, бесстрастного облика и непоколебимой готовности на кровопролитие во имя победы своего дела. Его мысль, воля и слово неодолимо завладели мною.

II

В последние месяцы нашей свободы на собраниях появилось новое лицо — гвардейский поручик Момбелли. Мне хорошо запомнился этот меланхолический гомункул. Болезненный, бледный, некрасивый, сгорбленный, с истощенным лицом, редкими волосами и огромным выпуклым лбом, он казался совершенно измученным какою-то неподвижною и тайною думой. О нем знали, что он очень беден, запутан в долгах, страдает ипохондрическими припадками. Кисть его правой руки была перевязана почти до самых пальцев черным шелком, — он покушался как-то на самоубийство, но неверным выстрелом повредил себе только руку. Он устраивал в гвардейских казармах литературные вечера, вызвавшие даже запрет начальства, писал обзоры современной политики под видом римской истории, переводил Мицкевича и конспиративно называл себя согласно с традициями революционной истории «гражданином Николаем». Он расположил меня к себе своей страдальческой судьбою, живым интересом к поэзии и наконец упорно томившей его думою об одиночестве и затерянности человека на той пустынной и малой планете, на которой он осужден жить.

— Мы должны бороться с ужасаю-

щей заброшенностью каждого из нас в современном обществе, — обратился он как-то к нам, робея и сбиваясь от непривычки говорить публично. — Вступление в жизнь так тяжело и затруднительно для всякого, кто не обеспечен именем, деньгами, связями. Никакой поддержки ниоткуда! Глас о помощи раздается в пустыне больших городов. О, воистину человек человеку волк! Соединимся же, друзья, для взаимной помощи, для поддержки, для облегчения житейской обузы...

— Вы зовете к союзу только из боязни уединенного существования? — удивился Петрашевский.

— Но ведь нужно, чтобы каждый человек имел, к кому притти, с кем поделиться своими заветными помыслами... Ведь этим, может быть, мы вырвем нищих и пьяниц из их убожества и падений. Ведь каждый для всех и все для каждого!.. Составим же дружеский союз, солидарное товарищество лучших людей, чтоб поддерживать и возвышать друг друга.

— Едва ли такой рыцарский или монашеский орден возможен в условиях современной цивилизации, — заметил наш председатель.

— О, не к утопии зову я вас, — вступился Момбелли. — Дабы наше содружество не было беспочвенной химерой, и мы действительно могли бы оказывать помощь нуждающимся, положим в основу нашего союза капитал, составленный из добровольных пожертвований, и постараемся умелым оборотом увеличивать его для оказания своевременной братской помощи слабейшему и одинокому человеку. Вы подумайте только, сколько муж, смертей и преступлений проистекает от отсутствия денег в нужную минуту! Сколько талантов гибнет у нас от отсутствия средств к осуществлению их замыслов...

Это было во многом утопично и наивно, но отчасти отражало уже носившиеся в воздухе теории о денежных накоплениях, их движении, росте, социальной силе и революционном значении; притом сказано было искренне и горячо, с большой душевной болью. Чувствовалось, что этот русский гвардеец и гражданин вселенной высказывает свою самую заветную и выстраданную думу. Я во многом понял его и живо представил

себе его мучительное одиночество в каварменном многолюдстве.

Но Спешнев хладнокровно вонзил в этот филантропический проект свои скептические вопросы.

— Кто ж будет собирать деньги, в каком виде они будут храниться и на кого будет возложено производство финансовых операций?

— Всем этим может весть комитет, составленный из основателей товарищества,—несколько подумав, отвечал Момбелли,—ну, хотя бы из нашей пятерки.

— Но это будет хищнический капитал, сосредоточенный в немногих руках и всецело питающийся нуждами всевозможных мелких дельцов и предпринимателей. За кажущимся ростом наших средств будет скрываться обычное рабовладельческое пользование человека человеком...

— Почему же?

— Ведь проценты, которые будут вносить нам за мелкие ссуды, — это тот же продукт человеческого труда. В чем же будет наше отличие от банкира, рантаера, торговца или ростовщика?

Вопрос, казалось, смутил оратора. В это время в прения вступил Петрашевский.

— Я думаю, Момбелли, — заметил он, — что ваше братство следует превратить в ученый комитет для разработки вопросов политических преобразований и неуклонного разоблачения административных правонарушений. Нам действительно нужен основной капитал для создания фурьеристского журнала в России. Мы создадим в Петербурге свою «Реформу», «Фалангу» или «Мирную демократию».

— О нет, — медлительно произнес Спешнев, — если уж объединяться, то не для ученых изысканий, не для дружеской филантропии или денежных операций.

— Для чего же? — раздался чей-то голос.

Спешнев молча обвел нас своим непроницаемым взглядом.

— Для всеобщего восстания, — кратко и отчетливо произнес он наконец.

Кое-кто из чрезмерно сообразительных и решительно во все проникающих людей объяснил это возражение Спешнева нежеланием крупного помещика и богача вкладывать свои капиталы в та-

кое неприбыльное дело, в котором сам он не испытывал никакой нужды. Вздорность этого подозрения была для меня очевидна, так как я тогда же имел возможность убедиться в щедрости этого замкнутого человека. Узнав, что мой долг Краевскому возрос до невозможных пределов, что мне приходится писать на срок, размениваться на мелочи, отдавать свои силы поденной работе, он как-то сказал мне:

— Бросьте фельетоны, очерки, обзоры, всю эту мелочь, истощающую дарование. Производите крупно, беритесь за большую задачу, пишите роман. Вот вам капитал для начала вашей работы, вы не можете отказать мне.

И он заставил меня взять у себя пятьсот рублей серебром, которые и дали мне возможность приступить к работе над большой повестью, к сожалению прерванной вскоре моим арестом и до сих пор за недосугом недописанной.

Из проекта Момбелли ничего не вышло. Впрочем такова была участь всех намечавшихся в то время планов. Петербург так и не увидел ни филантропического братства, ни политического журнала, ни комитета всеобщего восстания.

III

Между тем таинственная позиция Спешнева понемногу разъяснялась. В самом тесном кругу, среди двух-трех лиц, иногда даже наедине со мною, он высказывался подробнее и раскрывал до конца свои мысли.

— Как преобразить человечество и привести его к иному разумному и справедливому сожитию? Прежде всего — разоблачить нелепость, жестокость и низость существующего. Вскрывать его абсурдность, доводя до полного хаоса взаимоотношения всех его учреждений. Обнаруживать глупость и подлость правительства и всех его агентов. Подрывать к ним внушенный веками тупой страх и бессмысленную покорность. Так уверенно, настойчиво, постоянно готовить почву...

Кто-то рассказывал эпизод из июньских дней в Париже: огромная толпа работников собралась у Бастильской колонны. Они преклонили колени в честь погибших героев и поднялись с боевым кличем:

— La liberté ou la mort!

Лозунг смутил многих из нас и болезненно отозвался в моем сердце.

— Да, свобода или смерть,—произнес Спешнев, — безжалостно, спокойно и неуклонно уничтожать врагов. И не только единичных лиц, но и целые учреждения и сословия, препятствующие торжеству нового порядка. Вычеркнуть раз навсегда неосуществимую в условиях вечной борьбы шестую заповедь. Если твое дело этого требует, бестрепетно и смело убивай. Пролитая кровь— великое дело, оно скрепляет общество равных.

Петрашевский по обыкновению ужаснулся.

— Нужно звать не к язычеству, а к новому христианству. Мы должны исправить ошибки евангелия, очистить и дополнить его в духе потребностей и мнений нашей эпохи. Достаточно обновить по заветам Фурье и практическим указаниям Консидерана несколько устаревшую, но все же великую книгу.

— Нужно решительно отбросить ее. Вся она сплошная ошибка. Не любить врагов, а ненавидеть их, не подставлять ланиту, а уничтожать в разумном гневе оскорбившего тебя, не отказываться от высшего долга накормить голодную толпу, но устроить жизнь так, чтоб не было в мире голодных — вот новые задачи, выше и мудрее которых не было на земле.

— Но я убежден, что для их осуществления ты сам никогда не мог бы прибегнуть к террору...

— Ты хочешь знать, мог ли бы я сам убить? Вне всякого сомнения. Хотя бы даже для того, чтоб доказать тебе, что я имею право вести людей к лучшему будущему. Вожди и преобразователи человечества определяются прежде всего их способностью отказаться от библейского запрета и евангельского предрассудка и бестрепетно казнить всех препятствующих торжеству их идей. Иначе бы они не становились великими, а весь ход истории прекратился. Вспомни, что Наполеон, только вступив в командование армией, приказал расстреливать в двадцать четыре часа всякого, кто тайно или явно станет противодействовать установленному им порядку.

Мне сразу вспомнились ужаснувшие меня как-то слова Белинского: «Нам

надо пройти сквозь террор, чтобы сделаться людьми в полном и благородном смысле слова...»

Между тем события на Западе неслись вихрем. Во Франции уже был президент республики, в Берлине—конституционная хартия, в Вене—новое либеральное министерство на развалинах меттерниховского кабинета.

Все это отзывалось в Петербурге и не переставало глубоко волновать нас. Однажды в тесном кругу Петрашевский рассказал нам, что в табачной лавке какого-то чудака, мечтающего стать актером или площадным трибуном, не прекращаются разговоры о французской революции, о казни Людовика XVI, о поголовном гильотинировании всей аристократии; там уже готовятся истребить всю царскую фамилию вместе с высшими правительственными лицами и ввести в России республиканское правление. Уже обсужден во всех подробностях план, где и как убить министров, царя и великих князей. «Блажен тот человек,—говорил этот табачник, указывая на портрет царя, — который убьет его и все его поколение...»

— И такой человек уже найден. Какой-то юноша берет на себя выполнение приговора о цареубийстве.

Спешнев выслушал все с обычной невозмутимостью, но чрезвычайно внимательно.

— Вот настоящие революционеры,— заметил он,— у них точная цель и верный путь к ней. Расшатать государство и устранить его главу...

— Это верный путь к анархии,— живо возразил Петрашевский. — Кого ты поставишь во главе нового общества для проведения великой реформы?

— Того, кто своим характером, познаниями и волей сумеет объединить вокруг себя всех как призванный и бесспорный вождь.

— Ты хочешь стать диктатором, Спешнев. Это—гибель революции.

— Это единственный путь к утверждению справедливости и равенства.

— Ты мечтаешь о карьере Бонапарта,— помни, что это путь через груды трупов. Я собственноручно убил бы диктатора...

— Стало быть, и ты признаешь политическое убийство, мирный человеколюбец?

После этого спора я заметил значительное охлаждение между двумя лицейскими товарищами. Разрыв их назревал давно и был неизбежен. Слишком уж они были противоположны во всем. Насколько Петрашевский был активен, деятелен, возбужден, настолько Спешнев был неподвижен, бесстрастен, холоден. Один—неутомимый и немолчный оратор, из которого мысли не переставали бить каскадом утверждений, сопоставлений, цифр, исторических примеров и диковинных терминов; другой—невозмутимый молчаливый, уклончивый и таинственный, словно замороженный сокровенной думой и в свою очередь медленно околдовавший всех своим безмолвным и необъяснимым авторитетом. В Петрашевском, при его суевливости и говорливости, все было открыто и откровенно, прямолинейно, стремительно и даже как-то простодушно. В Спешневе все было загадочно, интригующе-непонятно, многомысленно и неуловимо. Петрашевский смотрел прямо в лицо собеседнику горящими, открытыми, почти наивными своими глазами, Спешнев оплетал слушателя непроницаемым взглядом хищного и вкрадчивого зверя, ласкающего и завораживающего свою добычу. Непосредственности великого пропагатора, вечного рассказчика и политического красноречивая противостояла на наших коломенских пятницах фигура тайного заговорщика, скрывающего под холодным забралом своего неподвижного лица опасные, губительные и разрушительные планы. Рано или поздно этим людям суждено было разойтись.

К началу 1849 г. вокруг Спешнева собрался небольшой круг лиц, разочаровавшихся в Петрашевском. Меня все более влекло к этому русскому баричу, отдающему все свои познания и таланты на службу восстающему плебсу.

— В вас есть горячность, решимость и самоотверженность настоящего революционера,—говорил он мне как-то,—не останавливайтесь же на полпути. В революции нужно быть всегда на самом крайнем фланге, — только этим победить. Оставьте вашу патриархальную мораль и всю эту слащавую филантропию,—только опасным идеям стоит служить...

В то время его занимал центральный республиканский клуб, организованный

в Париже Бланки на принципе самой строгой дисциплины с допущением лишь немногих афилированных лиц. Спешнев говорил со мной о такой же организации в Петербурге, но только в виде секретного сообщества. Он выдвигал в первую очередь необходимость устройства тайной типографии для широкого распространения наших идей и вернейшей подготовки будущего взрыва. Он поручал мне афилировать к нашему тайному союзу новых членов, впрочем не более пяти лиц, по строжайшему соображению и самой тщательной проверке. План был всесторонне обдуман и взвешен мною. Я решил приобщить к нашему тайному объединению нескольких ученых, писателей, стихотворцев,—ведь великий астроном и знаменитый поэт возглавляли революционное правительство в Париже. Я думал о моем друге Аполлоне Майкове...

Спешнев не возражал.—Только помните, — прибавил он, — мы должны не только строить новое общество, но прежде всего бороться со старым. Из опасных идей приобщайтесь к опаснейшей, объединяйте и двигайте обнищавшие массы к захвату власти, к победе над всеми благоденствующими и властвующими в этом дряхлом и все еще живучем феодальном мире. Я читал в одной вашей повести прекрасное описание петербургской окраины—ветхие избы вместо богатых домов, колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, кроваво-красные с длинными трубами,—и все вокруг них безлюдно и пусто, угрюмо и неприязненно. Вы еле коснулись величайшей из тем. Овладейте ею. Покажите всем эти колоссальные уродливые красные здания с длинными черными трубами—эти призрачные гигантские руки нищеты, с угрозой взнесенные над мраморными дворцами и гвардейскими казармами резиденций. Проникните всемирно исторической ролью этих нищих работников, призванных освободить всех угнетенных и создать новый человеческий строй.

Было полночь. Единственная свеча на столе догорала разгоревшимся светом, отбрасывая резкие тени. Лицо Спешнева, освещенное сбоку и даже несколько сзади, выступало из глубокого комнатного мрака лишь несколькими

светлыми пятнами. Резкость светотеней по-новому обрисовывала эту отточенную голову, сообщая неожиданную энергию и устремленность его светоносному взгляду. Нежное фарфоровое чело, казалось, наливалось тяжелой бронзой, крепло и закалялось. Неподвижное лицо загадочного созерцателя являло черты борца и бесстрашного предводителя вооруженных толп.

Впечатление это впрочем длилось лишь несколько мгновений. Он быстро повернулся к столу, и бледный свет сразу похитил тот резкий и пасмурный очерк. Передо мною снова был иронический галилеянин, кроткий Люцифер или сострадательный Мефистофель.

Свеча вспыхивала, потрескивала и гасла. Я встал, чтоб уходить. «Дасбудутся наши планы» — сказал я ему на прощание, пожимая руку.

Кто мог думать, что уже все было безвозвратно и безнадежно подорвано? Ему не пришлось повести освободительные армии на штурм феодальных твердынь, мне не привелось афальтировать поэтов и художников к нашему тайному союзу. В этот вечер мы в сущности навсегда простились с Николаем Спешневым. Мне суждено было еще несколько раз встретиться с ним, но уже в самых необычайных и печальных обстоятельствах. Быть может, когда-нибудь я и расскажу о наших последних встречах, когда жизнь так безжалостно разламывала нашу молодую судьбу, но на этом я теперь закончу мои беглые и отрывочные воспоминания об одном неразгаданном человеке, имевшем столь неотразимое влияние на мою развивающуюся мысль и совесть.

Двадцать второго декабря

Восемь месяцев в крепости.

Неизвестность, молчание, одиночество. Через три дня рождество. Сколько еще будет тянуться это безмолвное гнетущее заточенье?

Отупенье и безразличие ко всему. Мешком валится на койку. Где-то по соседству уныло брякает приклад. В дверном глазку, продолговатом и узком, — переносица и брови караульного. Где-то высоко-высоко, сквозь плотную дымку, запевают куранты, медленно звонят колокольцы.

Он укрывается с головой. Вспоминается далекое, ушедшее, словно подернутое сквозной светящейся завесой, раннее и полузабытое. Больничный поп отец Иоанн Баршев. Два сына его теперь профессора уголовного права. Их, лекарственных детей, встречая в саду, всегда учил духовным гимнам. Хриплым старческим голоском тянул: «Коль славен наш господь в Сионе, не может изяснить язык...» Никак не могли понять, что значит «в Сионе», и странно как-то звучало это имя — Фсиони какой-то, фигляр, итальянец, в роде Фальдони? Но мотив запоминали — все они были музыкальны — и довольно верно пели его, стараясь выдержать высокие ноты, утончая и напрягая детские голоса... И вот опять этот Фсиони звенит и поет колокольцами хитрых курантов.

Вот они замирают. Какая усталость и тяжесть во всем теле. Словно колокольной бронзой налило, тяжелым сплавом свинца и меди наполнило вены. Как темно, жарко и тяжело...

...Перед ним большие, светлые, белые комнаты. Запах тошнотворный, дурмящий, едкий. Сухой, угрюмый старец с пронзительным взглядом и крупным адамовым яблоком, бегущим по горлу, неумолимо шагает по залам. Вокруг, распростертые навзничь, корчатся женщины. Извиваясь на жестких койках и операционных столах, с невероятно растопыренными ногами, они искупают долгими непереносимыми болями мгновенную радость грехопадения. Служителя их держат за руки и ноги. И, засучив рукава, он, штаб-лекарь в белом халате, угрюмо нахмутив брови, недовольно сгибался и копошился в их чреслах щипцами под звериные крики и вопли. Или с ножом и блестящей пилой, нещадно, упорно и молча, он перепиливал кости, рассекал взбухший живот и рукой, окровавленной по локоть, ворошил багровые груды живого и голого мяса. Или огромной иглой равнодушно и хмуро вонзался в трепещущее дикими муками тело и прошивал, как отрезы холста, доску рваной плоти. Прокалывал пузыри. От стола шел он к койкам, от коек к столам, в сопровождении помощников своих — фельдшеров и сиделок, и всюду за ним оставались ряды запрокинутых тел, голых бедер и окровавленных чресел.

И вот сам он лежит, обнаженный и корчась от муки, с окровавленным чревом и голыми тощими бедрами, у рва на глухой деревенской дороге. Здесь настigli его и прикончили. Но он умер не сразу. Вот поднимается иссохшая старческая голова, искаженная острою мукою, пряди липнут к вискам, глаза выкатились, рот искажен застывшим криком, жилы вздулись, лицо посинело. Вот оно, искажаясь в неимоверной гримасе, приближается, вырастает, поглотит все...

Вот шевелятся бескровные губы:

— Федор, что ты прячешь лицо свое?

— Нет, отец, я гляжу на тебя...

— Зачем ты подверг меня этой пытке смертельной?

— Я ее не хотел, отец, и она ужасает меня...

— Но ты возжаждал смерти моей, и она наступила. Ты — убийца мой, Федор.

— Нет, нет, нет, отец, в смерти твоей неповинен.

— Ты — и никто другой. Ты — отцеубийца, ты — мой палач, ты — душегубец.

И старческий пах в синяках и кровоподтеках обнажился и корчился, как у пригвожденных к позорным столбам или распятых страшной древней казнью.

В ужасе он просыпался...

«Снова этот сон — быть беде. Еще не было случая, чтобы этот кошмар не предшествовал несчастью...»

Станный шум донесся до него. Безмолвный рavelин неожиданно оживился. Со двора слышался непонятный стук колес по промерзшему снегу. Под сводами коридоров топотали тяжелые шаги, тревожно бряцало оружие, гулко разносились военные команды, и под звон ключей скрипели неповоротливые двери одиночных камер.

Из коридора доносится голос:

— Выпустить девятый номер.

Вот у его каземата грохочет связка ключей, взвизгивает замок, с грузным шорохом отодвигается засов.

Тюремный слугитель в сопровождении конвойных, караульного и дежурного офицера вносит связку носильных вещей. Фрак и клетчатые брюки, в которых он был взят в апреле, легкое весеннее пальто от Рено-Куртеса и в при-

дачу только толстые белые чулки, как в больницах или богадельнях.

— Одевайтесь.

— Куда?

— Одевайтесь.

Все становится ясным: в ссылку не пошлют в этом легком костюме. Только на казнь ведут, в чем взяли при аресте.

Он быстро меняет халат на легкий фрак. С отвращением натягивает длинные белые чулки толстой шерсти и грубой вязки. Да, именно в таких чулках должны вешать, — это принадлежность казни. Это чулки самоубийц, преступников, казнимых. Вероятно в такие чулки, несуразно длинные и ужасающе белые, грабители прячут краденые кредитки, захватанные кровавыми пальцами...

По коридору проносится гулкая команда:

— Вывести арестованных.

В сопровождении конвойных он выходит на внешнюю площадку.

Свежо дохнуло в лицо утренним морозом, запахом снега, холодным ветерком рассвета. В бледносиних сумерках отчетливо выступила высокая, гладкая стена, головокружительный шпиль собора и вдоль двора длинная, бесконечная вереница широких черных карет без фонарей. Скорлупчатыми суставами огромного черного дракона протянулись они с легким извивом вдоль наружной крепостной стены.

Вокруг гарцуют жандармы с саблями наголо, суетливо распоряжаются офицеры тюремной команды, бойко скачет плац-адъютант, проходят конвойные, недвижно стынут у выходов часовые. Узнать кого-нибудь трудно. Только видно — идет посадка арестантов.

Хлопают дверцы карет. Вот и его подводят к подножке. Самый обыкновенный возок — ничего от дракона. В таких колымагах увозили с театральных подездов, под рев восхищенных зрителей, Асенкову, Лилу Лёве, Тальони. На миг пахло сладостным воспоминанием праздничного зрелища — огней, оркестра, зубчатых корон и пурпуровых мантий, рукоплесканий и закулисных тайн. Но брякает приклад, нетерпеливо стучат копыта...

Перед ним плац-адъютант.

— Садитесь.

Вежливо, словно приглашение... Зловещая учтивость. Кто это сказал: любовь тюремщика возвещает близость плахи?

Согнувшись, он вступает в душный черный короб. Пахнет кожей, лакированным деревом, пропыленным сукном. Вслед за ним протискивается в дверцу огромный серосуконный солдат с блестящим штыком. Суета во дворе продолжается.

Театральная карета

— Головные кареты, отъезжай!

Верховой плац-адъютант, отдав команду, несется к воротам крепости. За ним устремляется на рысях взвод жандармского дивизиона. Суставчатый черный дракон разворачивает свои сочленения, проползает под сводами ворот, устремляется быстрым летом по невидимым проспектам.

Стекла обмерзли, и только изредка в тонком просвете мелькнет решетка моста или стенка желтеющего здания. Колеса различно грохочут по утопанному снегу мостовых или деревянным настилам переправ. Вот прожелтел арсенал. Четко сыплется топот эскорта. Карета несется... Куда?

Обмерзлое окно неумолимо отделяет от мира, черный ящик кареты отделил от всего, словно заживо похоронил. Между ним и всем человеческим выгнулось гигантское непроницаемое стекло. Еще брезжит где-то свет... Но он уже безвозвратно отделен от солнца, людей, улыбок, тревог, суеты. Он за ледяным стеклом, в узком, тесном, душном шестиграннике. Стекло будет все тускнеть и сжиматься, чернота экипажа сгущаться, расти и поглощать его. Неумолимая черта. Конвойный с неподвижным лицом, — приказано молчать. Поблескивает широкое лезвие штыка. Глухим стуком отзывается внутри кареты топот бесчисленных копыт. Опять деревянное грохотанье, верно снова мост. Мир спадает с тебя! Даже как-то легче становишься, прозрачнее, невесомее... Но тоска обволакивает сердце почти до тошноты.

Карета круто завернула — оба седока качнулись вбок — и понеслась еще быстрее, очевидно выехала на длинный прямой путь. Куда же? На какой-нибудь пустырь, за город? Одиночная ка-

мера на колесах уносит в пространство, мчит к неведомым снежным полянам, где только столбы с перекладной. Через какие-нибудь полчаса его мысль погаснет навеки. Хорошо, что нет ни матери, ни жены, ни дочери — какое счастье! Знать, что твоя смерть убивает несколько любящих душ, ужасно. Брат Михаил, но у него своя семья, — погорюет, утешится. Нет даже подружки-любовницы, которая бы поплакала о твоей смерти... Однако, какой огромной ошибкой была вся эта краткая жизнь. Какое жестокое одиночество! Всем доступное, всеобщее и великое человеческое счастье целиком принесено в жертву химере, писательству, соперничеству с Гоголем, которого нужно все что бы то ни стало превзойти. Нужно? Для кого? Грязные редакции, уязвленные самолюбия, сплетни и зависть литературных кружков, насмешки и мелкие интриги, тонкая клевета и тяжелый труд, вознаграждаемый легкомысленной иронической рецензией утомленного и раздраженного критика, — вот на что променял он жизнь и молодость, великую, полную ощущений, простую и сладостную жизнь с ее чудесными живыми ростками. Слава! Гений! Потрясение сердец! Какая ошибка, какая вопиющая ненужность! Ведь счастье и достоинство — это тишина, незаметный труд, неизвестность и человечески нужная, повседневно полезная, хотя бы и докучная, деятельность. Лучше бы строил мосты, шоссе и водопроводы, не думая о том, какой отзыв о тебе появится в «Отечественных записках». Фу, как все это мелко! Если бы снова начать жизнь — как бы разумно построил ее. Семью, детвору, тихий труд... Нет, кажется, не смог бы преодолеть эту жажду писания...

Слегка кружилась голова — от духоты или покачивания экипажа...казалось, карета не двигалась, вдруг застыла, и не то чтоб останавливалась на мостовой, а каким-то неведомым способом повисала в пространстве беззвучно, недвижно. Где-то внизу глухо проносились всадники, сыпался топот копыт, что-то бряцало, цокало, грохотало, но черный лакированный сундук с непроницаемыми плоскими квадратами молочных стекол продолжал недвижно

стынуть в воздухе. Как странно: в каземате иногда казалось, что пол под тобой колышется и ходит, как в каюте, а здесь мчащаяся во весь опор карета вдруг недвижно виснет. И потом неизвестно почему внезапно это ощущение пропало, и карета с вооруженным соседом снова катилась, колеблясь и подрагивая, по твердому снежному насту, под эскортом невидимых всадников, пронсящих куда-то звонким галопом.

— Где ж это мы?

Он наклонился и почти прильнул к стеклу, где в густой изморози желтел узкий протаявший просвет.

— Не выглядывайте, а то меня накажут шпирутенами, — произнес почти жалобно огромный солдат...

Достоевский отшатнулся. Он отвел глаза от окна и стал смотреть прямо перед собой.

Свежелакированная передняя стенка кареты зеркально отражала блестящий нож штыка, медные пуговицы, кокарду, бляху конвойного. Он стал всматриваться в это протянувшееся перед ним глубокое, черное зеркало и различать в нем понемногу бледное пятно своего лица. Узкие прорези глаз, остроконечные скулы, светлое весеннее пальто — все это сквозь тонкий прозрачный слой виднелось в темном провале кареты. Слово отраженье в глубоком колоде. Карету трясло и подбрасывало (видно за крутом спуске с моста), и при каждом толчке изображение кривилось, искажалось, переламывалось, так что, казалось, бледная голова в черном зыбком глянце отрывалась от туловища и падала в черноту. Вспоминалось дворцовое зеркало, в которое гляделся в самый вечер смерти угнетенный император Павел — тусклое, желтое стекло, вернувшее ему царственное изображение со свернутой шеей и оторванным черепом.

Лошади понесли бешеным аллюром. Не конец ли пути? Стало темнее — узкая улица с высокими домами. Лицо конвойного попрежнему непроницаемо. Так когда-то в ранней молодости он описывал поездку своего помешавшегося героя в сумасшедший дом. Лошади несли безумца по какой-то неведомой дороге, все чернело вокруг, было глухо и пусто, и только два огненных глаза злоущею,

адскую радостью блестели из мрака кареты. Это беспощадный медик, ужасающий и грозный, неумолимо и прямо мчал своего безнадежного пациента в страшное заключение одиночных камер с ледяною водою и смиренными рубашками — туда, где конец всякой радости, где пустыня, мрак и отчаяние. Герой его вскрикивал и хватался за свою больную, истерзанную, словно раненую голову... И все же ему было лучше. От безумья оправляются, из желтых домов возвращаются, только смерть безнадежна и окончательна.

Лошади замедлили аллюр. Черный фургон стал.

Плацпарадное место

— Выходите.

Где ж это? Он огляделся по сторонам. Убогие почернелые хижины окраины, оранжевые стены гвардейских казарм, бледножелтое здание нового вокзала, пять куполов тяжеловесного собора лейб-гвардии Семеновского полка. Все это широким просторным кольцом окружает огромную, унылую, белую, удручающую пустыню. Площадь гвардейских казарм для смотров и учений. Семеновское плацпарадное место. Вал, замыкающий площадь, залит молчаливой толпою. Ведь верно собралось несколько тысяч, а какая глубокая тишина. На западе, — он это не раз читал, — во Франции, Испании, Италии, казни привлекали веселую толпу развлекавшихся зрителей с подзорными трубками, нарядными уборами, шегольским вооружением. Под хохот, бойкую болтовню, заигрывания и шутки, под музыку и легкий говор зрителей всходили еретики на костры и аристократы на гильотину... Нет, уж лучше эта петербургская молчаливая толпа, оцепенелая и угрюмая...

Посреди плаца гвардейские части выстроены в каре. Это батальоны полков, в которых служили осужденные офицеры Пальм, Григорьев, Момбелли. Живой прямоугольник войск обступил деревянный помост, обтянутый черным сукном.

Впереди три высоких столба. У подножия каждого — яма.

В разрытом снегу, словно в кратере глинистого холма, уныло чернеют три разверстых могилы.

Вспомнилась мертвецкая в больнице на Божедомке — чернеющее отверстие, ледяной дых и трупный запах.

Так вот оно, место казни—с эшафотом, войсками и толпой.

Все это он оглянул в одно мгновение. Перед каретами караульные уже выстраивали привезенных.

Вот они все. Исхудавшие, пожелтевшие, обросшие. Поэты и правоведаы, офицеры и инженеры, учителя и экономисты. Обыкновенная «пятница» Петрашевского.

Против горсти читателей Фурье и Консидерана — отряды трех гвардейских полков, начальник столичной полиции, конные жандармы, флигель-адъютанты его величества. Силы достаточные, быть может, для взятия форта.

Гулко разносится по снежной площади команда:

— Выстроить в шеренгу!

Плац-майор вытягивает их в цепь. Перед фронтом осужденных появляется неожиданная фигура: черный, костлявый и длинный священник в погребальном облачении с крестом и евангелием. Под его предводительством конвойные ведут их обходным путем вдоль шпалеры войскового квадрата к эшафоту.

Сейчас он умрет. Но навязчивая память продолжает работать, и потребность соображать, думать, строить умо-заключения ни на мгновение не прекращается. Мозг работает, как паровая машина. Вот карниз семеновской казармы облупился, а между окнами второго этажа проступили пятна сырости. Необходимо ремонт, — переустроить подезд, переоборудовать освещение и непременно вытянуть справа глаголем служебный корпус—цейхгауз, канцелярии...

Да, жаль жизни, но не это главное, — все умирают, и без казни он, тщедушный и хворый, мог рано умереть... Нет, пуще всего жаль этого творческого горения сердца, которому суждено было — он это знал и в это верил — разгореться костром, охватить, быть может, полнеба своим заревом... Да, этого жаль бесконечно.

Они прошли вдоль двух изгородей гвардейского кара и повернули, чтоб проследовать вдоль третьей. Впереди, прямо перед ними, черный помост и три стройных серых мачты, прочно врытых в промерзлую почву. Жить остается де-

сять, двадцать минут? Но где-то продолжала робко и беспомощно биться надежда. «А, может быть, все же... А вдруг чудо?..»

Линия войсковых частей пройдена до конца. Вот и черная площадка. В светлом сукне, в орденах и перчатках, в гренадах и серебряных шнурах группа военных следит за порядком. Из гвардейских частей вызывают офицеров и фельдфебелей. Осужденных подводят к коротенькой лесенке помоста. Скользя по мерзлым ступенькам, они всходят на эшафот.

— На караул!

Взметаются с четким лязгом ружья. Нервною дробью рассыпаются барабаны. На подмостки выходит аудитор с бумагой в руках. Слабым, дребезжащим тенорком, выкрикивая части фраз для войск, для толпы на валу, с паузами и новыми визгливыми возгласами он прочитывает высочайший приговор.

Ветер шумит, мысли проносятся вихрем, цельную фразу нельзя воспринять, она доходит клочками до сознания, — что это, мозг уже начал сдавать иля вьюга глушит надрывный фальцет чтеца?

— Генерал-аудиториат по рассмотрении дела... военно-судной комиссией признал... все виноваты в умысле на ниспровержение государственного порядка... определил: подвергнуть смертной казни расстрелянием.

Аудитор невероятно повышает свой петушинный голос и подносит руку к полю форменной шляпы. По площади тонким вскриком разносится:

— Государь-император на приговоре собственноручно написать соизволил: быть по сему.

Из плотного серого воздуха выступил вдруг блещущий бликами огромный длинноногий самодержец в коронованной бронзовой раме, ледяющий неведомого зрителя своими пронзительно-неумолимыми зрачками. Руки, сжатые у бедер, разжались для подписи новых смертных приговоров, и мрачный памятник о виселицах Санкт-петербургского кронверка возникли и вытянулись из снежного наста Семеновской площади три длинных серых столба над узкими гробоподобными ямами.

Зияющая черная язва сейчас поглотит его. Через несколько минут голова

его, мыслящая, вспоминаящая, творящая, станет вещью, отвратительным и ужасным предметом страшной падалю, которую только и можно, что закопать поглубже.

С эшафота продолжает звучать дребезжащий тенор аудитора. Разносятся по площади имена, статьи, приговоры, и с грозной ритмичностью снова и снова звучит назойливо жуткий припев:

— Подвергнуть смертной казни расстрелянием...

Деять раз прозвучала бесстрастная формула. И вот звучит в десятый:

— Отставного инженер-поручика Федора Достоевского, 27 лет...

Сознание воспринимает, и память удерживает каждое слово.

— За участие в преступных замыслах...

«Неужели в подготовке царубийства?..»

— За распространение частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти...

«Так за письмо Белинского?..»

— И за покушение к распространению посредством домашней литографии сочинений против правительства...

«Так Дубельт настоял на своем...»

— Подвергнуть смертной казни расстрелянием...

Как странно: теперь совсем нестрашно. Неизбежность. Холодная ясность сознания. Так верно тот, кто боится разбойника, успокаивается в последнюю секунду, когда нож уже приставлен к горлу.

Аудитор продолжает читать:

— Служащего в Азиатском департаменте министерства иностранных дел коллежского советника Константина Дебу первого...

Снова и снова деревянно и бесстрашно гудит и разносится до самого вала:

— Подвергнуть смертной казни расстрелянием.

Думы проносятся вихрем.

«Во что превращусь сейчас? Быть может, в этот сноп лучей, играющий на золотом яблоке этой гигантской лувки... А может быть, и вся-то вечность — тесная, затхлая, заплесневелая каморка, в роде холодной избы или камеры каземата, или обмерзлой полицейской кареты, или вот этой разрытой

ямы. Почему непременно — свет, лучи, херувимы? Жизнь ведь подготовила к эпилогу сырой, промозглый подвал на целых восемь месяцев, да вот братскую могилу на столичной площади. Откуда же после смерти блистанья арфы, лучезарность? Грязная конура с цвелью, слизью и мокрицами, — вот тебе и вся вечность. Да, именно так оно и должно быть».

Сквозь серую утреннюю муть ярче проглянул бледный отсвет солнца. Казалось, что-то легким звоном наполнило воздух. Кто это сказал в стихах: «На небе солнце зазвучало?» Ведь кажется бессмысленным, а чудесно... Ах, да:

Как было древле, солнце строго
Меж братских сфер свой гимн поет,
Своей назначенной дорогой
С громовым грохотом течет¹⁾.

Лучи солнца и ритм строфы пробудили бодрость. Смерть вдруг показалась невероятной.

— Не может быть, чтобы нас казнили, — шепнул он своему соседу.

— А это что? — указал тот на телегу, перекрытую рогожей. Ведь даже гробы подготовили.

Аудитор складывает вчетверо бумагу и опускает ее в боковой карман. Он медленно сходит с помоста. Снова гулкий барабанный бой. Под отвратительную слитную дробь, грохоча высокими сапогами, всходят на эшафот палачи в ярких рубахах и черных плисовых шароварах. Обряд военной казни сохранял старинную театральность. Осужденных ставят на колени. Палачи переламывают над их головами подпиленные шпаги. Сухой и жесткий треск разламывающейся стали четко режет морозный воздух.

По мерзлым ступенькам в широкой черной рясе, колеблемой ветром, скользя и спотыкаясь, гигантским зловещим вороном всходит на плаху священник.

В руках его большой серебряный крест. Черный духовник протягивает осужденным свое малое орудье казни и смиренномудро предлагает им исповедаться в своих грехах, прежде чем предстать пред лик божий.

Достоевского передергивает. Представитель церкви, принимающий участие

¹⁾ «Фауст». Пер. Брюсова.

в обряде казни? Слуга христа, участвующий в общем деле с палачами? Священнослужитель с крестом в руке и евангельскими стихами на устах, содействующий убийству двадцати человек и наводящий богослужебный порядок на эту дикую процедуру массового расстрела?

Он с отвращением отвернулся от бордатового и длинноволосого человека в просторном до пят балахоне, крепко сжимавшего вытянутой рукой свой плоский серебряный брус, струя монотонную проповедь: «Обороцы греха есть смерть...» Насколько чище и праведнее показались в тот миг безмолвные солдаты выделенного взвода, которым предстояло через несколько мгновений разрядить свои ружья в живых людей.

«А что если бы христос, после восемнадцати веков, сошел теперь в Петербург на Семеновский плац, где вбиты столбы для расстрела, где вырыты ямы для трупов и двадцать человек, полных молодости, сил и нерастраченных дарований ждут своей незаслуженной смерти? Что сказал бы ему этот священник с распятым в руке? Что ответили бы все эти генералы, представляющие здесь, у плахи, благочестивейшего православного государя, вчера только подписавшего это двадцатикратное расстрелять? Вероятно за ключили бы в каземат Санкт-Петербургской крепости, а потом поставили бы у столба Семеновского плаца...»

И вот последний обряд — предсмертное переодевание. Тут же, на эшафоте, их летние плащи сменяют на просторные холщевые саваны с остроконечными капюшонами и длинными, почти до земли рукавами. Что это? Смирительные рубахи, маскарадные домино, рясы оперных заговорщиков?

Внезапно раздается с эшафота долгий, раскатистый и дерзкий хохот.

Все оборачиваются.

Трясаясь, словно от неудержимой спазмы, и как бы намеренно повышая с каждым приступом раскаты своего хохота, Петрашевский вызывающе взмывал своими клоунскими рукавами.

— Господа!.. (хохот душил его). Как мы должны быть... смешны в этих балахонах!..

Великий пропагатор остался верен себе. Эшафот огласил он хохотом, быть

может, стремясь в последний раз выразить свое презрение власти и одновременно пробудить бодрость в товарищах.

Они стоят все высокие, длинные, белоснежные, как призраки. Необычайная одежда колышется от ветра, лица полузакрыты спадающими капюшонами.

Их перестраивают по-трое. Он стоит во втором ряду. Раздается окрик распорядителя казни.

— Петрашевский!

— Момбелли!

— Григорьев!

Три белых призрака под конвоем взводных по вызову аудитора медленно сходят по скользким ступенькам помоста. Их привязывают веревками к трем серым столбам. Длинными руками смертной рубахи им скручивают за спину руки.

В окрестностях Чермашни бродил страшный разбойник Карп с винтом. Хотели его изловить и повесить. Беглый каторжник зарезал тьму народа, насловал малолетних, но так и гулял на воле, не даваясь властям. И вот теперь казнят Федора Достоевского за чтение письма Белинского к Гоголю...

Первая тройка привязана к столбам. Лицо Петрашевского спокойно, только глаза невероятно расширены. Он, казалось, смотрел вверх всего. Спокойно ждал, чтобы внешне произошло еще что-то. Голова его была печальна и прекрасна.

Лицо Момбелли было недвижно и бледно, как стена. Григорьев был словно весь исковеркан пыткой приближающегося конца. Перекошенное лицо его каменело в гримасе ужаса, глаза стеклятели, как у безумца. «Как это еще никто не догадался изобразить лицо приговоренного за минуту до удара гильотины?»

(Недавно — через пятнадцать лет — в одной из швейцарских галлерей — в Лозанне или Базеле? — он видел как раз такую картину. Как она называлась? Казнь офицера или смерть майора? Последняя ступень эшафота, бледная, словно кожа прокаженных, запрокинутая голова, синие губы у самого креста и уже неясно, сквозь дымку слабеющего сознания, складки пасторской мантии и позумент на кафтане палача. Перед полотном маленького европейского музея с мучительной отчетли-

востью возникли врезавшиеся навеки в память две омертвевших головы Семеновского плаца).

Три взвода солдат, предназначенных для исполнения приговора, отделяются от своих частей и под командой унтер-офицеров маршируют по намеченной линии — пять сажен впереди столбов. Перед каждым приговоренным устраиваются в одну линию пятнадцать гвардейских стрелков. Предстоящее совместное убийство как бы снимает с каждого отдельного исполнителя ответственность за кровопролитие.

Снова команда:

— Заряжай ружья...

Грохот затворов и шум шомполов.

— Колпаки надвинуть на глаза.

Скрываются под капюшонами изумленные глаза Петрашевского, бледная маска Момбелли, безумная гримаса Григорьева.

Но резким движением головы Петрашевский сбрасывает с лица белый колпак: «Не боюсь смотреть смерти прямо в глаза!..»

Сейчас прольется кровь. Затем очередь следующей тройки (конвойный уже подвел их к самому краю площадки). Остается жить две-три минуты... Вдруг вспомнилось: в Инженерном училище на лекции истории профессор Шульгин — искусный оратор, лектор-художник — изобразил как-то казнь Дю-Барри. Любовница короля, как мышь, испугалась смерти, заметалась, молила о пощаде, обливалась слезами, упиралась, билась, кричала, хватала за руки: «Господин палач, господин палач! молю вас, не делайте мне больно!» Тогда казалось — вот ужас, который тебя никогда не коснется. С тобою этого случиться не может. Как уверенно было это сознание! Казнить его, инженер-кондуктора верхнего класса Федора Достоевского? Да за что? Никогда! И вот этот неожиданный изворот вечно издевающейся жизни.

Снова воинская команда:

— На прицел!

Взвод солдат поднимает ружья. Дюжина стволов направлена в упор на грех привязанных к столбам.

Долгая пауза. Сейчас дюжина пуль вопьется в это тело, пронизет его, мгновенно и непоправимо изрешетит, разобьет вдребезги эту превосходную ма-

шину человеческого организма. И никакой декохт Цитмана уже не поможет.

Эта способность к дыханию, движению, сердцебиению, мышлению сразу померкнет в трех существах в бесповоротный момент односложной команды взводного командира: пли!

Что же она не раздается?

Резкий барабанный бой. Это тревога или отбой? Двенадцать ружей, взятых на прицел, подняты, как одно, стволами вверх. У столбов суета: отвязывают осужденных. Их снова взводят на пош-

И вот опять аудитор, с покрасневшим от мороза носом, прочитывает своим дребезжащим тенором новый приговор.

— Его величество по прочтении всеподданнейшего доклада... Вместо смертной казни... лишив всех прав состояния... в каторжную работу, в рудниках... без срока... в арестантские роты инженерного ведомства... рядовым в отдельный Кавказский корпус...

Вот снова разносится по Семеновскому плацу его знаменитое имя.

— Отставного инженер-поручика Федора Достоевского... в каторжную работу в крепостях на четыре года...

Какой-то тяжкий груз, словно ставший колом в груди, растворялся и возвращал блаженную и сладостную легкость бытия. Казалось, задержанное кровообращение получало снова свободу и обильно питало все ткани, наполняя тело новым ощущением полноты и великою силою жизненных возможностей. Ведь впереди еще десятилетия раздумий, фантазий, творческого труда... Сколько книг еще можно дать людям, сколько высказать заветных раздумий! Ведь перспектива будущего бесконечна. еще тридцать или сорок лет, — да ведь это почти бессмертье...

На эшафоте после аудитора, священника и палачей появляются кузнецы с массой брядающего железа. Помост вздрагивает от звонкого удара брошенного металла. Ноги Петрашевского заковывают в железные браслеты. Спокойный, презрительный и насмешливый, он сам помогает кузнецам. С лязгом бьют молотком по железу. Заклепывают кандалы.

К эшафоту под'езжает курьерская тройка.

— Согласно высочайшей воле, преступник Буташевич-Петрашевский прямо с места казни отправляется с жандармом и фельд'егерем в Сибирь.

— Я хочу проститься с моими товарищами, — заявил осужденный коменданту.

И вот тяжело, неуклюже, неумело, почти беспомощно, ступая спутанными ногами и пошатываясь в своих кандалах, Петрашевский обошел всех с поцелуями и прощальными словами. Огромные библейские глаза пылали негодованием.

— Не огорчайтесь, друзья. Пусть нас заковывают!.. Это драгоценное ожерелье, которое выработала нам мудрость Запада, дух века, всюду проникающий, а надела на нас торжественно любовь к человечеству...

И всех обняв, он медленно отошел в глубоким поклоном, под звон своих цепей, еще раз простился со всеми. Он словно просил у них прощения за свою невольную вину перед ними.

Его усадили в кибитку. Фельд'егерская тройка, с жандармом на облучке, взвилась, пронеслась и скрылась за поворотом.

Их вели обратно. Толпа медленно в молчаливо расходилась. Верховые в аксельбантами и белыми султанами на треуголках мчались во весь опор — с докладами в Зимний дворец. Гвардейские полки перестраивались для обратного марша. У самого площадного вала ребятишки играли в публичную казнь. Трех малышей привязывали к деревьям и выстраивали насупротив взвод подростков с ружьями: предстоял расстрел.

Баллада о барабанщике

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Крала баба грузди,
Крала баба грузди,
Крала баба бо-бы и го-рох.
Да в ковыле бобыли-то были,
Брали бабу на ку-рок.

барабана
вбарабанил
барабанщик
барабанный
бой!

Были бобыли-то,
Были бобыли-то,
Были бобыли-то
Злы, как бес:
Была баба в шубке,
Была баба в юбке,
Была баба в панталонах,
Стала без...

Дррроби рокот орлий
Поперхнулся в горле —
Думали померли
Бобыли:
Рухнули рядами
С траурными ртами
Подле голой дамы
(—) В пыли.

Вот
Ведь
Вид!

Хри.:
Храп.
Гроб!

Баба была ряба,
Но боялась баба.
«Эх, кабы хотя ба
Помог ба бог!»
Но заместо бога
Брел по эпохе
Паренек убогий —
В барабане бок.

Тут барабанщик
Бросил барабанчик,
Выйдя разобрать их
В короткий
Срок.
Бабе отдал шубку,
Бабе отдал юбку,
А бобылям-то бобы да горох.

Был он, паря, ранен
По-на поле брани,
Спал на барабане,
Пер на пункт.
Видит из кустов он
Кто-то арестован
Да не нашею командой —
Что такое? Бунт?
Эх!
Раз —
Два!
Сел против бражки,
Снял барабашку,
Сам себе scomандовал:
«Крой!»
В бурый бок
барабанной
перепонки

«Вы, — говорит, — баба,
Действовали слабо.
Выразился я ба:
«Анархицкая борьба».
Погоди, дуреха,
Ликвиднем царя-Гороха —
Трещи себе тогда горохом,
Как барабан!»

Барабаны в банте,
Славу барабаньте!
Барабарабаньте
Во весь. Свой. Раж.
НИ
в Поовансе,
НИ
в Брабанте,
Нет барабанщиков таких, как — **мы!**

Люди и факты

1. Иг. МАЛЕЕВ — Ковчег. 2. ПЕТР ВОРОБЬЕВ — Парафин белый.

1. КОВЧЕГ

Очерк о людях Саратовского комбайнстроя

Иг. Малеев

З апреля. От большой дороги нас отделяет частокол. Возвращаясь перед закатом (он сегодня безоблачный), я увидел на кольях пару сапог. Как горшки в украинских деревнях, сапоги надеты на колья, тянутся подметками к небу. Рядом, поджав под себя ноги, устроился на бревне Мирон Абрагин — старейший из землекопов строительства. Мирон все смотрит на сапоги, покореженные, бурые и истоптанные до того, что ни задников, ни каблуков на них не осталось.

Абрагин сам чинит казенную обувь, сам подбивает подковки, чего никогда не станет делать ни один сезонник. Комсомольцы нашего барака сперва ставили в пример прочим радивого землекопа. Да обожглись: Сенюшкин предложил Абрагину вызвать через газету свой барак на удлинение сроков носки обуви. Мирон страшно взволновался:

— Не лезь, молодой, пока ребра целы! Я сам шью, за свои деньги дратву покупаю, у вас не прошу. Значит моя выгода...

Когда приходит срок износа, Мирон отправляется в крытый рынок («скрытый рынок» на его диалекте) и за гроши покупает рванину — бледное подобие сапог. Взамен кладовщик выдает новую пару. Она тонет в бездонном Мироновом сундуке.

Абрагин уже немолод, многосемен, и хоть всю жизнь свою провел вне дома, на постройках железных дорог, шоссе и заводов, но звание крестьянина Ря-

занской губернии, Кадомской волости, села Распашного предпочитает всякому другому. Мирон рассказывал как-то о своем родителе и дядьях. Они были лесорубами и по кадомскому обычаю уходили в лес на год и на два. Там жили в одиночку среди медведей и на исходе лесного своего бытия сами превращались в существа звероподобные. Вернувшись домой, отец не мог вспомнить многих слов; он спрашивал, тыча пальцем в борону: «А как будет это?»... Несколько мелких ассигнаций, которые Абрагин отец получал от скупщика, пропивались в кабаке со случайными друзьями, в озлобленный дровосек, не простившись с семьей, снова на годы уходил в лес.

Может быть, этой среде Мирон обязав своей философией, построенной на недоверии ко всему и ко всем.

— А ты меня не оберешь? — непременно спросит он у нового соседа. — Так в есть — обиделся. Честный человек на это обижаться не станет.

Глубочайший индивидуалист, он верит только своему опыту и сомневается даже в существовании заграничных стран только потому, что сам в них не был. Когда наши комсомольцы развернули на столе карту обоих полушарий, Миров подошел сзади и усмехнулся:

— Карта? Я вам и не такую нарисую...

В отличие от большинства сезонников-крестьян он в бога не верит и утешения для себя в потустороннем мире не ждет. Скопидомство, безотчетная жажда

к стяжательству — вот несложные импульсы, которые заставляют Абрагина работать. Да и копит он без особенной страсти, по долгу, по обязанности, постоянно и вслух завидуя нищим:

— Вот райское-то житье!..

Пил и курил Абрагин только за чужой счет, но его перестали угощать после того, как однажды он продал за двугривенный поднесенную ему рюмку водки. На обед Мирон не тратится, предпочитая доедать то, что оставляют рабочие в мисках.

— Погоди уносить, — строго прикрикивает он на уборщицу. — Поставь миску, я еще не поел.

Моется он часто, но никогда не упреждает мыла; пайки за все время хороются в сундуке. Об этом сундуке стоит порассказать. Он крепок, тяжел и обит со всех сторон железными лоскутьями разных цветов и достоинств. У кровельщиков на постройке подбирает Мирон куски жести и тащит в барак прибивать. Ребята, заметив за ним эту слабость, стали приносить целые груды железок. Абрагин не понял насмешки и аккуратно прибивал все лоскутья. Только ржавые и явно недоброкачественные возвращались подателю:

— Что ж ты мне сунул? Думаешь — не вижу, думаешь, я враг своему добру?.. Ой, воры-человеки!

Как терпят этого старика в общежитии? Может быть, тому причиной случайный и разношерстный состав жильцов. Ведь тут — вавилон привычек, воспитаний, образа мыслей и характеров. Сенюшкин — бригадир и кандидат в партию, комсомольцы Коля Животовский и Рутенберг думают иначе, чем пожилые и всегда сонные крестьяне — Федотов и Арсентий, фамилию которого никто не знает. Дмитрий Петрович Дзюба — астраханский рыбак — ничем не похож на Рябова и Сеню — подростков, в прошлом году кончивших семилетку. А демобилизованного артиллериста Ковальчука трудно упрекнуть в общности интересов с Лавриком, переменившим за свою жизнь десятки фабрик, заводов и контор под всеми широтами нашей родины...

Многое прощается Абрагину и потому, что работник он умелый. Этот узкогрудый человек, костистый и малопо-

движный, умудрялся за день выкопать чортову пропасть земли, побивая все рекорды на строительстве.

Сегодня днем я наблюдал Мирона в канализационной траншее. Час прошел, а он ни на секунду не прервал работы. Хоть бы поправил сбившийся картуз, вытер лоб или разогнул спину! Озлобленный, иступленный какой-то труд. Точно с досады ковыряет Мирон землю.

Молодому парню невтерпеж от такого соседства:

— Вот скукота! Или ты на хронометр работаешь?

Между двумя взмахами лопаты откликнулся Абрагин:

— Плевал я на вас всех — и на тебя, и на хронометр. Мы на красенькую работаем. Понял, жучок?

Мне рассказывали, что года полтора назад заводские организации премировали Абрагина серебряным жетоном и грамотой. В ближайший же свободный день он отнес жетон к ювелиру, а грамоту бросил в жалобный ящик ЦРК...

...Солнце уходит за горизонт заметными рывками, как минутная стрелка на вокзальных часах. Недолгие сумерки. Дрожащая лампочка в окне одолевает последний отблеск солнца. Светлый прямоугольник с переборками рам возникает из лужи, вплотную примкнувшей к бараку. Явственной журчат в овраге талые воды; прежде их заглушали птицы. На каланче мелькнул фонарь, — тусклый маяк, который однако сразу дает представление о топографии строительства.

Сапоги Мирона Абрагина просохли. Он легко и бесшумно идет по суковатому бревну, только изредка балансируя руками, в каждой из которых — сапог. Тогда он представляется четвероногим, настолько впрочем дрессированным, что без посторонней помощи может открыть дверь. Бутылка с песком поднялась на блоке. Обрывкам нескольких фраз поспасливилось прорваться сквозь щель, но тотчас же они были сердито прихлопнуты дверью.

Через окно я вижу восторженную тень. По кратчайшей линии она направляется в свою берлогу.

5 апреля. В дальнем углу барака, за печью, потрескавшейся и грязной, стоит стол. На рассвете рабочие запи-

вают здесь кипятком черствый хлеб, а теперь, после ужина, стол занял Сенюшкин с компанией.

В нашем бараке с недавних пор работает кружок по овладению техникой. Известная сталинская речь была быстро подхвачена на Комбайнстрое, и сейчас таких кружков организовано около тридцати.

Специальности у кружковцев самые различные: Сенюшкин — кладчик водопроводных труб, Рутенберг и Осипович — бетонщики, Животовский — землекоп, а Рябов — ученик электромонтера. Черная схема комбайна «холт 36» собралась вокруг стола эту разношерстную публику. Один из помощников инженера Середы — руководитель кружка — рассказывает, не торопясь, об устройстве молотилки:

— Транспортер и битек подают хлеб к барабану... Животовский, покажи, где барабан... Правильно... Ну, а барабан захватывает колосья зубьями... Смотрите сюда.

Смотрят, записывают в тетради из оборточной бумаги.

По обыкновению Осипович не удержался от вопроса:

— И что же, зерно отделяется от соломы?

— Частично да, но не совсем.

— Тю, тоже машина. Разве нельзя так сделать, чтобы в один раз.

Руководитель обижен непочтительным отзывом о предмете его преподавания:

— Ты и изобретай, чтобы в один раз. Другие пока не додумались.

Сверх ожиданий Осипович удовлетворяется таким ответом. Осипович кивает головой в знак согласия взять на себя это поручение...

Водопроводчик, бетонщики, чернорабочие объединены одной целью: к пуску завода стать металлстами. Эти ребята, недурно зарабатывающие на стройке, готовы мириться с грошовым окладом, который установлен для первого разряда. Ведь до сих пор еще строитель, желающий осесть на заводе, желающий стать металлстом, вынужден пройти через карантин лишений и невзгод. Нелепо это конечно но для того, чтобы стать слесарем, землекоп должен подтянуть живот, должен отказывать себе в самом необходимом.

Что Арсентию с Федотовым, а наипаче Миرونу говорит название «Комбайнстрой»? Для них это только географический термин, почтовый адрес... На первом же занятии кружка к столу подошел, было, Арсентий. Ребята раздвинулись, освобождая ему место. Однако, не дождавшись, пока руководитель кивчит фразу, он кивнул на чертеж:

— Это что?

— Комбайн.

— Не походит. Где контора?

— Да, нет! Комбайн, это — машина.

— Какая там машина! Завод, а не машина.

На другой день Сенюшкин битых два часа втямшивал Арсентию, что действительно существует в природе такая машина — комбайн. Арсентий слушал с нескрываемой скукой, а в конце потребовал себе папиросу в качестве компенсации за потерянное время...

Сегодня разговорились с сиделицей гизовского киоска. Она собирается вернуться на склад два ящика книг Арцибашева — «Комбайн». Не покупают их. За два месяца разошлось всего двенадцать экземпляров.

Покуда-что здесь говорят о замесах, катанке, кладке кирпича. Комбайн же продолжает оставаться для одних далеким идеалом, иллюзорным фетишем, ради которого наворочены груды песка, гальки и цемента, для других — пустым местом. Даже в фабзавуче, где теории уделено много часов, комбайна не знают. Тут есть недурные коллекции мннералов, гербарии, собрания бабочек, но нет ни одного учебного комбайна, ни одной модели или подробной схемы. Для комсомольцев будущего завода тоже неясно. Секретарь ячейки Кузнецов не мог рассказать мне хоть сколько-нибудь удовлетворительно, как спроектирован завод, какие части будут производить отдельные цехи и какой комбайн принят здесь в качестве стандарта. Стены обгоняют мысль их творцов. Стены закончены, но психологическая инерция держит людей в плену цемента и бетона. Люди не подготовлены к чудесному превращению Комбайнстроя в завод комбайнов. Вот почему так важна работа, начатая за сосновым столом в бараке № 16...

Сегодня руководитель объявил, что через неделю-другую весь кружок переведут на постоянную работу в цех, где сейчас строятся пробные комбайны. Это было сказано к концу занятий,— время шло к полуночи,— и я увидел, что Ковальчук быстро поднял голову с подушки.

Наш «отставной артиллерист» (авторство этого прозвища принадлежит Лаврику) не занимается в кружке по причинам совсем необычным.

Двадцати одного года от роду Ковальчук — сын бедняка — был отправлен в часть. Преодолев робость, он в первый же день спросил батарейного командира, кто здесь пасет лошадей и нельзя ли ему в ночное. Этим однако и кончились курьезы его армейской жизни. Ковальчук оказался человеком толковым, в два месяца одолел грамоту и, поднимаясь по ступенькам батарейной иерархии, был назначен наводчиком. В этом звании он демобилизовался. В родном селе Ковальчук застал сплошной колхоз с посевной площадью в несколько сот гектаров. Осенью оказалось, что артельных сил для уборки урожая нехватит. Обратились за помощью в совхоз, и оттуда был прислан на подмогу комбайн «оливер». Трудно сказать, по каким причинам: то ли пшеница полегла, то ли от влажности, а может быть, и комбайнер оказался неопытным, но машина сыграла плохую шутку с колхозниками.

— Что бы покороче сказать, — начисто все спортила. Колос давит, рвет, половину зерна с соломой выбрасывает, Киев без красного обоза оставляет... Убивать за такие машины!

И надо было случиться, чтобы после такой истории Ковальчук попал на строительство завода комбайнов.

Его заботам поручают камнедробилку. Через два дня на собрании своей бригады Ковальчук внес резолюцию. Он предлагал «отменить комбайны, как вредительство классового врага—агентуры французских империалистов, желающих посадить Союз ССР на двести и меньше грамм хлеба в сутки». Когда предложение это не нашло сочувствующих в бригаде. Ковальчук обратился в краевой партийный комитет и даже во ВЦИК. Из всех этих высоких органов Ковальчуку же отвечали, но как бы невзначай

в барак № 16 стали заходить то техник, то культработник из завкома. Они приносили с собой папки с чертежами, журналы и беседовали с Ковальчуком о комбайне. Тот охотно выслушивал объяснения, кивал головой, повторяя специальные термины, но в заключение говорил неизменно:

— Битер, барабан. Это все хорошо. Но почему он колос подминает, почему зерно гадит, это ты мне не сказал и сказать не можешь...

Убеждения Ковальчука несколько пошатнулись после того, как Животовский—член бюро шефобщества— отвез его в колхоз и показал в работе холтовский комбайн. Машина действовала отлично, без перебоев. Гусеничный «кэтерпилер» шел все время на третьей скорости, и в течение часа комбайн убрал урожай с двух гектаров. Возвращаясь домой, Ковальчук говорил в раздумьи своему спутнику:

— Холт, кажись, другой человек...

В кружок по изучению комбайна Ковальчук не вступал, хотя прислушивался очень внимательно ко всему, что говорилось за столом. Особенное впечатление произвели на него письма колхозников с восторженными отзывами о работе комбайна, которые руководитель прочел намеренно громко. Наконец перспектива остаться на заводе взяла верх над последними сомнениями.

Ковальчук поднялся на локтях и, шурясь от света, сказал руководителю:

— Я желаю в кружок.

Руководитель старательно подавил радостную улыбку и в свою очередь обратился к артиллеристу:

— Но ты, кажется, против комбайнов.

— Я против оливера, а холт, пожалуй, ничего.

— Потом в занятиях ты от кружка отстал.

— Будь спокоен. Все начисто слушал. Можешь экзамен сделать.

— Ну, ладно. Приходи завтра в мастерские.

— Добре.

И без лишних слов Ковальчук уронил голову на подушку. Через минуту он дышал ровно и не отгонял мухи, чесавшей лапки у него на щеке.

Переговариваясь негромко, раздеваются кружковцы. Из газеты Коля делает

ширму для лампы. Погасить ее нельзя; еще не вернулись из кино Лаврик и Дзюба. В своем углу храпит Мирон не по-обычному как-то — через разные промежутки времени. Широко раскинув руки, спит Арсентий рядом с Федотовым. Они сдвинули вплотную койки, хотя в бараке много свободного места.

Уже лежа в постели, Сенюшкин докуривает скрутку. Докуривая, говорит мне:

— Ставили сегодня краны в бане... Кончил я в общей, захожу в парную. А там наш Арсентий полки стругает. Присмотрелся — работа никудышняя. Халтура. Говорю ему: «Арсентий, стругай лучше, от такой работы задницу занозить легко. Ведь на себя баню строим». А он, знаешь, как ответил: «Для себя? Нет. Для себя я бы и вовсе стругать не стал. Для меня и неструганная хороша».

8 апреля. Рутенберг, аккуратный немец, обнаружил нынче утром на воротнике своей рубахи вошь. Сброшенная на газету, она беспомощно шевелила лапками, с трудом пересекая абзац из обзора печати.

Свою находку Рутенберг положил на стол, за которым завтракали жители нашего барака. Лаврик заметил ее прежде других:

— О, блондинка! Сколько лет!?

— Не сдуй ее носом,—погрозил Дзюба. Это племенная, чистых кровей.

— Уберите ее к свиньям! Противно смотреть.

— Минуточку, товарищи, обсудим,—с ненужной торжественностью провозглашает Сенюшкин, закрыв вошь ладонью.

Стали обсуждать блондинку.

— Это, Федотов, ваша с Арсентием вошь. Это по вас они сотнями ползают. Сколько раз мы вам говорили в баню ходить. А вы в ЗРК рубахи получаете, кальсоны и рубахи по букве «А» берете и на базар к спекулянтской брашке относите. Белье на базар, а сами во вшах... От вши сыпняк бывает.

— Теперь сыпняка нету,—уныло отпарировал Арсентий.—А за спекулянта ты ответить можешь.

— А кто за насекомое ответит? — спросил Рутенберг, но не Арсентия, а Колю.

— Спокойно! Есть предложение объявить товарищей сходить в баню.

— Два раза под ряд!..

— Поправки потом... Сходить в баню, а старосте (Сенюшкин ткнул пальцем себе в грудь) предложить вызвать дезинфектора.

Молчавший до тех пор Мирон Абрагин поднялся со своего места.

— Не дам изводить вещи вашим газом. Чортовы баре, вши испугались! Она покусает легонько, а вот вы всю душу изгрызете. За что на мужиков насели?

Дзюба затянулся трубкой, отчего в мундштуке заклокотало, и сел поудобней. Дзюба охотник до соленых разговоров.

— Каждой вошью попрекнуть рады,—повысил голос Арсентий. А знаешь ты, что вошь потом себя кормит.

Артиллериста скривило, как от зубной боли:

— Скорей брось языком трепать! В баню ходить надо, об этом и весь разговор. В армии на каждые четырнадцать сутки красноармеец в баню ходит. Пара белья, кусок мыла и отдельная шайка. Чистый, как ручник, хоть сейчас на икону вешай.

Лаврик, как всегда, сбивается на юродство:

— Вернуть им вошь под росписку и все дело.

— Нет, мы их извести заставим!

— Заставляя своего батьку!..

...Где-то вблизи зарычала сирена. Пора на работу. Нехотя поднялись, отыскивая картузы. Перед тем как уйти Мирон собрал в жменю крошки со всего стола и отправил их к себе в рот.

Хлюпая по чернозему, уже около контрольной будки Дзюбу догнал Федотов:

— У вас, Дмитрий Петрович, лишнего талона в баню не найдется? А то, в самом деле, некрасиво, когда вошь заедает.

— Талончик дам. А только жаль, что ребята договорить не успели...

Действительно Дзюба опечален этим обстоятельством. Он любит молча послушать людей, как будто коллекционируя их мнения, без назойливости иногда подзадорит спорщиков, избегая становиться открыто на чью-либо сторону.

Дмитрий Петрович—видный мужчина: широк, силен, и ноги его в высоких ботфортах, пахнувших жиром, не по годам стройны. Он одет неизменно в моряц-

кий бушлат, а седеющую голову покрывает капитанка с блестящим козырьком и в грязном чехле.

Дзюба пришел сюда с рыбных промыслов и попросился в столяры. Почему пришел, об этом не спрашивались, а, испытав на работе, назначили ставку по шестому разряду и отвели койку в бараке. Дмитрий Петрович стал мастерить шкафы для конторы. Я их видел. В проектном бюро — голубой, с резными дверцами и виньеткой наверху в форме грифа. У главного инженера — солидный, под дуб, с тщательно вырезанным лозунгом на фронтоне: «Учиться, учиться, учиться. (Ленин)». Но особенно доволен Дзюба пузатенькой шифоньеркой, что стоит сейчас в машинном бюро; на ее дверцах изображен шпич перед кустом малины...

Дня три назад на Волге стоял ледолом. Издалека доносились к нам глухие скрипы, рев ветра и треск, подавленный пространством. Дзюба беспокойно метался от окна к окну:

— Эх, сейчас бы только снасть в порядок! Скоро закидывать на красную...

— А вы почему, Дмитрий Петрович, от реки ушли?

— Двадцать лет при ней находился неотлучно, а вот — ушел. Двадцать лет красную рыбу ловил — семгу, стерлядей. Коптили балык, икру присаливали; икра, как дробь номер сорок три! ну, и тешку резали. Ниже осетра Дзюба не опускался. Была у нас на троих братьев шаланда. Веселенькая. В память покойного Петра Афанасьевича «Любезный отец» называлась. Выходили на ней с самоловами... К берегу гребешь — любо на паёлы смотреть: бьются стерляди с белугами вперемешку, севрюга на солнце чешуей играет... Так... А в прошлом году попросили нас в колхоз. Я не против. Пожалуйста. Чем больше людей, тем жить приятней. Становлюсь в организованные ряды и сдаю «Любезного отца». Зашпаклевал его перед сдачей, вымыл, — куколка. Проходят дня три, и вижу «Любезный отец» вовсе как бы и не существует: перекрасили его в серый цвет на один манер с другими лодками, а на носу вместо названия — номер. Извели шаланду! Но я набрал воздуха в рот и терплю... Когда через день подходит ко мне выборный председатель:

«Вы, Дмитрий Петрович, возьмите людей по наряду и выходите завтра с закидным неводом». — «Что ж я в закидной невод ловить буду?» — «Судака». Ну, тут мое колхозное житье и кончилось. — Ухожу, сказал я братьям, Дзюба живой о судака рук не измарает. Судака — не рыба, соленый он или заливной... Попрощались. С первым рейсом поднялся в Саратов... Хорошо, что жизнь по пристаням научила меня столярить...

Таков Дзюба. По-разному его здесь толкуют. Иным он представляется человеком развращенным большими заработками, которые сулит красная рыба. Нравы старателей, говорят, крепки еще на промыслах, и к судаку с воблой относятся с неприязнью. Недаром белугу в Астрахани называют «кощельком», а судака — «полушкой»... Но, может быть (и я склоняюсь к этому мнению), Дзюба одинокий мастер, чьи таланты не поднимаются над средним уровнем. Корысти в нем нет, но смежное качество — субъективизм — царствует в его голове. Дзюба навязывает обществу шпича с малиновым кустом и презирает воблу, не раз вызволявшую в трудную минуту нашу революцию... Сторонний наблюдатель, мастер для мастерства, лакомка в жизни, для которого пять органов чувств единственный оценщик мира и людей.

После обеда Дзюба жаловался мне:

— Опять себестоимость! Ну, что ты будешь с ними делать? Каждую копейку считают. А теперь еще каким-то хозрасчетом крыть стали.

Из расспросов выясняется, что Дзюбе поручили сделать большой шкаф для библиотеки. ТНБ назначило сроки, мастер определил количество матерьяла. Однако вместо шести рабочих дней Дзюба провозился над шкафом три недели и матерьялов затратил в два раза выше нормы.

— Зато какой шкаф! На тридцать лет его хватит.

Сенюшкин ввязался в разговор. С шутливым поклоном он склонился перед Дзюбой:

— Спасибо, удружил. Заводуправление требует от культкомиссии четырехста рублей за твой шкаф.

Лицо астраханца становится почти надменным:

— Только четыреста? Мало. Он до-роже стоит.

— Вот человек! Четыреста рублей ему мало. У нас по смете на всю культ-работу триста семьдесят пять осталось. Отдадим за шкаф, а на книги — шиш с прованским маслом? Что ж мы со шка-фом твоим делать будем? Для украше-ния, для мебели его ставить?..

— А хотя бы и так, — невозмутим Дзюба. — Разве плохое украшение?

12 апреля. Дорогу совсем развез-ло. Мост через овраг построен как буд-то для того, чтобы соединить две ог-ромные лужи. Пробраться в контору можно, только спустившись в овраг. Я скольжу по крутому склону, цепляясь за прошлогодний бурьян. Это утомительное занятие, и, спустившись на дно, я по-зволяю себе минутный отдых в густых зарослях шиповника. Журчит мутный ручей, ранние птицы тревожат ветки, но за всем этим отчетливо слышны чело-веческие голоса. Стоило мне сделать несколько шагов, и сквозь просеку на том берегу я увидел людей. Их двое. Одного, в черной спецовке, узнать не-трудно; это — Рябов, самый младший из жильцов нашего барака. Его собеседник в опрятном шевитовом костюме, фетро-вой шляпе и в глубоких калошах.

На крутом берегу ручья беседуют Ря-бовы — отец и сын. Первые же фразы, долетевшие оттуда, не оставляют на этот счет сомнений.

Рябов старший требует от сына, что-бы тот вернулся в лоно семьи и посту-пил в индустриальный техникум. Рябов старший распространяется о тлетвор-ном влиянии барака, заклинает именем матери и наконец решается высказать ужасное подозрение:

— А ты не начал курить?

Сын пробует говорить о привлека-тельных сторонах своей новой жизни: добрых товарищеских отношениях на работе и в ячейке, производственных успехах, клубном драмкружке. Отец слушает его плохо.

— Воду вы пьете конечно из общих кружек? Гарантирую тебе люэс.

Сын рассказывает о субботнике, о том, что он свободно перетаскивает пя-типудовые мешки.

— Интересно знать, белье вам когда-нибудь меняют?

— Вчера мы с мастером проводили арматуру в инструментальном цехе. За шесть часов я поставил сто девяносто роликов.

— В «Известиях» было напечатано о том, что клопы распространяют инфек-цию волчанки.

Еще несколько таких реплик, и моло-дой Рябов поднялся.

— Бежишь от отца?!

— Ничего не бегу. Дел у меня много.

— Ах, дел! Тогда прощайте, госпо-дин самостоятельный человек.

Огугуженные брюки смешно топор-щатся в коленях. Отец приседает с теа-тральным жестом, но, так и не закончив его, лезет в карман за бумажным сверт-ком.

— Возьми. Это тебе от матери.

Молодой Рябов берет пакет без колебаний. Я наблюдаю из своего убе-жища, как эти люди карабкаются по разным склонам. Калоши старшего вязнут, пальто волочится по грязи. Го-лосом, прерывающимся от одышки, он кричит сыну:

— В следующую пятницу ты име-нинник. Мать затевает яблочный пирог, твой любимый. Приходи.

— Хо, шо, только я не знаю, когда пятница...

Очень не ново? Да, конечно. В сущ-ности это заигранный отрывок из веч-ной драмы отцов и детей...

В конторе я развернул свежий номер краевой газеты. На третьей странице помещен портрет Рябова-отца. Под-пись под ним: «Инженер-энтузиаст. Один из первых ударников тов. Рябов много сделал для досрочной установки кессонов на постройке волжского моста. Тов. Рябов подал заявление о приеме в ВКП(б)...»

Уже в сумерки пробираюсь к бараку по безлюдному пустырю. В самом его центре вербы образовали беседку. Ме-жду стволами разглядел знакомую фи-гурку Ковальчука. В слесарных учеб-никах печатают штриховые фигурки с наставлением: «Так надо стоять у станка». Именно в этой академической позе стоит Ковальчук рядом с соору-жением, отдаленно напоминающим ти-ски: к двум стволам параллельно земле прибита доска, а на ней закреплен же-лезный брусок.

— Упражняешься?

Артиллерист смутился и опустил напильник.

— Немного... Темнеет теперь поздно.

— Он посмотрел на запад. — А с утра быть ветру...

— Что ж тебе в мастерских тесно?

— Зачем тесно? Только в мастерских два часа поработал, и домой. На долгие остаться охрана не позволяет... А тут валяй, пока глаз видит.

Ковальчук сурово разглядывал то одну, то другую свою ногу. Он занял перед тисками подобающую позицию.

— Мне самое главное приучится без нажима работать, руки в согласованности держать.

Несколько раз он погладил напильником по бруску, прислушиваясь к звукам, как музыкант настраивающий свою скрипку.

— А ведь когда-нибудь буду уметь...

— Пойдем домой, туман садится.

Ковальчук спрятал напильник в голенище (чего не сделает слесарь), и мы отправились к освещенным окнам барака.

Народ разбрелся. Только в дальнем углу беседовали Абрагин с Дзюбой. Последнему, видно, в тягость это общество.

— Артиллерия, иди сюда... Сегодня нас с Мироном опозорили. Мне выговор в приказе за себестоимость, а он на заем не подписался и на черной доске висит.

Абрагин хмыкнул в бороду презрительно:

— Опозорили! уж ты скажешь, Дмитрий Петрович. Разве так людей позорят? Вот кабы я дал себя обокрасть, тогда другое дело. Тогда мне позор, как дураку полагается. А сегодня я в деньгах отказал. Хоть кому, — в долг не даю.

— Сволочь ты, МIRON, — сказал Ковальчук спокойно. — Я сам тебе одалживал.

— Дурак, что одалживал, — ответ преисполнен сочувствия и укоризны. — Фактический дурак.

Дзюба в сердцах теребит ремешки на ботфортах:

— Как же ты после черной доски здесь останешься?

— Так и останусь. Смекай: у Сенюш-

кина месячный заработок берут, — он на красной доске; у меня ничего не берут, — я на черной. Какая ж доска счастливей? Выходит, что черная: денег моих не отнимает. Совсем безвредная доска.

Еще прежде, чем Абрагин кончил, Дзюба коротко взмахнул рукой и отвернулся, утопив во рту мундштук своей трубки.

— Видал, Ковальчук, шкуру? Ничто его не проймет. А я как с выговором здесь не останусь. Уйду.

— Куда от себя уйдешь, Дмитрий Петрович, — возразил Ковальчук, невольно впадая в нравоучительный тон. — Выговор ты схватил за дело. Государственное добро зря не переводи. Вот и работай, как от всех требуется: строго по нормам и по заданию.

Заспорили. Дзюба кричал, что нормы и стандарты руки ему связывают. Он закатал при этом левый рукав, скрывавший татуированный портрет Степана Разина. Ковальчук же пространно говорил о дисциплине, общих интересах коллектива и о том, что у них в части «за такие штуки прямой шлях на гауптвахту».

— Все люди работать разучились, вот что я скажу.

— А ты работать с людьми никогда не умел.

Стороны друг друга не убедили и дискуссия закончилась заявлением Дзюбы:

— Завтра беру расчет.

16 апреля. — Скипидаром им задницы натерли, вот они и прыгают. — Так пояснял Миром Абрагин Федотову. Они всматривались сквозь пропыленное стекло на улицу. Подошел и я.

За окном, согнув спину и опершись руками в колено, стоит Животовский.

— Голову в карман! — и Рябов, поднимая тучи пыли, прыгает через подставленную спину. За ним — Ковальчук, Осипович, Рутенберг и Сенюшкин. Вся эта компания через минуту вваливается в барак.

— От самой проходной чехарду ведем!..

Чтобы как-нибудь оправдать свое участие в детской забаве, Сенюшкин объявляет поспешно:

— Это мы комсомольцев поздравляем со вторым разрядом.

Сегодня кружковцы сдавали пробу в ремонтно-механическом цехе. Три дня, предшествовавшие этому событию, прошли в неустанных повторениях и советах со сведущими людьми. До покраснения глаз зубрили: вечером и ночью, на заре.

Ковальчук в учебник заглядывал редко, но зато все свободное время проводил в мастерских, часами следя за опытным слесарем. Иногда он отходил в сторону, чтобы ударить воображаемым молотком по несуществующему зубилу, желая воспроизвести искусный жест мастера.

Сенюшкин—слесарь-водопроводчик — к пробе не готовился вовсе, полагаясь на свои знания и опыт.

Разбредясь по койкам, делились впечатлениями дня. Особенно важничал Осипович:

— Цанто дал мне нарезать гайку. Выдвигает он ящик и говорит: «Выбирай». А ящик-то с клуппами. Понимаете, это он мне клупп для внутренней резьбы предлагает! Хотел купить. Но я не подгадил и кричу ему: «Товарищ Цанто, клуппы своим деткам на цацки примите, а мне метчик нужен...»

Прежде чем лечь, Ковальчук аккуратно разостлал газету в ногах.

— А ты, Рябой, учить меня собрался?

Действительно Рябов оскандалился, предложив Ковальчику за него отшарбовать поверхность. Ковальчук от такой производственной шаргалки отказался, и сам налег на шабер. Задание он выполнил настолько удачно, что был зачислен комиссией в третий разряд, тогда как Рябову дали только второй.

— Гимназические штучки свои ты оставь. За это и в школе теперь не хвалят, — поучает Сенюшкин. Рябову не до возражений; он покраснел, насупился, досадуя на себя.

Иные добродетели давно стали пороками.

Коля Животовский вернул всем хорошее настроение. Он набрался смелости и прочел из толстой тетради стихи собственного сочинения. «Песней землекопа» назывались эти стихи.

Я землекоп и землю рою,
Скрипи, лопатушка, скрипи.
Мы ведь, железная, с тобою
Союз трудящихся крепим.

Летает в тачку ком за комом,
Рука не думает устать,
А твердый грунт возьмем мы ломом,—
Нам к сроку нужно поспевать.

Я под фундамент землю рою.
— Фундамент ляжет хорошо!
Отсюда скорою порою
Пойдут комбайны на село.

Иду так быстреею копать, лопата,
Врезаясь в землю, несную пой,
Настанет время, я ребятам
Скажу, что строил Комбайнстрой.

— Это прошлогодние стихи, — тотчас пояснил автор, — теперь пишу стихотворение «Новый металлист».

Вспоминаю Лопухина из «Что делать?» Это ему принадлежит счастливая мысль: «Я останусь врачом до тех пор, пока буду убежден, что героическая симфония Бетховена посвящена людям моей профессии, а коль скоро усомнюсь, поищу новой работы, которая вернет это убеждение»:

Я радуюсь людям, пусть наивно и неуклюже, доказывающим превосходство своих профессий над всеми остальными. Чтобы работать по-настоящему хорошо, необходимо такое заблуждение...

За год Коля переменял три специальности, успев быть ярким патриотом каждой из них. Он рос с быстротой своего цеха, закладывая фундамент, возводя стены и теперь, в период монтажа, готовясь стать металлистом. Мирон Абрагин всю жизнь свою отдал лопате. Коля Животовский написал о ней восторженные стихи и через месяц был в бригаде бетонщиков. Тридцати дней оказалось достаточным, чтобы Коля перерос лопату. Так же быстро он изменил бригаде с кружком металлистов, и, кто знает, может быть, сегодняшний слесарь уже облюбовал себе токарный станок?..

У нас принято почитать за добродетель человека, который неизменно работает в какой-нибудь узкой области. Разве не сильно звучит: «слесарь с двадцатилетним стажем». Но, уважая двадцатилетние труды, стоит пожалеть о человеке, чья биография укладывается между первым и шестым разрядом

гарифной сетки, чья жизнь отмечена более или менее точными ударами молотка по зубилу. Маркс предсказывал:

«замену частичного индивидуума, представляющего собой лишь орган для узкой общественной функции, индивидуумом, вполне развитым, для которого различные специальности являются сменяющимися друг друга формами деятельности... для которого труд из тяжелой обязанности превратился в удовольствие».

Поколение Животовского носит на себе первые черты такого «развитого индивидуума». В условиях наших заводов они проявятся еще резче. Ведь субъективные интересы Коли отнюдь не противоречат планам строительства, а, наоборот, совпадают с ними.

Сегодня проводили Дмитрия Петровича Дзюбу. Погиб он для нас в результате столкновения общественных норм с ремесленными навыками мастера-одиночки. Хозяйственная целесообразность преградила путь человеку, который хотел свободно шествовать по всем путям, открывающимся его собственным характером.

Пришлось свернуть в сторону.

Дзюба едет к родственникам в Арзамас. Там он откроет кустарную мастерскую по производству мебели.

— Я кресло одно задумал — с круглой спинкой и мягким сидением, которое держится на четырех ремнях. Ручки — дубовые с медными накладками. В виде львов эти накладки. А львы держат в зубах красные кисти...

Ковальчук втайне сожалеет о дзюбином отъезде. Он ворчлив и глядит исподлобья:

— Кресло со львами? Сомнительное кресло. Тебе, вольному гражданину, дуб не отпустят...

Лаврик — единственный, кто одобрил решение Дзюбы. В последние дни он покороше сошелся с Дмитрием Петровичем, всячески поддерживая в нем дух бодрости:

— Поезжай, старик, устраивайся. Это дело специально для тебя придумано. Стругай в свое удовольствие. Рыба ищет, где глубже. А устроишься — мне открыточку опусти. Я, может быть, в

Арзамас приеду к тебе в подмастерья. Сяду и приеду. У нас весь род на подьем легкий. Вот прадед; под Гомелем прадед жил, пятьдесят лет в земле ковырялся, а потом решил разбогатеть. Обил прадед телегу железом, налил водой, напустил болотных пьявок чортову тучу и повез это добро продавать в Питер. К осени доехал: «Кому свежих, живых пьявок?!» Парикмахеры с руками оторвали по двугривенному за штуку. Небольшую партию даже царский лекарь купил. Отправился прадед назад; на передке — табличка «Поставщик двора его императорского величества», а в телеге — пиво. Только до Бобруйска пива хватило: у старика дорогой страшная жажда разыгралась... Лет через двадцать с пьявками уже дед поехал. Но в это время была проведена железная дорога, и больше чем по копейке за пару пьявок деду не дали. Прогорел дед. С горя пошел в мастеровые. У Путилова работал, на Балтийском работал, у Неймана работал, — отовсюду за пьянку прогоняли... А умер в богадельне... Вот какое у нас дерево. Я, если считать от самой войны, шестнадцать мест переменял. Был слесарем, каменщиком, матросом, реквизиционером при театральной труппе поарма 12, шофером, забойщиком, конторщиком второго разряда, кочегаром при Сандуновских банях, ремонтным мастером на текстильной фабрике, вагоновожатым. Ну, а теперь попал сюда, на скучное житье. К концу месяца сорвусь или к тебе, или в Москву — на такси ездить. Богатое дело!..

Веселый дилетант, бродяга со многими паспортами, с целой коллекцией профсоюзных билетов; никогда и ничем всерьез не увлекшийся, он меняет профессии из холодного любопытства. Лаврик все перепробовал, ни на чем не остановился, но зато приобрел ряд универсальных навыков, которые позволяют теперь на безлюдьи орудовать во многих областях. И он порхает с места на место, привлеченный то деньгами, то легкостью работы, то привольным житьем...

...Коля помог Дмитрию Петровичу затянуть ремни чемодана, аккуратно сшитого из брезента, некогда служившего парусом.

Барак привык к встречам и расставаниям. В сутолоке текущих разговоров Дзюба взялся за свою капитанку и так глубоко надвинул ее на лоб, что даже брови ушли под козырек.

— Прощайте, граждане, не поминайте лихом.

Мне показалось, что Ковальчук расслышал это приветствие. Он покраснел, но не обернулся, продолжая нарочито громко свой разговор с Федотовым.

Сенюшкин, чистивший пиджак на дороге, посторонился:

— Прощай, Дзюба. Кроме бухгалтера, никто тебя лихом не помянет.

— Мы теперь все бухгалтера,— заметил Коля, вскидывая чемодан на дзюбин горб. Лаврик вызвался провезать Дмитрия Петровича. По этому случаю он надел желтые туфли и брюки в полосу, отутюженные под матрацем.

Абрагин прощался по-своему:

— Пропадешь, Дзюба. Налоги тебя погубят.

Из-под чемодана сильный голос:

— Ворон закаркал?

Миرون утвердительно кивает головой:

— Так и есть — ворон! Только ворон над падалью каркает...

...Пустырь, убранный солнцем и дождями в молодую зелень, пересекают двое. Их длинные тени то ползут на холмы, то скрываются за кочками, как хедер нелепейшего комбайна, которым вздумали убирать репей.

У ограды из колючей проволоки, порванной однако во многих местах, у столба с надписью: «здесь проходить строго воспрещается» двое остановились. Я не слышу голосов, но уверен, что эти двое спорят между собой. Великан с чемоданом кивнул на надпись. Его спутник засмеялся и сквозь прореху в проволоке провел рукой прямую линию к трамвайной остановке; так, мол, ближе. Секунду чемодан качался на месте, но потом поплыл в сторону, к большой дороге. Владелец отутюженных брюк криво повел плечом и поплелся вслед, сбивая тросточкой желтые головки будяков...

21 апреля. Если смотреть из моего окна левее стеклянной веранды амбулатории, то за новой баней и детскими яслями, за пустырем, поближе к

оврагу, можно различить одинокую крышу, на которой ветер играет лоскутьями толя. Это и есть барак № 16. Со вчерашнего дня он разжалован даже в этом низком звании, став матерьяльным складом пожарного обоза.

Последнюю запись о шестнадцатом бараке я делаю за большим столом в общей комнате комсомольской коммуны, куда перебрался на жительство.

...Оголенные тюфяки с торчащей из них соломой сразу сделали барак нежилым. Мы сидим, как на вокзале, инстинктивно пододвигая к себе поближе свертки и сундучки. Абрагин тянет кипяток из консервной банки, а Рябов поминутно выгладывает в окно, тцась за мутными стеклами различить крючкообразную фигуру исполнителя из хозяйства. Это он должен распределить жильцов по квартирам. Уже известно, кто куда пойдет: металлистам дают комнаты в новом доме, а строители переберутся в соседние бараки.

— Кончилось общее жительство, сказал Федотов, подсаживаясь к Животовскому. — Ты дай мне свой стих переписать, про землекопов.

— Бери бумагу, я продиктую,— с готовностью отвечал Коля, явно польщенный этой просьбой.

Когда стихи были переписаны, Федотов дважды прочел их вслух.

— Складно выходит! Вот буду писать в деревню, вложу в конверт в стих. Ребята подумают, что я его сочинил... У тебя марочки не найдется?

Кончилось общее жительство.

Барак, дом без фундамента, дом на голой земле, сбитый из нестрюганых досок, служил прибежищем для разношерстной группы людей. Под убогой крышей сталкивались интересы, привитые людям столетней историей их прошлого, чурались друг друга характеры, надежды и идеалы. В четырех стенах, на восьмидесяти квадратных метрах, помещалось классовое общество во всем многообразии его групп и прослоек. В одном ряду стояли койки классовых антагонистов,

Когда внутренние стены цехов опрыскивают из пульверизаторов мелом, когда бетон уже кладут только под станки и строительные работы сворачиваются, в бараке происходит резкое разде-

ление на уходящих и остающихся. Уходят профессионалы, строители высоких квалификаций, крестьяне, покинувшие родные деревни на один сезон, а с ними и все, кто не ужился на заводе, кто, поработав над стенами, не захотел работать в стенах. Иных же не оставляют общественные организации за рвачество, за прогулы, за недисциплинированность. К открытию Саратовского завода две тысячи чернорабочих и мало-квалифицированных металлостроителей будут набраны из сезонников. На заводе останутся колхозники, городская молодежь, комсомольцы, — все те, которых отобрал социальный диффузор по признакам выдержки, сознательности, сметки для воспроизводства господствующего класса.

...Наконец дождались крючкообразного исполнителя. Он порылся в кармане и, отыскав бумажку, похожую на рецепт, прочел распоряжение Герасимова: пятерых переводят в новый дом, четверых — в барак.

Лаврик подкатился, выбивая замысловатую чечетку:

— Пожалуйста, мне отдельный будучок. Обои в хризантемах.

Он одиноко захохотал над своей шуткой.

Мирон взвалил на спину сундук, завеневший, как бубен, и вышел вон, ни с кем не простившись, ни на кого не глядя. С двумя торбами, переброшенными через плечо, стоял у дверей Федотов.

— Где ж это вы жить теперь будете? — спросил он у Животовского.

— В пятом корпусе, четырнадцатая «квартира». Ты приходи, слышишь?

Федотов прилаживал под ремень пучок пакли.

— Если в деревне нынче не уродило, я и сам здесь останусь. В металлических. Как думаете?

Ковальчук думал одобрительно:

— Оставайся. Кочку тебе припасем. Потом и семью перевезешь.

Даже покраснел Федотов, но от прямого ответа уклонился:

— Видно будет, — и он быстро вышел, опасаясь дальнейших соблазнов.

По наклейкам камер хранения ручного багажа, украшавшим маленький чемодан Лаврика, можно было учиться географии. Лаврик встряхнул его легко и, поприветствовав нас ручкой, пустился в дорогу, распевая куплет:

Вот женщина страшней орангутанга.
С нее смеется сам сатана,
Намажется, наденет платье «танго»
И станет вмиг красавицей она...

Куплет мирного времени, такой же старый, как наклейка одесского вокзала.

— Ну, что ж, посидим перед дорогой по русскому обычаю, — предложил Сенюшкин не то шутя, не то всерьез.

Посидели, молча следя за игрой пылинки в солнечном луче, за мухой, бьющейся о стекло. Исполнитель тычет пальцем в тюфяки, все путаясь в счете.

...Ковальчук вышел последним и аккуратно прикрыл за собой дверь.

— Не скучай, шестнадцатый!

Шли гуськом, изредка перебрасываясь словами:

— Когда будем ложиться?

— В одиннадцать.

— В двенадцать.

— Кто за двенадцать? — Большинство.

Я проводил переселенцев до самого дома. Простились на крыльце. Вместе с шумом шагов, поднимающихся по лестнице, до меня донеслись слова Сенюшкина:

— Артиллерист, есть спички? Как придем, зажигай куб. Пол мыть будем. Я портянки на тряпку жертвую...

...Если смотреть из моего окна левее стеклянной веранды амбулатории, то за новой баней и детскими яслями, за пустырем, поближе к оврагу можно различить одинокую крышу, на которой ветер играет лоскутьями толя.

Еще вчера там был барак № 16.

2. ПАРАФИН БЕЛЫЙ

Очерк

Петр Воробьев

История завода—история людей.

В строго-суровом порядке — один, другой, третий — стоят железо-бетонные корпуса парафинового завода Грознефти. Пухлое кавказское солнце разлило жар на серые плечи стен, возле которых, как чумазные медвежата, пригрелись огромные металлические резервуары.

Горы — как груди земли. Буровые вышки высосали черное молоко—нефть. Теперь его жадно пьют железные трубы.

Паро-кубовая батарея номер пятнадцать, как центробежный сепаратор, отфильтровала из черного молока—нефти—легкие фракции: бензин, керосин (светлые продукты). Обособились тяжелые фракции, названные дестилатом. Дестилат — сырье парафина.

На территории завода налиты дестилатные лужицы. О, если бы землю сделать непроницаемой, лужи дестилата слились бы в огромное озеро! Оно сверкало бы на солнце, как темная кровавая рана. Лужи сейчас неподвижны, как зеркало, и отражаются в них красное небо, корпуса и нерадивое лицо рабочего слесаря, который неплотно свернул трубы, из которых капает дестилат.

Мастер парафиновых дел тов. Грачев. Он крепок в движениях, в молодости у него была упругая коричневая борода, теперь она светлолиловая, будто вымытая в нефти. На матовой влажности глаз из-под насупленных бровей светится недовольство.

— Течет! — говорит он.

— Да, мы еще не научились бережно относиться, — отвечаю я.

Грачева позвали в корпус. Я нагнулся, зачерпнул дестилат в ладонь,—он был похож на густое вишневое вино. Грачев вернулся. Я сказал ему:

— За рубежом белые эмигранты на своих банкетах угощают нашей нефтью, и она опьяняет их до белой горячки. Беснуются. В их глазах галлюцинации буровых вышек Баку, Грозного, Майкопа...

— Что ж, это возможно, — неспехом отвечает Грачев.—Из нефти вино,

пожалуй, можно сделать. Хорошее, забористое вино!

Хорошо, когда машинное отделение просторно и чисто. Пол набран шашками, как разноцветное одеяло из лоскутков. На хорошем полу и ногам хорошо, но он забрызган маслом, парафинистой смолой и скользкий, как лед. Егозливому человеку по этому полу надо ходить с опаской.

На жестких цементных постелях — фундаментах — лежат компрессорные машины «Линде», цилиндры их протянуты как лапы.

На парафиновом заводе холодильные машины «Линде» похожи на заморские чудовища, потому что они одним боком живут под огнем тропического солнца, а другой их бок — аммиачные трубы, фланцы, винтеля — покрыт вечной мерзлотой Северного полюса.

С середины зала на второй этаж поднимается лестница. Поднявшемуся с трудом по ступенькам человеку не хочется спускаться вниз.

На втором этаже медленно вращаются кристаллизаторы. Все они одинаковы по внешнему строению, но человек мудро обособил их разными температурами, и трубы ожили, стали темпераментны.

Воздушная темь хлопает в насосе клапанами. Железные губы отверстий сосут дестилат из резервуаров в кристаллизаторы, — дестилат сгущается как тесто.

Двадцать четыре огромных прессы отжимают масло. Оно мутное, быстрое и бежит, как неудержимый весенний ручей, пока не настанет жаркое лето: тогда рабочие освободят винты, раздвинут квадраты сеток, и в корыто, ломаясь об острые изогнутые сабли шнеков, упадут спрессованные плитки дестилата «гач». Лопасты шнеков унесут его в камеру потения, и через несколько часов складский рабочий бережно поднимет светлую, тяжелую, как скрижаль, плитку и, разглядывая ее прозрачность, проговорит:

— Парафин белый... он похож на свежее баранье сало.

Рабочий поднимет другую плитку:

— Парафин зеленый...

Он годен на спички. На биржах Англии, Германии, Турции сдобный, как будто сделанный из парафина, маклер прохрипит на ухо:

— Парафин белый СССР.

Несколько слов, и парафин превращается в нужную нам валюту.



Золото, металл, презренный пролетариатом, нужен нам постольку, поскольку нужно нам оборудование. Бухгалтер Наркомвнешторга величественно восседает над раскрытой книгой, как ученая птица с круглой головой филина, и пишет:

— Парафин белый № 1 — 22.000 фун. стерлингов.

— Парафин белый № 1 — 82.000 долларов.

Маленький седой клок его волос приподнялся, как хвостик. Он достал документы и задумался: верно ли записан тоннаж?

Это сегодня.

А в тысяча девятьсот двадцать восьмом году этой валютной статьи не было. Не работал седой бухгалтер, и не было тогда железо-бетонных корпусов парафинового завода Грознефти.

И парафиновых дел мастеров не было. Они жили где-то, рассеявшись в нашей большой стране. Но вот в «Правде» появилась маленькая заметка.

Впервые в СССР в г. Грозном проектируется строительство парафинового завода.

На намеченной территории строительства завода начались ежедневные, чрезвычайно важные инженерно-технические совещания.

В те времена по полотну солнечных рельсов, устало перекидывая ноги через трубы, железные балки и канавы, шел однажды маленький небритый человек. Седая, выгоревшая на солнце вещевая сумка за плечами, казалось, раскачивала его. Тянулись невзрачные стены за-

вода, бывшего «Нобель». Тридцать два резервуара рассыпались в ряд, как сбитые гайдамацкие шапки. После белобандитских банд некоторые так и остались с развороченными железными боками.

На путях сгонщик Седов стоял, запрокинув голову, что-то рассматривая в чистом голубом небе.

— Товарищ, скажите, можно здесь поступить на парафиновый завод?

— Откуда ты? — сурово оглядывая человека, спросил Седов.

— С Одессы. Только-что из плена вернулся!

— Значит вояка.—Глаза Седова сделались узкими, жалостливыми. Он полез в карман за табаком.

— Не курю я.

— Такого и угощать выгодно, — усмехнулся Седов. — Ты вон иди-ка, ворона сизая. э-э-вон туда, к трубе с небольшой горбинкой. Спроси первый завод, там сейчас наши «главари» заседают, люди хорошие...

Заседание происходило в тишине. Вдруг по запертой двери кто-то нетерпеливо бабахнул раз, другой. На стук настороженно вышел инженер Трофимов.

— Вам чего надо?

— Я рабочий по парафину, хочу поступить работать. Где тут?

— Хорошо, сейчас доложу.

Минуты ожидания тоскливы, как осень, а их было пятьдесят девять, пока вышел Аростомьянц.

— Вы откуда?

— Из Чехо-Словакии. С фабрики Одер-Фурт Минерал Эльверке.

— Так... Кем вы там работали? На каких машинах? Технологию процессов знаете?

Волнуясь, он рассказал Аростомьянцу, как, будучи в плену, попал на фабрику Одер-Фурт, на каких машинах там работал. Морщась, припомнил температуры плавок, процент выпуска.

— Г-м-м... Знаете, у нас на заводе мест нет. Как ваша фамилия?

— Ошайя Моисеевич Школьник.

— Видите ли, все-таки мест нет. Если хотите чернорабочим на постройку, можно принять.

— Хоть канавы копать! — взмолился бывший военнопленный.

Он прошел фронт, ел суп из лягу-

щечей икры, бил вшей на зубах, был всегда тверд. А тут вдруг обмяк, почувствовал слабость, в голубых глазах показались скупые блестящие слезы. Вспомнились жена и дети.

— Возьмите хоть ямы копать!

Росли крепкие стены корпусов. Стучали пневматики, как трещотки. Стройно, подставив железные плечи под металлические развесистые фермы, встали колонны. Постепенно из корпусов не стало видно черного ожерелья Чеченских гор. Пропало голубое небо.

Очень часто, покончив с рытьем ям, на масляный завод, где производилась работа по добыче парафина, заходил землекоп Ошайя Моисеевич Школьник. Хмурились брови, щемило сердце. Груз знаний и навыков, донесенных сюда из Чехо-Словакии, давил как глыба. «Лучше бы ничего не знать, легче было бы...»

Особенно тошно было смотреть, как рабочие руки мяти «гач» (сырье парафина), завертывали его в салфеточки и прессовали бабкой гидравлического пресса. После двухнедельной работы руки и лица рабочих покрывались коростой глубоких чирьев. Парафиновая болезнь свирепствовала, как чума. Люди бежали от работы. Больше половины гуляло по бюллетеню. Особенно больно было потомственным пролетариям-нефтяникам, которые не могли бросить своего родного завода. У многих из них еще не зажили раны от бандитских пуль. Не вытравился в памяти пожар, когда нефтезавод, бензин, керосин, мазут пылали ярко, как заря. Не имея сил расстаться с заводом, скрепя сердце, они снова шли на работу, а через несколько дней опять заболели. Отчаявшийся заводский фельдшер вырезал их загнивающие раны и с курьерским поездом гнал больных в Москву:

— Исследуйте... помогите найти лечение.

Рабочие-нефтяники работали, лелея надежду на лучшее будущее. В терпении и труде были упруги и тягучи, как резиновые палки. Инженеры Курман, Щербатов, Сидоров делали свое дело. Шли таинственные инженерно-технические совещания. Партруководство болело куриной слепотой. Инженеры сумели сделать так, что и профес-

сиональные организации смотрели на все сквозь розовые очки. Стены корпусов были выклеены плакатами, боевыми революционными лозунгами. И вот заходил в цех Ошайя Моисеевич Школьник с лопатой в руках — и сердце его закипало от злости.

— Что же вы, товарищи, делаете? Ведь это безумство... Надо вот как!

— Ты молчи, провокатор... А не то мы тебя в ГПУ отправим. Чего тут народ разлагаешь? На постройке не хочешь работать, болтаешься. Ну-ну, проваливай, знахарь, — наступал на него механик Сечин.

Моторы шумят, вертятся. Мешалки хлопают. Содрогаюсь, прыгают стрелки манометра, когда здоровенные чугунные плечи гидравлического пресса кряхтят, выдавливая масло из «гача».

Под крышей второго завода инженер Курман вел свою научно-опытную работу. Зорко всматривался в чертеж, поправляя красным карандашом линии. Потом позвал слесаря Литвинова и, указав на подготовленное железо, сказал:

— Сделай мне вот эту пустяковину. Работал Литвинов старательно. Заказ был им выполнен. Маленький аппаратик с воронкообразными отверстиями стоял на столе. Любовным взглядом долго осматривал Курман свое изобретение. С нескрываемым волнением он проговорил, закусывая нижнюю губу:

— Хорошо!

— Не люблю я плохо... — ухмылялся Литвинов.

Курман медленно взял битый в порошок шамот и насыпал его пригоршнями в воронку. Литвинов хотел ему помочь, но Курман сердито остановил его: «не лезь не в свое дело». Трясущимися руками он вылил в воронку аппарата неочищенную жидкость дистилата и через несколько минут вынул маленькие светлые сосульки. Он приподнял их на уровень своих острых глаз, на солнце. Повертел в руках, прищурился. Сосульки были плосковатые, прозрачно-светлые, как белый солнечный луч.

Теперь лицо Курмана светилось широко. Мысли его потекли за пределы нашей страны, в Париж, Лондон, Нью-Йорк. Опомнился он от радости, когда удивленный Литвинов спросил:

— Чего это?

— Парафин. Золотая конфета, хо-хо! Ну-ка, ломай эту дурацкую игрушку, — проговорил Курман, указывая на аппарат.

Чертеж сунул себе за пазуху.



Работы по механическому оборудованию закончились. Машины, дремавшие в бездельи, теперь проснулись и пошли в ход. Машина никогда не сделает плохо, если этого не пожелает человек. Новенький кристаллизатор сломали, — почему? Пустили с водой дестилат, он зачерз: вот почему умирают машины. Человек, поломавший винт у машины, это — темный человек. Если машину ломает инженер, техник, то без сожаления бейте гвоздь в то место, где полагается быть технической кокарде.

Рабочие, охраняйте машину, как красноармейцы охраняют сбереженное в бою перекопское знамя!

После долгих, мучительных требований рабочего-землекопа Школьника перевели в парафиновый завод в камеру потения. Жара — пятьдесят три градуса. Посредине камеры там стояли огромные металлические ящики, громоздившиеся один над другим до самого потолка. Налитый на тонкий слой воды, «гач» потел. Из него улетучивалось масло. Но парафин выпускался химически нечистый, непрозрачный, содержащий 3—4 процента масла. Такой парафин не удовлетворял запросам растущей промышленности.

Размеренно бродили по корпусам инженеры.

— Температуру в камере потения нужно поднимать очень осторожно и медленно, — инструктировал рабочих Курман. Запугивал возможностью аварий.

Рабочие осторожно открывали паропроходы, боясь, чего бы не случилось.

На вахту в камеру встал Школьник. Смело, сразу с ноля погнался температуру на сорок. Темпы, темпы! Сокращай производительную работу аппаратов, машин! Что делали раньше в год — делай в полгода. Что делал в день — делай в четверть дня, — так говорил Школьник.

Температура росла. Стрелки измерительных приборов стремительно поднимались вверх.

— Как бы чего не случилось? — испуганно говорили рабочие.

— Ничего... Только лишь ускорим процесс. Больше выпуска... больше парафина... Дашь выше температуру!

Инженеры встревожились: «Что это за птица в цехе появилась?»

— Ты чего тут произвольничаешь? Зачем температуру поднял? Работать не умеешь, — сердито наступал на Школьника Курман.

— Я парафиновый рабочий. Когда работал в Чехо-Словакии на фабрике Одер-Фурт Минерал Эльверке, то мы...

— Молчать, я инженер! Не вы, а я отвечаю за производство! — перебил Курман и, повернувшись, быстро вышел из цеха.

В результате Школьнику был вынесен суровый выговор. А в камере потения, хотя температура поднялась мгновенно, ничего не случилось.



Дни шли. Зашумела пятнадцатая кубовая. Запрыгал пар над «Фостером». Влево, по открытому трапу, летят керосин, бежит в объемистые резервуары пятилетки. У крекинга «Дженкиса» задымили тонкие, как мачта, железные трубы. Новостроящийся «Винклер-кокс» зарумянился в лучах утреннего солнца. Пришли на работу Школьник, Устоев, Чесноков, Солдатов, Литвинов, пришли другие. Руки привычно потянулись к рабоге. Завертели мешалки. Загудели машины «Линде». Диски шнека, острые, как сабли, рубят и гонят отфильтрованный «гач» в плавильные огромные печи.

Машины и рабочие на своих местах.

Только сегодня кого-то нет. Кто-то не мешает работать цехам. Когда часовые стрелки сошлись на двенадцатом часе, в цехи завода неудержимо поползли слухи:

— Курмана забрали в ГПУ.

— Сидорова взяли ночью.

— Щербатова увезли в Москву.

Слухи сбивали людей в кучи. Забывалась на время работа. Работали и разговаривали, но пока тихо, боясь огласки.

Вечером, когда гудки прокричали коротко, в цех пришел взволнованный

секретарь ячейки. Последние ночи ему пришлось много работать.

Он не хотел говорить речи. Он только приподнял руку и сбивчиво сказал:

— Товарищи, вы знаете, в каких условиях мы строили завод. Шли бело-бандитские банды, мы бились, как львы, хотя животы наши были пусты, как барабаны. Мы растрепали бандитов, но враг хитер, он исчез с глаз, он закопался среди нас. За последние дни, товарищи, ГПУ раскрыло в Москве вредительскую банду инженеров, цель которой была ломать, корезить нашу промышленность, подготовить приход зарубежных интервентов. Курман, Сидоров — вредители! Что вы, товарищи, скажете?

Речь секретаря оборвалась внезапно. Тихий рокот прополз среди рабочих. Один недоуменно сдвинул на затылок чумазую шапку. Другой старался из кусочка газеты скрутить цыгарку, но забыл насыпать табаку. Третий подался вперед.

— Что, товарищи, скажете?

— Плохо.

— Мы сами теперь чувствуем — плохо! — как бы оправдываясь, ответил секретарь.

— Значит, вредили?

— Эх! — кто-то, не стерпев, сцикнул сквозь зубы крепкую матершину. Негодование росло, зрело. Поднялся рабочий с гидравлического пресса. Поднял свои пораненные парафиновой бочезной руки.

— Это што? Смотрите, братаны!..

Но люди были безучастны к его крику.

Закованные в железо терпения, обиды и боль вдруг проснулись. А главное, все это так неожиданно, как будто кирпич упал на голову. Ведь только вчера ходили они вот тут свободно, и Курман что-то весело рассказывал Щербатову, а тот самодовольно улыбался.

— Может, кто хочет высказаться? — предложил секретарь.

Школьник вышел вперед. Ему было что сказать. Ведь люди эти сделали его землекопом, провокатором, карьеристом. И все лишь за то, что он хотел, настойчиво хотел работать. В камере потения они ввели преднамеренно длительное время для согревания аппаратуры. А все эти станки, машины... они вертят-

ся, но, черт возьми, в какую сторону они вертятся?.. Школьник не мог говорить, он только махнул рукой.

— Гадко..

— Товарищи, может, у кого резолюция есть?

Усталый седой старик—его в свое время всячески преследовали белые — поднялся и тяжело взмахнул рукой, как бы забывая здоровенный, неподатливый гвоздь.

— Резолюции не надо, одно слово—расстрелять!

— Правильно... — прогудели голоса, и руки выстроились грозно над головами.

Был вечер, черное покрывало сумерек не могло закрыть потока пламенеющих знамен.

Булыжник шлифовался под тысячами ног демонстрантов.

Вероятно, когда спецы-вредители сидели на своих местах, им казалось, что уйди они — и завод развалится. Но спецы ушли (вернее их «ушли»), а кавказское пухлое солнце не померкло и трубы завода не стали ниже. Правда, дым из труб стал стелиться по воздуху жиже: это значило, что кочегары стали экономнее сжигать нефть. Труба с черным, густым, как лошадиная грива, дымом, это — трубка вредителя. В цехах стало свободнее. Перед каждым рабочим открыто встали трудности. И тогда поммашениста Гринбаум сказал ребятам:

— Что же, будем бороться!

В этот вечер он созвал лучших, боевых производственников цеха.

— Вредителей взяли от нас и посадили отдыхать за кирпичной тюремной стеной. А дела-то их, товарищи, у нас на заводе остались?

— Оттались!

— Они вредили потому, что мы в технике младенцы, не все знали, что и как. А сейчас мы знаем?

— Нет!

— А ведь за нашими плечами завод! Он должен работать. Четко, хорошо работать. Вот я и предлагаю, товарищи, организовать рационализаторскую сквозную бригаду по выявлению последствий вредительства и по освоению техники.

Рабочие одобрили предложение Гринбаума. Несколько энтузиастов в неурочное время коллективом ходили из цеха в цех, от станка к станку, останавливаясь на каждой детали, по-большевистски разбираясь со всех сторон. Одно время администрация завода чуть не «арестовала» бригаду, запретила ей работать. Только благодаря энергичному вмешательству секретаря райкома тов. Шевченко бригада была «освобождена», и ей предоставили возможность снова работать.

Подытожив свою работу, дав тщательную оценку всех процессов производства, разобрав имеющиеся директивы и наметив ряд ценных практических предложений, бригада пришла к такому выводу:

— На 1931 год программа для парафинового завода по расширению намечена в 15.100 тонн, т.-е. в сравнении с 1929—30 годом на 77,6 проц. больше. Но увеличение количества камер на 80 проц. даст возможность значительно увеличить пропускную способность камер. Одновременно возможно провести еще ряд простейших мероприятий.

— В целом, по нашим данным, — говорилось в рапорте, — завод без капитальных затрат может увеличить годовую производительность до 21.000 тонн парафина.

Письмо бригады было заслушано в специальной комиссии. Не было ни одного предложения, которое можно было бы зачеркнуть, оставить. Большая часть предложений немедленно была проведена в жизнь. Остальные предложения решено было подвергнуть лабораторной и практической проверке.

Продумывая процессы, работу аппаратур и машин, участники бригады ширли свои знания.

Но вот:

Фильтр-прессовое отделение подернуто дымкой голубого тумана. Фильтр-прессы стоят, плиты их сдвинуты. Через железные вены-трубы залили гач в междуплитовые пространства. Стрелки измерительных приборов поднялись вверх, но, дойдя до цифры 6, остановились, начали мигать и неудержимо падать книзу. А чтобы хорошо отпрессовать масло из га-

ча и чтобы парафин получился белый, звонкий, не темнеющий, как американский, с остатком масла 0,5 процента, нужно, чтобы стрелка на круглом эмалированном лице измерителя не подмигивала лукаво, а устойчиво поднималась вверх и замерла на девяти.

Однако каждый раз, когда стрелка измерителя доходила до шести, чугунные губы плит разжимались, открывая неудержимую течь.

— Текёт!

— Бежит!.. Ой, бежит!.. — кричал рыжий веснучатый паренек, закрывая течь ладонью, — замазать чем-нибудь!..

— Дурной ты, — вмешивался Гринбаум и начинал объяснять молодому, пришедшему из чеченского аула парнишке, почему течет.

— Плиты для высокого давления нужны большей плотности. Разве это плиты? — показывал он. — Тут щербинка, тут горбинка. Тут заусенец прокладку рвет. Это плохо, плиты нужны другие, хорошо строганные, чтобы удвоить работу прессов.

Уставшие люди, обтирая с лица крупные капли пота, ходили, не останавливаясь, из цеха в цех, от машины к машине. Вредительские тормоза с рабочей самостоятельности были сняты. Узенькая, тернистая тропа рабочей смекалки превратилась в широкую дорогу социалистического творчества коллективов. По этой дороге двинулись бригады. Маленькое начинание принимало размеры большого социалистического движения. Стенные газеты заполнялись материалом о ходе проверки. Не только стенные, этим делом занялась в плотную и областная газета «Грозненский рабочий».

Знамя технологической проверки бережно подняли и понесли ударные нефтеперегонные заводы, величественные буровые вышки. Движение десятков тысяч краснознаменных пролетариев-нефтяников — могуче: они выполнили свою «старую» пятилетку в два с половиной года и теперь тронулись в третий, решительный. «Грозненский рабочий» бодро звал:

«Заводы Сталинского района, включайтесь в технологический поход».

«Превратите заводы в сплошные рационализаторские бригады».

«Сквозным социалистическим движением рабочих масс на основе овладения техникой, соцсоревнованием и ударничеством ликвидируем последствия вредительства».



Товарищ Школьник работал по-особому. То он сливался в работе с бригадой Гринбаума, то, наоборот, уходил от нее в сторону. Настойчиво искал те сложные пути в производстве, по которым должен идти коллектив. Он очень устал. Горло его пересохло. Ведь камера потения, где он работал, опалена жаром в пятьдесят три градуса. Пар. Угар парафиновым газом.

Вот сидит Школьник в своей комнате за чаем. Напротив него — жена. Балуются дети на полу. И вдруг застилается вся эта обстановка, медленно вырисовывается цех, мешалка, камера потения, парафин, флоридин. Сон наяву...

Школьник взмахом руки стряхивает одурь с глаз и начинает вычерчивать карандашом на бумаге. Из-под его рук чертежи выходят точно такие же, как давно-давно, когда он был маленьким, рос у родной бабки в Одессе и углем рисовал на обеленной мелом печке. Школьник стыдится показать товарищам свои эскизы. Правда, бывали случаи, показывал. Но товарищи по цеху только моргали глазами, ничего не понимая.

— И сам-то я мало на бумаге понимаю. Не все я вычертил, многое в голове осталось, — сознавался Школьник, злобясь на собственное неумение выложить проекты на синюю чертежную бумагу.

Когда план в голове разрастался, он бежал в партачейку, к своим товарищам, и просил их:

— Помогите... Сегодня, черт возьми, обдумал, успокоения нет. На мешалках-то у нас в цехе гач в количестве двух тысяч пудов очищается кислотой. Вот и обдумал: за-зря все это, не так, черт возьми. Нужно гач прямо гнать

в камеры потения. После потения остается у нас из 2.000 пудов только 800. Вот эти 800 пудов гача, из которого получается парафин, и надо очищать кислотой. Расход кислоты убавится наполовину!

— Фу, левшан, тебя не поймешь! — перебили ребята.

— Поймите, — сердился Школьник, — пойдемте да попробуем.

Шли. С фильтр-прессов гач пускали прямо в камеру потения. Жирный гач потел, его гнали на мешалки — очищать кислотой.

И в самом деле упростилась работа, сэкономилась кислота. Заходили в цех работники бюро рационализации и изобретательства. Прикидывали на счетных линейках, карандашом водили по бумаге. Получалось:

— Сорок тысяч рублей экономии.

... Утро. Сидит парнишка-чеченец среди рабочих и ест. Он только несколько месяцев назад попал из деревни на этот завод. Отец и мать его никогда не были на промыслах. Старая мать сеяла кукурузу, работала по дому и часто сидела, грустная, у порога. Отец работу не любил, да и жену не особенно ценил. Сидит чеченец Накаев среди русских рабочих, как отрезанный ломоть. «Хочу уметь работать, как русский!..» — мечтает он.

Вдруг подошел к нему Корчагин, толкнул. Подвинулся, молчит Накаев. Корчагин толкнул второй раз. Встал, отошел Накаев. Опнес в круглых глазах большую обиду в сторону.

Тогда Корчагин его ударил...

У Накаева слезы побежали по щекам, возле носа перемешались с кровью:

— Эх, гад ты сучий, а еще русский, — не выдержал председатель месткома товарищ Королев. Руки напряглись, хотел ударить хулигана, но отвел кулаки в сторону, взял под руку чеченца, как близкого, родного товарища. — Брось, не плачь. Мы сумеем расправиться...

Всполошились рабочие. Собрали экстренное собрание. Люди теснились вокруг Корчагина, как костыли, вбитые в землю.

— Товарищи, одни корни вредительства мы вырвали, а вот среди рабочих есть еще хулиганские корешки, в роде

Корчагина. Вот он стоит перед вами, вылупил свои хулиганские бесстыжие бельма! Спросите его, за что он осмелился ударить нашего общего товарища Накаева? За что ударил?

Зашумели рабочие гнево, бурно:

— Нет, этот человек не наш... Не наш!

— Выгнать его с производства! За ворота! Вон из союза!

Когда голосовали, не было ни одной руки, опущенной книзу.

Ошайя Моисеевич Школьник теперь хочет подарить «пятилетке» необыкновенное изобретение, которое должно произвести большевистский переворот в парафиновой промышленности. Он уже носит этот проект в своей голове, но один бессилён осуществить его на практике. В стране Советов, среди рабочих, его не обокрадут.

Его окружают товарищи по цеху: Устоев, Чесноков, Солдатов, Литвинов. Рубят железо, пилят, сверлят. Ничтожная ошибка — снова ломают и снова делают. Аппарат много раз нужно переделать, ибо он — это, по существу, целый завод, возле которого будет стоять всего один рабочий. И вот иногда, после возни с моделью, ребята садятся отдохнуть, закуривают, разговаривают, пристают, смеясь, к Литвинову:

— Расскажи, как ты делал аппарат Акерману. Эх ты, пособник вредительский!

Литвинов, чувствуя неловкость, сердито отмахивается.

— Отстаньте! Курман, Курман, ведь его секрет открыли. Чего же вам еще надо?

— Америку об'егорить надо, Америку! — говорит Ошайя Моисеевич Школьник.

И снова все принимаются, засучив рукава, за работу...

Литература и искусство

1. Г. ГРИГОРОВ.—Гегельянство В. Г. Белинского. 2. Еяч ПОЛОНСКИЙ.—Проблемы марксистского литературоведения. Статья третья. 3. Арк. ГЛАГОЛЕВ. О повести Ми рофанова. 4. Н. ЗАМОШК. Н.—О смежных и касательных сторонах диалектико-материалистического м. тода в литературе. 5. Ю. ДАНИЛИН.—„Крас. ый человек“.

1. ГЕГЕЛЬЯНСТВО В. Г. БЕЛИНСКОГО

(К столетию со дня смерти Гегеля)

Г. Григоров

I

Если Белинский занял почетное место не только в литературе, но и в развитии общественной мысли, то этим мы обязаны не только его личному таланту, но еще в большей степени его философской позиции. Где еще можно найти такого деятеля литературы, который бы за короткий срок проделал философскую эволюцию от Шеллинга до знаменитого письма к Гоголю из Зальцбруна? Достаточно много существует общественных деятелей, которые могут похвастать своими «устойчивыми» взглядами, еще больше таких, которые, не желая отставать от века, меняют эти взгляды в зависимости от ситуации. Но «неистовый Виссарийон» не принадлежал ни к первой, ни ко второй категории «мыслителей». На всех этапах, при всех поворотах Белинский оставался самим собой, никогда не изменял своей натуре, всегда с величайшим энтузиазмом, целиком, без остатка отдавался той идее, которая им руководила в его творчестве, в его неугомонной борьбе за твердые принципы.

В Белинском боролись два таланта: литературного критика и философа. Если бы он родился и жил в менее бурную эпоху, может быть, он предпечел бы кабинет уединенного мыслителя журнальной трибуне. Но не таков был

век, чтобы философ оставался в тишь вольтеровских кресел. Французская революция, а вслед за ней восстание декабристов, июльские события 1848 г. прозвучали настолько резко, что любая философия, чтобы не заглохнуть, должна была выйти на широкую улицу и облечься в определенные политические формы. Это в значительной мере обусловило и то, что Белинский был не только философ, но главным образом публицист и литературный критик.

Чтобы по достоинству оценить литературные взгляды Белинского, нужно покопаться в его философском мировоззрении. Но здесь недостаточно указать на то, что Белинский в первом периоде недооценивал действительность, а в другом—ее переоценивал. Эти фразы сами по себе еще ничего не говорят о мирозерцании Белинского, не вскрывают основного стержня философского направления великого критика.

Все историки литературы хором прокричали о трагедии Белинского. Трагедия его, по их мнению, заключалась в том, что критик недостаточно понял гегелевский тезис о разумности действительности и это привело как будто бы к печальным последствиям во всем его творчестве. Таким образом вместо объективного анализа творческого пути Белинского мы до сих пор имели argumentum ad hominem.

Вот почему, прежде чем приступить к разбору основного философского мотива в гегельянстве Белинского, мы позволим себе остановиться на периоде, предшествовавшем этому увлечению и разочарованию в разумной действительности.

Известно, что Белинский пережил три и даже четыре — если учесть его фейербахианство — стадии в своем философском мировоззрении: шеллингианство (1834 — 36 гг.), фихтеанство (1836 — 37 г.) и гегельянство. Гегельянский период длился до конца жизни нашего критика, если принять во внимание, что и Фейербах, хотя и противопоставил свою философию Гегелю, все же связан с философией последнего. Если позволено будет установить литературные грани между этими тремя периодами, то они примерно такие. Шеллингианскому периоду соответствуют «Литературные мечтания», фихтеанскому — статья о книге Дроздова «Опыт системы нравственной философии»; гегельянский же период делится на две фазы: фаза резкой переоценки действительности («Бородинская годовщина», «Менцель, критик Гете» и «Горе от ума») и фаза критического пределения действительности («Критическая история русской литературы», «Разделение поэзии на роды и виды», «Общее значение слова литература», статьи «О Пушкине», «Мертвые души» и письмо к Гоголю от 3 июля 1847 г. из Зальцбруна).

Все эти стадии и фазы весьма условны, потому что Белинский никогда не был резким последователем какой-либо доктрины и в любую философию вносил свой темперамент, преломляя теорию через свое субъективное сознание и свой социально-этический идеал. Белинского нельзя считать последовательным гегельянцем; еще менее можно допустить, что шеллингианская и фихтеанская философия оставили в его мировоззрении прочные корни. Философия Шеллинга и Фихте, равно как и философия Гегеля, были ступеньками на пути философской эволюции Белинского, и последний при своем дальнейшем развитии неминуемо должен был бы встать на позиции диалектического материализма, ибо, как правильно отмечает в Советской эн-

циклопедии А. В. Луначарский, «Белинский через Чернышевского, Плеханова и Ленина ведет нас к основным явлениям нашего нынешнего общественного сознания».

Г. В. Плеханов посвятил много прекрасных страниц русским просветителям, в том числе и Белинскому, но не всегда он давал точные формулировки и обнаруживал зачастую формалистические тенденции при оценке того или другого литературно-философского явления. По нашему мнению формалистически Плеханов трактует и проблему философской эволюции Белинского. Плеханов так изображает философский путь критика:

«Если Белинский в первой фазе своего развития жертвовал действительностью ради идеала, а во второй идеалом ради действительности, то в третьей и последней фазе он стремился примирить идеал с действительностью посредством идеи развития, которая дала бы идеалу прочное основание и превратила бы его из абстрактного в конкретный»¹⁾.

Плеханов, который так остроумно высмеивал субъективного социолога Михайловского за переоценку им гегелевой триады, сам оказался во власти этой злополучной триады. Белинский же жертвовал в первой фазе действительностью ради шеллингианского идеала — тезис; во второй фазе, наоборот, он приносит в жертву идеал действительности — антитезис; в третьей фазе он примиряет тезис и антитезис в синтезе. Оказывается, что не только зерно растет по Гегелю, но и философское развитие Белинского подчиняется гегелевой схематике. Более того, Плеханов не мыслит себе другого пути развития, как через Шеллинга и неправильно понятого Гегеля. Он говорит:

«Ему (Белинскому.—Г. Г.) надо было пережить момент примирения с действительностью»²⁾.

Почему надо было? — Неизвестно. Конечно, если руководствоваться Гегелем без предварительной обработки его мировоззрения марксизмом, тогда

¹⁾ Г. В. Плеханов. «Белинский и разумная действительность». Соч., т. X, стр. 242.

²⁾ Там же, стр. 243.

у Плеханова все в порядке, ибо по гегелевой философии высшая идея содержит в себе в снятом виде все предыдущие ступени саморазвития абсолютного духа. Но тогда непонятно, почему Белинскому надо было пройти фазу примирения с действительностью, а Герцену например можно было прямо начинать с левого гегельянства? На этот вопрос мы к сожалению не получаем ответа у Плеханова и поэтому вынуждены с его объяснением эволюции в мирозерцании Белинского не согласиться. Плеханов, как это часто с ним бывало, впадает здесь в чистейшее гегельянство, ибо развитие мирозерцания Белинского он выводит из какого-то чисто логического процесса вместо того, чтобы искать объяснения этому факту в социально-классовых мотивах, которыми руководствовался Белинский на различных этапах действительности. Гегель великолепно понимал, что философия есть современная эпоха, выраженная в мыслях. Плеханов же оказывается сверхгегельянцем, когда пытается разные ступеньки философского мышления Белинского связать с саморазвитием самосознания критика. Можно сказать, что Белинский искал верный путь, и это искание было связано у него с большими личными переживаниями. Но отсюда еще далеко до признания того, что в нем с необходимостью были заложены шеллингианство и фикштеанство. Такая точка зрения неминуемо приводит к фатализму.

Белинский по своему темпераменту не принадлежал к типу половинчатых людей. Когда он творил, он никогда не оглядывался по сторонам. Рецензент был наименее властен, когда речь шла об обуздании мозга и сердца этого замечательного человека. В 1841 году, когда Белинский рвал с печальной действительностью «темного царства», он писал одному из своих друзей: «Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях. Я с трудом и болью расстаюсь со старой идеей, отрицаю ее до-нельзя и в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита». Но это у Белинского не был логический процесс, в котором одна идея отрицается другой. Идеальное, как говорит Маркс, есть переработанное в мозгу материальное. Чтобы перейти к

более высокой идее, необходимы изменения в самой объективной действительности. Нужно помнить, что в 30—40-х годах в России еще не было того общественного класса, на который можно было бы опереться разночинной радикальной интеллигенции. Западно-европейские идеи механически переносились на русскую почву. Известно письмо Маркса к Кугельману, в котором он отмечает, что русская аристократия, обучаясь в европейских университетах, набрасывается на самое крайнее, что в состоянии дать Запад. Это в такой же мере применимо и к разночинной интеллигенции, с той лишь разницей, что она эти западные идеи получала не из первых, а из вторых рук, ибо не имела достаточных средств, чтобы обучаться в европейских университетах. И если на Западе публицисты обладали большей философской устойчивостью, чем например Белинский, то это объясняется тем, что капитализм создавал там более прочную базу для выработки твердых принципов. Тем не менее, если не поверхностно, а глубже подойти к философскому мировоззрению Белинского, то мы обнаружим в его взглядах удивительную цельность. Он сумел взять из гегелевой философии все необходимое, рациональное, и если это рациональное у него часто облекается в мистическую скорлупу, то задача марксистской критики заключается здесь не в том, чтобы огульно Белинского зачислить по рангу идеалистов, а в том, чтобы в области современной литературной критики воспользоваться многочисленными диалектическими перлами, щедрой рукой рассыпанными по всем произведениям великого критика и общественного деятеля. Не следует только при этом забывать, что в гегелевой философии идеализм не является оригинальным учением, а следовательно не является специфичным для Гегеля. Абсолютный дух Гегеля — это модифицированный идеализм Платона. Здесь Гегель не оригинален. Своеобразие гегелевой философии заключается в идее развития. Вот этой специфической стороной гегелевой философии воспользовался по-своему Белинский. Необходимо еще отметить, что гегелево учение наиболее полно изложено не в его «Эстетике» и не

в «Философии природы», а в его «Учении о логике», в «Энциклопедии» и «Феноменологии духа». Все лучшее, что есть в гегелевой философии, а именно его диалектика, дано в этих трудах. Вот почему при анализе гегельянства Белинского мы будем иметь в виду главным образом указанные произведения Гегеля.

II

Кант очень высоко ставил изящное искусство, но вся наука об изящном строилась у кенигсбергского мудреца на базе субъективных оценок. Он рассуждал таким образом: «Гений — это талант (природное дарование), который дает правило искусству»¹⁾.

С определением гения по Канту можно было бы согласиться, если бы он не связывал с ним «прирожденного свойства души (*ingenium*), через которое природа дает искусству правила»²⁾. Объективного критерия при оценке художественного произведения Кант не признает. «Для суждения о прекрасных предметах, как таких,—говорит Кант,—нужен вкус, а для художественного искусства, т.-е. для создания таких предметов, нужен гений»³⁾. Таким образом для Канта как художественное творчество, так и художественная критика (суждение о прекрасном) — это дело субъективного сознания. «Красота в природе — это прекрасная вещь, а красота в искусстве — это прекрасное представление». Кант, как субъективный идеалист, у которого вообще логические суждения оторваны от самой действительности, выводит все законы искусства из самого субъекта. «Поэзия, — замечает Кант, — есть искусство вести свободную игру воображения»⁴⁾. В противовес этой абстрактной, метафизической точке зрения на искусство Гегель выдвинул историческую точку зрения. В гегелевой философии нет пропасти между объективной действительностью и субъективным сознанием. Искусство с точки зрения Гегеля есть один из моментов саморазвития абсо-

лютного духа, и уже потому оно исторично. «У каждого искусства есть своя цветущая эпоха, своя точка совершенства»¹⁾. Гегель дает наиболее полную критику кантовой эстетики, которая рассматривала искусство как простую игру воображения оригинального ума или гения. Гегель считает действительно классическим такое искусство, в котором существует гармоническая целостность между объективно развивающимся миром и творческим субъектом. Но этот творческий субъект не падает с неба в готовом виде, а сам является при определенных условиях. Отрицательное отношение Гегеля к опере и балету тоже характеризует его отношение к искусству, ибо Гегель признавал только то искусство, которое идет вместе с жизнью, в опере же и балете, по его мнению, сохранилась внешняя напыщенность, лишенная своего внутреннего содержания. Насколько реалистически понимал задачи искусства Гегель, видно из следующего отзыва его о музыке:

«Энтузиазм, собственно, находит свое начало в какой-нибудь определенной идее, в каком-нибудь истинном интересе, говорящем уму и наполняющем целую нацию. Этим интересом вдохновляется музыка, обращает его в живое и быстрое чувство и переходит в звуки: ритм и мелодию. Теперь уже мы не почитаем музыку способной располагать к мужеству и презрению к смерти. Итак, теперь почти во всех армиях прекрасная музыка, занимающая воображение солдата, возбуждает его, поддерживает во время марша, ободряет во время атаки, но не думаю, чтобы с ней разбивали неприятеля. Звук труб и треск барабанов не дает еще мужества. Нынче верят, что победа приобретается энтузиазмом, идеей»²⁾.

То искусство, которое не выражает какую-либо общую идею, с точки зрения Гегеля не считается искусством. Пустую форму без содержания, безыдейного искусства не признавал великий немецкий идеалист. Художник, по мнению Гегеля, не только копируют действительность *in natura*, а создает общую идею об этой

¹⁾ Имм. Кант. «Критика способности суждения». Перевод Н. М. Соколова, стр. 178.

²⁾ Там же, стр. 178.

³⁾ Там же, стр. 183.

⁴⁾ Там же, стр. 196.

¹⁾ Гегель. «Курс эстетики», кн. I., стр. 16.

²⁾ Там же, кн. II, стр. 29.

действительности, приводит многообразие впечатлений к единству. Искусственность не может быть элементом истинного искусства.

«Никакое возможное искусство, — говорит Гегель, — никогда не прикрывает незначительной мысли, низкой, холодной или нелепой, не вырабатывает из нее что-нибудь музыкально хорошее и глубокое. Композитор может, подобно повару, расточать все прелести своего искусства, но поговорка останется справедливой, что из кроличьего пшадя никогда не выйдет заячьего паштета»¹⁾.

Итак, Гегель является родоначальником той точки зрения, что искусство, в том числе и литературно-художественное произведение, должно освещаться не какой-либо частной идеей, а идеей в ее общности. На эту точку зрения целиком и полностью встал В. Г. Белинский и проводил ее во всех своих критических статьях. Гегельянство Белинского, как это мы покажем ниже, вовсе не характеризуется тем, что он предъявляет требование к художественному произведению, чтобы оно отражало какую-либо сумму идей. Если бы только к этому сводился «грех» нашего знаменитого критика, то каждый из современных материалистов мог бы присоединиться к такой оценке задач искусства. Идеалистические корни Белинского находятся глубже; они коренятся в его абстрактном толковании идейного содержания художественного творчества. Когда Белинский говорит об идее, то он в содержание этого понятия влагает «те первоначальные, довременные идеи, которые, воплотившись в формы, стали мирами и явлениями жизни»²⁾. В этом определении идеи Белинский не только родственен Гегелю, но целиком возвращается к Платону. Идея, как некоторая всеобщность, не связывается Белинским ни со временем, ни с пространством. Вот почему Белинский любил говорить о такой литературе (особенно классической литературе древнего мира), которая имела вечное значение, противопоставляя ей

литературу, связанную с определенным отрезком времени, т. е. имеющую значение временное. Но гегелевский идеализм не есть простой возврат к абсолютному идеализму Платона. Гегель отделен от Платона промежутком в 2.400 лет. Промежуток не маленький. За это время сухие абстракции платоновского идеализма успели расцвести и покрыться пышной зеленью. Жолудь превратился в величественный дуб. Гегелевская философия не только впитала в себя все лучшее, что было создано за 2.500 лет человеческой культуры, но непосредственно была рождена Sturm und Drang периодом, и естественно, что самое учение об абсолютной идее значительно преобразилось, приняв более привлекательный вид под пером гениального немецкого мыслителя. Вот почему, несмотря на идеализм Белинского, в нем имеется много черт, приближающих его мировоззрение к современному диалектическому материализму. То рациональное, что было у Гегеля, — его диалектический метод, — Белинский прекрасно усвоил, тем самым впервые поставив литературную критику на научную почву. До Белинского у нас не было научной критики, — она рождается вместе с ним, но на нем не заканчивается.

III

Сейчас нельзя заниматься абстрактными разговорами о диалектике. С тех пор как вышли в свет ленинские сборники, стало ясно, что диалектика имеет своим стержнем законы единства противоположностей. В IX сборнике Ленин говорит: «Вкратце диалектику можно определить как учение об единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики, но это требует пояснений и развития».

Под углом зрения единства противоположностей мы и хотим рассмотреть гегельянство Белинского. При беглом чтении Белинского может показаться, что критик великолепно пользовался диалектическим законом единства противоположностей, но более внимательный подход к формулировкам Белинского сразу обнаруживает, что он пользовался этим законом по-идеалистически. В своих «Очерках гегелевского периода» Чернышевский объясняет противоречие

¹⁾ Гегель. «Курс эстетики», кн. I., стр. 78.

²⁾ Собр. соч. Белинского. Изд. II, под редакцией Н. Д. Носкова, стр. 856. (Мы все время будем ссылаться на это издание).

Белинского тем, что в самой гегелевой философии были противоречия между «принципами» и «выводами» ¹⁾. Но противоречия у Гегеля были не только между «принципами» и «выводами», но и внутри самих принципов. И вот почему. Даже тогда, когда Белинский стал фейербахианцем (хотя последовательным фейербахианцем он никогда не был), он продолжал оставаться на базе идеализма. Вообще нельзя, как это часто практикуется, отрывать гегелевскую диалектику от его идеализма. Между мировоззрением и методом Гегеля есть не только противоречия, но и единство, и Маркс не случайно отмежевывается от гегелевского метода, когда говорит: «Мой диалектический метод в своем основании (Разбивка наша.—Г. Г.) не только отличается от гегелевского, но даже составляет прямую его противоположность». (Разбивка наша.—Г. Г. ²⁾) Это, разумеется, не значит, что не следует признавать систематизатором диалектического учения Гегеля. Но, помня об этом, не следует также забывать, что вся гегелева диалектика стоит на идеалистическом основании, а это обстоятельство в значительной мере извращает и самую диалектику немецкого мыслителя. Как раз эта сторона была предана забвению деборинской школой, которая из-за внешнего сходства методов забыла о принципиальном различии в мировоззрении ³⁾.

Белинский всю жизнь оставался на базе именно идеалистической диалектики, даже тогда, когда он распрощался со знаменитой разумной действительностью. Задача марксистской литературной критики заключается в том, чтобы взять у Белинского рациональное зерно, очистив его от мистической оболочки. Плеханов в этом направлении сделал

достаточно, но все же не довел своей работы до конца, ибо не учитывал, что основным законом диалектики является закон единства противоположностей.

Интересно, что Белинский как раз в период своего бурного увлечения действительностью (1839 г.) отмечает в диалектике закон единства противоположностей: «Доселе, — говорит Белинский, — мы смотрели на общество как на нечто единое и целое; теперь взглянем на него как на единство противоположностей, которых борьба и взаимные отношения составляют жизнь» ¹⁾. Но как трактует Белинский этот закон? Он трактует его по-своему: не как борьбу различных классов, а как борьбу между личностью и обществом. Единство, по мнению Белинского, выражается «как бесконечное многообразие особенностей...» «Человек как особность... естественно видит в других людях как особностях же нечто враждебное себе» ²⁾. Но враждебность эта не вечная. Как только человек осознает право всех людей на удовольствие, сейчас же враждебность заменяется любовью к ближнему. «Из закона любви вытекает закон нравственный, который создается из столкновения внутреннего (субъективного) мира человека с внешним (объективным) миром» ³⁾. Итак, противоречия между субъектом и объектом есть временное явление. Как только человек сознает эту противоположность, в нем сейчас же создается стремление к единству:

«Ссора не может быть целью самой себе, но имеет целью примирение... Горько тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним» ⁴⁾.

Механистическое толкование противоречия как столкновения между субъектом и объектом у Белинского дополняется абсолютизированием момента единства в законе единства противоположностей. Именно отсюда он выводит необходимость примирения отдельной личности с действительностью: «Ссора имеет своей целью при-

¹⁾ См. Чернышевский. «Очерки», стр. 252. Изд. П. Н. М. Чернышевского, 1893 г.

²⁾ Предисловие ко II изд. «Капитала», т. I, перевод П. Струве, 1906 г.

³⁾ Стало быть, формалистическое толкование Чернышевским гегелевского диалектического метода в значительной мере объясняется тем, что наш великий публицист не видел противоречия внутри самой гегелевской диалектики, а сводил противоречия в системе Гегеля к противоречиям между «принципами» и практическими «выводами».

¹⁾ См. Собр. сочинений под редакцией Е. Д. Носкова, изд. II, стр. 375.

²⁾ Там же, стр. 376.

³⁾ Там же.

⁴⁾ Там же, стр. 378.

мирение...» Алеко Пушкина был жестоко наказан за разрыв с обществом и нежелание с ним примириться. Белинский не понимает, что противоречие между Алеко и обществом является не только противоречием между субъектом и объектом, но главным образом противоречием внутри самого объекта, расколом в самом обществе. Наш великий критик по существу застрял на самой примитивной диалектике, когда отмечает лишь противоречие внешне положенных явлений. В противном случае он мог бы понять, что разлад в психологии Алеко объясняется разладом внутри самого общества. Мы особенно отмечаем этот момент в мизовоззрении Белинского, ибо Плеханов по существу в этом пункте остался на позициях нашего критика. Плеханов также трагедии в творчестве писателя объясняет этим разладом между личностью и обществом, рассматривая общество как абстрактное единство, противопоставляемое отдельной личности. Известно, что Плеханов не только порицал лозунг «искусство для искусства», но и пытался оправдать его путем ссылки на социально-исторические условия. Исходя из этого чисто объективистского понимания противоречия, Г. В. Плеханов, как известно, пытался взять под защиту известное стихотворение Пушкина николаевской эпохи «Чернь»:

Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас?
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!..
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв!

Г. В. Плеханов эти строки, где явно выражено дворянское, высокомерное отношение к толпе, защищает таким образом:

«Если художники данной страны, в данное время чуждаются «житейского волненья и битв», а в другое время, наоборот, стремятся к битвам и к неизбежно связанным с ними волнениям, то это происходит не от того, что кто-то посторонний предписывает им различные обязанности («должны») в различные эпохи, а оттого, что при данных общественных условиях ими

овладевает одно настроение, а при других — другое»¹⁾.

Так что не классы предписывают поэту его долг («должны»), а все зависит от настроения художника: в одно время он может питать к народу горячие симпатии, а в другое время — видеть в нем «глупость» и злобу, достойные лишь «бичей», «темниц» и «топоров». А теоретически «Чернь» Пушкина и вообще лозунг «искусство для искусства» Г. В. Плеханов обосновывает так:

«Склонность к искусству для искусства возникает там, где существует разлад между художниками и окружающей их общественной жизнью»²⁾.

Это толкование Плехановым тезиса «искусство для искусства» и оправдание по существу этого тезиса, как теперь ясно, имеет своим источником то же непонимание закона единства противоположностей, с которым мы встретились выше у Белинского. Не о противоречиях внутри общества, не о классовых противоречиях толкует Белинский, а о внешних противоречиях между обществом и личностью. Но тогда непонятно, почему же не все поэты, не все литераторы и художники подчиняются этому закону? Известно например, что Некрасов не отвернулся от действительности, художник французской революции Давид также не встал на позицию «искусство для искусства», а шел вместе с жизнью и открыто подчеркивал свои симпатии определенной части народа. Замечательный живописец-революционер, романтик Домье также не отвернулся от революции 1848 г., а пишет свою «Республику», где становится на сторону народа. Правда, часто наблюдаются такие явления, когда писатель и поэт меняют свои убеждения к концу своей жизни или на определенном этапе своего художественного творчества. Плеханов объясняет этот факт «настроением» писателя.

¹⁾ Плеханов. «Искусство и общественная жизнь». Соч., т. XIV, стр. 123.

²⁾ Там же, стр. 126.

Известно, что Белинский в «Менцеле» точно так же оценивал толпу:

«Толпа любит посредственность, и посредственность должна угождать толпе...» «Толпа того и слушает, тому и верит, у кого горло широко и замашки наглее». Соч., стр. 394—397.

Мы же думаем, что такое объяснение является не марксистским. Только ленинское понимание диалектического закона единства противоположностей проливает свет на эту проблему в художественном творчестве. Для этого нужно помнить, что класс, от имени которого выступает поэт, писатель или художник, — не есть социальная совокупность, на всех этапах сама себе тождественная. Физиономия класса изменяется на различных этапах его исторического развития. Этот процесс саморазвития классов можно объяснить только с точки зрения закона единства противоположностей. «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его — есть суть диалектики»¹⁾.

Ни Белинский, ни даже Г. В. Плеханов не дошли до такого понимания противоречия, как «раздвоение единого».

Выше мы видели, что Белинский более существенным в единстве противоположностей считает момент единства, а не противоречия. Стараясь представить Менцеля — немецкого критика, отрицавшего тезис Гете «искусство для искусства», — посмешнее, Белинский апеллировал от противоречия к единству:

«Не слышна ему музыка сфер и миров; глух он к гармоническому хору, который образует своим стройным чином, своими неизменяемыми законами, своим несмещаемым течением к предустановленной от века цели, творения предвечного художника!».

Нет, ему сыщатся только диссонансы, мерещится один раздор: тучи грозят отнять свет, гром — разбить землю, молния — испепелить все живущее на ней...»²⁾.

Белинский возмущен тем, что Менцель всюду видит одни лишь «диссонансы», один лишь «раздор». Наш критик все противоречия считает моментом, подчиненным единству. И это происходит оттого, что момент противоречия кажется Белинскому чем-то внешним, явлением, а сущность заключается в единстве. Греция не умерла навсегда под натиском варварства и невежества, а вошла в нашу жизнь как элемент; римская цивилизация также не погибла,

а снова обнаружилась в «вечном городе, столице духовного мира». Даже законы Юстиниана и те вошли составной частью в нашу современную жизнь. Белинский всюду ищет сходства, единства, тождества и пытается отстранить на задний план различия, противоположности, противоречия. В этот первый гегелевский период В. Г. Белинский требовал от поэта и писателя единства, гармонии. Все то, что выражало в искусстве социальные диссонансы, отвергалось нашим критиком. Отсюда его отрицательное отношение к французской литературе, особенно к Жорж-Занд, у которой романы пропитаны идеями сенсационизма. Христианское единство ставится превыше всякого «масонского» или «квакерского» сектантства. Белинский в это время ратует не за такую поэзию, которая отражала бы временные общественные интересы, а за такую, в которой освещались бы «вопросы веков, интересы мира, судьбы человечества».

После всего сказанного особенно глубокий смысл приобретают слова Ленина: «Единство противоположностей условно, временно, переходяще, релятивно, Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютное развитие, движение»¹⁾. Это замечание весьма существенно, ибо сам Гегель, исходя из своего идеалистического основания, хотя и считает противоречие основой движения вперед, все же пытается подчинить все некоторому мистическому единству. В «Энциклопедии», в учении о сущности, Гегель говорит:

«Противоречие — вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить. Правильно в этом утверждении лишь то, что противоречием дело не может закончиться и что оно (противоречие) снимает себя само через себя»²⁾.

Гегель стоит на точке зрения диалектики конечного. Все явления имеют начало и конец, но в основании мира конечных вещей, отдельных явлений лежит сущность, «эта сущность положена как целостность». Особенно резко эта целостность подчеркивается Гегелем в

¹⁾ Ленин. — «К вопросу о диалектике». Сб. XII, стр. 323.

²⁾ Собр. соч., стр. 392.

¹⁾ Ленинский сборник, XII, стр. 324.

²⁾ Гегель. Соч., т. I, стр. 206. ГИЗ, 1930.

его учении о понятии, где он решительно заявляет:

«Мы представляем себе мир великим целым, сотворенным богом и сотворенным именно так, что бог открылся нам в нем... Философия истари не ставила своей целью ничего иного, кроме мыслящего познания идеи, и все заслуживающее названия философии всегда кляло в основание своих учений сознание абсолютного единства того, что рассудком признается в его раздельности»¹⁾.

Правда, Гегель все же больше останавливается на подробном анализе всех форм различий и противоречий, но все же основной смысл его философии сводится к тому, чтобы все эти различия, особенности опять вернуть в лоно единства. Этого требовала та государственная система, которая претендовала на примирение всех острых противоречий.

Интересно, что Белинский ставил Гете выше Шиллера, потому что первый не увлекался «никакими односторонностями», но обнимал «все в оконченной целостности»²⁾. Какое дело было Гете до французской революции эпохи Конвента, когда он был поэтом «мира и вечности» и не мог остановиться на отдельной ступени мировой истории? Один из этапов французской революции Белинский готов считать односторонностью, не понимая того, что в этом одном этапе концентрируется на мгновение все прошлое, настоящее и будущее. Мировая история не есть абстракция, она состоит из бесконечного количества этапов. Стоит философу, поэту или критику поочередно отвлечься от всех коротких временных этапов, чтобы история как некая целостность испарилась вовсе из сознания. Нельзя говорить об единстве вообще, такое единство есть пустая абстракция: можно говорить и мыслить только об единстве каких-то конкретных вещей, определенных исторических этапов. Такой конкретный анализ единства прежде всего обнаруживает фиктивность (относительность) единства и реальность (абсолютность) противоречия. Вот почему Шиллер оказался более глу-

боким, более чутким поэтом, когда страстно реагировал на революцию.

Белинский упрекает французскую литературу вовсе не за безнравственность, а за то, что она пыталась освещать отдельные моменты жизни, которые поражали читателя своей отвратительностью. Вот если бы Вольтер, Жорж-Занд, Гюго не только рисовали отрицательные моменты истории, но вместе с тем указывали бы и на положительные стороны, т.-е. отображали бы жизнь в единстве, тогда они заслуживали бы названия великих писателей. А поскольку они не выполняют этого основного требования искусства — стремления к единству, они заслуживают названия «санкюлотов». Другое дело Гете: «Гете был дух, во всем живший и все в себе ощущавший своим поэтическим ясновидением, следовательно, неспособный предаться никакой односторонности, ни пристать ни к какому исключительному учению, системе, партии. Он многосторожен, как природа»¹⁾. Белинский ставит единство, целостность, многосторонность выше особенности, противоречия и односторонности. Он не понимает, что на определенном историческом этапе классовая, партийная субъективность и есть объективность, есть всесторонность, ибо эта страстная борьба за определенные принципы и ведет историю вперед, а многосторонние широкие натуры способны своей беспартийностью только замедлять ход исторического развития. Собственно говоря, социалистическое мировоззрение Белинского строится на его стремлении принести частное и особенное в жертву всеобщему и целостному. Белинский, подчиняя индивидуальное абстрактному, всеобщему, строит себе идеал какого-то абстрактного социализма. В известном письме к Боткину от 8 сентября 1841 г. Белинский особенно подчеркивает то, что социалистическая идея целиком поглощает историю, религию и философию. Абстрактную гегелевскую абсолютную идею Белинский теперь стал величать социализмом, но ничего конкретного с этим понятием у нашего критика не ассоциировалось, и самое большее, что мы находим в социализме Белинского, — это утопические **мечтания**

¹⁾ Там же, стр. 207.

²⁾ См. Белинский. Собр. соч., стр. 410.

¹⁾ Там же, стр. 425.

блага человечества. Многие «христианские» социалисты за стремление Белинского к «единству», к «гармонии» могут причислить нашего критика к социалистам. Но если вспомнить, что против марковского научного социализма всегда выдвигалось то обвинение, что он ведет общество к расколу, то станет ясным, что с большой натяжкой Белинский может быть отнесен к социалистам в марковском толковании этого слова, хотя вся литературно-общественная деятельность великого критика была преддверием к диалектическому материализму и научному социализму. Во всяком случае социалистические идеалы Белинского, поскольку они опирались на идею гармонии, не шли дальше мелкобуржуазных чаяний и надежд примирить непримиримое, слить в единое—противоположное. Этот мелкобуржуазный социализм особенно ярко сказался в декабрьском (1847 г.) письме к Боткину, в котором Белинский не мыслит ни одного государства без среднего класса, ибо «такие государства, по мнению критика, осуждены на вечное ничтожество»¹⁾.

Обычно первый период увлечения Белинского гегелевой философией связывается с его неправильным толкованием тезиса о разумной действительности. На самом деле Белинский великолепно понимал диалектику этого тезиса. Все ошибки Белинского не только в первый период его увлечения гегельянством, но и в период его отрицательного отношения к действительности связаны вовсе не с тезисом о разумности действительности, а с его абстрактным пониманием всеобщего, единого, целостного и с таким же абстрактным пониманием особенного, единичного и частного. Белинский признает разумной действительность только потому, что в ней частное подчинено всеобщему.

«Все, что есть, то необходимо, разумно и действительно. Посмотрите на природу, приникните с любовью к ее материнской груди, прислушайтесь к биению ее сердца — и увидите в ее бесконечном разнообразии удивительное единство, в ее бесконечном проти-

воречии удивительную гармонию... Если же мир природы, столь разнообразный, столь повидимому противоречивый, так разумно действителен, то неужели высший его мир истории не такое же разумно действительное развитие божественной идеи, а какая-то бессвязная сказка, полная случайных и противоречащих столкновений между обстоятельствами»¹⁾.

Белинский в согласии с Гегелем считает, что только рассудок берет явления в изолированности от сущности, разум же как высшая форма познания постигает явления нераздельно с идеею, охватывая предмет со всех его сторон. Верную мысль об единстве явления с сущностью, о целостности особенного и всеобщего Белинский, идя по стопам Гегеля, низводит до того, что явление, особенное, становится в его толковании чем-то несущественным.

Гегель в «Феноменологии духа» говорит:

«Именно потому, что форма так же существенна для сущности, как и она сама, сущность надо понимать и выражать не просто как сущность, т. е. как непосредственную субстанцию или как чистое созерцание божеством себя самого, но так же, как и форму со всем богатством развернутой формы; только благодаря этому сущность становится действительностью. Истинное есть целое. Но целое представляет собой сущность, осуществляющуюся путем своего развития»²⁾.

Для Гегеля «форма является собственным становлением самого конкретного содержания»³⁾ и потому нельзя этой форме придавать несущественное значение, как это делал Белинский. «Частное,—говорит Гегель,—содержит в себе общность»⁴⁾. Но более того, по Гегелю: «Частное не только содержит в себе общее, но также изображает последнее через свою определенность... Частное есть само общее, но первое есть различие второго или отношение к другому, видимость второго во вне»⁵⁾.

¹⁾ Белинский. Собр. соч., стр. 422—423.

²⁾ Г. В. Гегель. «Феноменология духа», стр. 8. Пер. под редакцией Э. Л. Радлова.

³⁾ Там же, стр. 26.

⁴⁾ Наука логики, ч. II, стр. 23. Пер. Дюбольского.

⁵⁾ Там же, стр. 23—24.

⁴⁾ Подробности о социализме Белинского можно узнать в книге С. Е. Щукина «В. Г. Белинский и социализм», изд. Комакадемии, 1929 г.

Несмотря на то, что Гегель неоднократно отдает дань конкретному перед абстрактным, все же он целиком остается на позициях идеализма, поскольку вся его философия проникнута саморазвитием абсолютного духа. В своей так называемой «Малой логике», в учении о бытии, Гегель недвусмысленно заявляет:

«Философия и есть учение, которое должно освободить человека от бесконечного множества конечных целей и намерений и сделать его равнодушным к ним так, чтобы ему и впрямь было все равно, есть ли подобные вещи или их нет»¹⁾.

Из вечного становления, постоянного развития Гегель делает тот вывод, что «наличное бытие... односторонне и конечно»²⁾.

Именно на этих позициях остается В. Г. Белинский, когда на первый план выдвигает вечное и считает несущественным временное. Исходя из этого, Белинский относил к классицизму тот вид художественного творчества, который поглощал односторонность в единстве. По мнению Белинского, «народы Азии и Африки выразили собою одну сторону духа: в лице греков все эти односторонности явились в живом и слитном единстве»³⁾.

Белинский, а вслед за ним и Плеханов предъявляют к классическому произведению требование, чтобы оно отражало действительный мир в его единстве и уравнивало бы идеи с формой. По мнению Белинского и Плеханова, это единство формы и содержания является основным принципом классического искусства. Художественное произведение, которое не дает такого единства или тождества формы и содержания, не может считаться произведением художественным. В «Горе от ума» Белинский отдает классицизму преимущество перед романтизмом, но это вытекает у Белинского из его формально-логического, а не диалектического понимания задач ис-

кусства. Белинский, который в свое время так преклонился перед действительностью, не усвоил, что появление романтического направления в искусстве связано с тем, что содержание переросло форму, что различия внутри единства перешли в следующую стадию, в противоположность, когда форма и содержание вступают между собой в непримиримую борьбу. Формально-логическим является всякое допущение полной уравниваемости между содержанием и формой. Такого равновесия быть не может, ибо оно предполагает полнейший застой как в самой социальной жизни, так и в искусстве. Постоянная борьба между формой и содержанием и обуславливает собой непрерывное развитие искусства. Но эту борьбу нужно понимать не механистически, не так, что форма и содержание друг другу внешне противостоят, а в том смысле, что и содержание, и форма находятся в постоянном диалектическом единстве. Когда Белинский выводит классическое искусство из тождества идеи с формой, а романтизм — из перевеса идеи над формой, он обнаруживает чисто формалистическое толкование закона единства противоположностей. Этот формализм заставляет Белинского отнести Шекспира и Сервантеса к поэтам, которые обнялись в едином синтезе «богатства романтического содержания с пластицизмом классической формы»¹⁾. Форма таким образом не выводится из данного конкретного содержания, а искусственно навязывается новому содержанию. Известно, что во Франции XVII и XVIII веков возврата к классической трагедии требовало высшее дворянство. Эти придворные дворяне желали видеть на сцене то, что они начали терять в жизни. Но эти требования не удовлетворялись писателями, художниками и актерами, которые вовсе не сочувствовали старым традициям, а склонялись больше к третьему сословию по своим социальным симпатиям. Совершенно прав Плеханов, когда он говорит, что «дитя аристократии, классическая трагедия беспредельно и неоспоримо господствовала на французской сцене, по-

¹⁾ Гегель. Соч., т. I, стр. 151. Пер. Б. Столпнера, 1930 г.

²⁾ Там же, стр. 153.

³⁾ В. Г. Белинский. — Собр. соч., стр. 432—433.

¹⁾ Соч., стр. 438.

ка нераздельно и неоспоримо господствовала аристократия»¹⁾.

И дальше:

«Классическая трагедия продолжала жить вплоть до той поры, когда французская буржуазия окончательно восторжествовала над защитниками старого порядка и когда увлечение республиканскими героями древности утратило для нее всякое общественное значение»²⁾.

Следовательно буржуазия на определенной ступени своей борьбы с дворянством (до революции) также подражала классическому искусству древнего мира, но подражала как раз таким образцам, в которых обнаруживалось республиканское содержание. Но очень скоро она должна была дойти до своей собственной формы, ибо вливать новое содержание в старые мехи стало неудобно.

Белинскому благодаря диалектике удавалось иногда идти дальше Фейербаха; он пытался рассматривать человека не только в его индивидуальности, но и как члена общества. И здесь Белинский понимал, что «образ чувствования и мышления видоизменяется сообразно с общественностью и национальностью, к которым он принадлежит, с историческим состоянием его отечества и всего человеческого рода»³⁾.

В 1841 году в «Разделении поэзии на виды и роды» Белинский еще крепко стоит на точке зрения абсолютного идеализма. Самый процесс развития мышления критик понимал как «диалектическое развитие мысли из самой себя». Под человеческим мышлением Белинский, как и Гегель, понимал «мышление, само себя мыслящее»⁴⁾.

«Мыслимое с мыслящим однородно, единосушно и тождественно, так что первое движение первобытной материи, стремившееся стать (Werden) нашей планетой, и последнее разумное слово сознающего человека — есть не что иное, как одна и та же

сущность, только в различных моментах своего развития. Сфера познаваемого есть почва, из которой возникает и образуется сознание»¹⁾.

Белинский совершенно прав, когда считает сферу познаваемого источником, откуда возникает сознание. Но он все же остается в рамках гегелевой философии, пока продолжает отождествлять мыслящий дух (человеческое сознание) с объективным миром. Хотя человеческое сознание рождается из самой неорганической природы, но все же поставить знак равенства между мышлением человека и самой природой — значит оставаться на позициях абсолютного идеализма. В своей работе о Пушкине Белинский уже начинает понимать, что мышления вне человека не бывает, и даже доходит (как это видно из приведенной цитаты) до того, что связывает человеческое мышление с общественными отношениями. Таким образом у Белинского все же диалектический метод иногда одерживает верх над метафизической гегелевской системой. Так, в «Разделении поэзии на виды и роды» Белинский еще целиком стоит на позициях идеализма. Но уже и здесь он считает, что «эстетическая точка зрения, как всякая односторонность, всегда доводит до ложных заключений, и потому при суждении о литературе, кроме эстетической точки зрения, нужна еще и историческая». Но к этому выводу Белинский приходит, отнюдь не изменяя своему гегелевскому принципу о подчинении единичного и особенного всеобщему. Необходимость пользоваться и историческим критерием при оценке художественного произведения просто вытекает из тезиса о многообразии сторон любого явления. Исторический подход у Белинского есть один из критериев среди других равноправных методов, но не основной метод анализа литературного произведения. Здесь механически противопоставляется эстетическая точка зрения исторической вместо того, чтобы видеть единство двух противоположностей. Белинский не понимал, что исторически необходимо оценивать не только внутреннее содержание поэзии, но и форму,

¹⁾ Плеханов. Соч., т. XIV стр. 104.

²⁾ Там же, стр. 106.

³⁾ См. Белинский. Соч. А. Пушкина. Собр. соч., стр. 1385.

⁴⁾ Там же, стр. 846.

¹⁾ Там же, стр. 842.

ибо форма так же, как и содержание, имеет свою историю и свой, выражаясь словами Плеханова, социальный эквивалент.

В период своего критического отношения Белинский уже понимал, что без индивидуального и особенного не может быть и всеобщего. Он писал:

«Общее выше частного, безусловное выше индивидуального, разум выше личности... Но ведь общее выражается в частном, безусловное — в индивидуальном, а разум — в личности, и без частного, индивидуального и личного общее, безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая действительность»¹⁾.

Здесь Белинский уже не чистый гегельянец, а фейербахианец, поскольку он общее объясняет единичным и индивидуальным. Но до современного диалектического материализма Белинскому еще далеко, — он все же индивидуальное и конкретное рассматривает как механические части всеобщего. Отсюда и вытекает его бесстрастное, слишком объективистское, фейербахианское отношение к художественной литературе:

«Нельзя, — говорит Белинский, — изучить Байрона, не быв некоторое время байронистом в душе, Гёте — гетистом, Шиллера — шиллеристом и т. д.»²⁾.

И до самого большого, до чего доходит Белинский, это до спокойного созерцания литературного произведения. Это созерцательное отношение к литературно-художественным явлениям есть логический результат гегелевой философии, которая по существу превращает все исторические ступени, всю многообразную жизнь общества в простой придаток, в обыкновенную иллюстрацию саморазвивающегося абсолютного духа. Вот почему, даже будучи фейербахианцем, Белинский не освобождается от гегелевских абстракций.

В письме от 19 ноября 1844 г. Энгельс писал Марксу:

«Мы должны исходить из эмпиризма или материализма, если мы хотим, чтобы наши идеи и в особенности наш человек были чем-нибудь реальным; мы должны всеобщее выводить из единичного, а не из себя или из воздуха, как Гегель»¹⁾.

Этими словами Энгельс дал наиболее последовательную критику и Гегелю, и его талантливому последователю Белинскому. Именно индивидуальное, особенное, конкретное выделяется Энгельсом и ставится во главу угла его диалектического материализма. Этого Белинский еще не понимал и поэтому не вышел из рамок гегельянства.

Заканчивая статью, мы напомним, что основной грех гегельянства, в том числе и Белинского, заключается в механическом подчинении отдельного всеобщему. Ни Гегель, ни Белинский не досрости до той точки зрения, что отдельное, частное в истории играет роль очередного звена, от которого часто зависит вся история. Все мы помним спор Ленина и Бухарина о стакане. Бухарин считал сверхдиалектическим то положение, что необходимо рассматривать стакан со всех сторон, т. е. брать его не конкретно, а в его всеобщности, многосторонности. Но Ленин подчеркивал:

«Если мне нужен стакан сейчас как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. д.» (Ленин. Соч. т. XXVI, стр. 134. Изд. III).

Как видно из приведенного примера, Ленин выдвигает на первый план индивидуальное, частное, специфичное. Именно на учете этой специфики, на учете конкретного исторического этапа строится весь диалектический материализм.

Белинский еще не дошел до материалистической диалектики, а остался на позициях диалектического идеализма, поскольку общее и единое возводил в принцип, а частное и противоречивое считал релятивным.

¹⁾ Собр. соч., стр. 1518.

²⁾ Там же, стр. 1522.

¹⁾ Собр. соч., т. XXI, стр. 7.

2. ПРОБЛЕМЫ МАРКСИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ СОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Вяч. Полонский

Статья третья¹⁾.

ОБ ИНТУИЦИИ

1. Интуиция и сознание

I

«Интуиция» принадлежит к числу самых популярных понятий. Она мелькает в каждой повседневной речи. Она встречается в научной литературе. Когда хотят похвалить писателя, говорят: у него богатая интуиция. «Творчество интуитивно», это — ходкая монета. Чаще всего «интуицию» прогнотопоставляют «сознанию». Интуиция бессознательна. Именно такое понимание наиболее распространено: «бессознательное» и есть интуиция. При этом господствует убеждение, будто свидетельства художников, великих и малых, в один голос говорят в пользу «интуиции». Это не совсем так. Обратившись к художникам и мыслителям, мы встретим хаос противоречивых мнений. Если, скажем, Белинский в шеллингианский период своих философских увлечений высказал мысль, что поэзия есть бессознательное выражение творящего духа, и что следовательно поэт в минуту творчества есть существо более страдательное, нежели действующее, то Гоголь, наоборот, признавался, что строил свои портреты силой не «воображения», но «соображения», подчеркивая этим процесс сознательной, активной работы. Его записные книжки и его рукописи не оставляют никаких сомнений именно в таком характере его творческого процесса. Это не помешало ему конечно позднее в «выбранных местах из переписки с друзьями» писать о боговдохновенности своих «прозрений», но причина этого «уклона» Гоголя достаточно ясна. Если Гете обмолвится, что самые добросовестные старания поэта удаются в «моменты бессознательного состояния», то Пушкин, наоборот, заметит, что «вдохновение» без «труда» бесплодно, а «труд», не даваясь «бессознательным» состоянием. Если Анри Пуанкаре, о котором мы будем говорить далее, много шумел по

поводу «бессознательности» его открытия теории фуксовых функций, то Альберт Эйнштейн, наоборот, признавался, что теория относительности возникла в его сознании не сразу, не «внезапно». — он пришел к этой идее постепенно, отдельными закономерностями, подчерпнутыми из различных опытов¹⁾. Можно было бы привести длинный ряд таких опровергающих друг друга показаний и противоположений ученых и художников, независимо от того, стали бы мы привлекать свидетельства «классиков» давно умерших или здравствующих наших современников.

Разноречивость взглядов по основному, казалось бы, вопросу о творческом процессе происходит именно потому, что вопрос этот до сего времени остается областью дискуссии. Здесь многое спорно, и больше всего спорно понимание «интуиции», некоей особой способности человеческого духа как-то «внесознательно» или «бессознательно» постигать мир, изобретать, создавать новые ценности.

II

В 1922 году в Петербурге вышла книга профессора Л. С. Берга «Наука, ее смысл, содержание и классификация». Ученый автор ее доказывал, что центральная стадия творческого труда есть стадия бессознательной переработки усвоенного и, что эта переработка совершается в «тайниках души автора».

Он уверял, что именно в «тайниках» и происходит «творчество классификаций, законов, гипотез, образов». Процесс этот он называл «таинственным», одинаковым у ученого и художника.

Не только поэт, но и ученый оказывается подобным «пифии». Процесс творчества совершается в «недоступных

¹⁾ См. А. Мошковский. «Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира». Перев. И. Румера. Изд-во «Работник просвещения». М. 1922, стр. 91.

²⁾ См. «Н. М.» кн. 4 и 6 с. г.

для нас сферах бессознательного» — узнаем мы¹⁾). Как же обосновывал проф. Берг это свое убеждение? Он приводил несколько примеров. Эти примеры широко популярны. На них еще и теперь ссылаются «теоретики», желающие развенчать творческое «сознание». Обратимся к этим примерам.

Проф. Л. С. Берг приводит известный случай, рассказанный математиком Пуанкаре в книге «Наука и метод»²⁾. Вот в чем он заключается.

III

Знаменитый математик, — передает Л. С. Берг, — долго работал над особым типом функций, которым он дал название фуксовых. Решение проблемы Пуанкаре не давалось. Утомившись от бесплодных поисков, он принял участие в геологической экскурсии, уехал в другой город и забыл свои математические работы. «И вот, — рассказывал Пуанкаре, — в тот момент, когда я заносил ногу на ступеньку омнибуса, мне пришла в голову идея, — хотя мои предыдущие мысли не имели с нею ничего общего, — что те преобразования, которыми я воспользовался для определения фуксовых функций, тождественны с преобразованиями неевклидовой геометрии. Я не проверил этой идеи, для этого я не имел времени, так как, едва усевшись в омнибус, я возобновил начатый разговор. Тем не менее я сразу почувствовал полную уверенность в правильности идеи. Возвратясь в Канн, я сделал проверку: идея оказалась правильной».

Не удовлетворяясь рассказом Пуанкаре, проф. Л. С. Берг опирается на свой личный опыт: «Могу привести аналогичный пример из собственной практики, — пишет он. — Я долго обдумывал вопрос о происхождении фауны Байкала. Однажды я сидел в трамвае, насколько не думая об этом предмете. Когда я соскакивал с подножки трамвая на остановке у Исаакиевского собора, мне внезапно пришла в голову теория, которую я затем разработал и ныне считаю правильной. Это было в 1908 г. Тогда я не знал еще о статье Пуанка-

ре, которая в русском переводе вышла лишь в 1910 г.»¹⁾).

Такие «прозрения» проф. Л. С. Берг и считает «интуициями». Он называет их также «внезапными наитиями». Со слов Пуанкаре он говорит о «бессознательной машине», которую пускает в ход мыслительная работа. Он согласен с тем, что без предварительного, рационального труда «бессознательная машина» не двинется с места и ничего не произведет. «Но разве не ясно, с другой стороны, — уверяет он, — что «рациональный труд» творческим эффектом обязан «бессознательной машине»?

В результате своего исследования наш профессор приходит к заключению, что в творческом процессе главное, центральное значение имеет не собрание фактов или наблюдений и сознательное усвоение наблюдаемого (первый этап творческого процесса) и не «осуществление идеи», которым руководит логика (третий и последний этап творческой работы), а именно «бессознательная» переработка усвоенного, совершающаяся в «тайниках» души автора. Именно «бессознательная переработка» является центральной и основной стадией творчества.

«Логика», — пишет он, — под которой следует разуметь рациональную работу рассудка, интеллекта, «бесполезна как для ученого, так и для поэта». Она становится необходимой лишь в последней стадии, когда «бессознательное» сумеет подготовить, осмыслить, изобрести, словом, произвести основную эффективную работу.

IV.

Но странная вещь: вдумываясь в происшествие, рассказанное Пуанкаре и подтвержденное «собственной практикой» проф. Л. С. Берга, мы констатируем, что выводы, сделанные на основании этого материала, произвольны.

Прежде всего: откуда видно, что после того, как академик Пуанкаре прекратил упорное «сознательное» обдумывание проблемы, мышление продолжалось в его «бессознательной» машине? Но пойдём на уступ-

¹⁾ Изд. «Время». Указанные цитаты — см. стр. 82 и 86.

²⁾ Одесса, 1910, гл. III.

¹⁾ Указанн. изд., стр. 86—87.

ку. Мы (условно) допустим такую возможность. Какая картина тогда получается? Рядом с сознательной машиной существует «бессознательная». Сознательная работа мысли, бессильная разрешить вопрос, «заводит» бессознательную машину, которая работает в то время, когда сознание занято другими вопросами, отдыхает, передается забавам или бездействует вовсе. В этой «бессознательной машине» работа происходит самостоятельно, без руководства, неведомо как, в таинственном мраке. Математическая задача разрешается без математика. Мышление происходит без мыслителя. Формулы, вычисления, комбинации, всевозможные сочетания элементов текут в неведомой сфере, повинаясь неведомым законам, а затем уже, когда вычисления произведены, продуманы, подсчитаны, проверены (без мыслителя), когда из множества возможных сочетаний избраны именно те, которых безрезультатно искало «сознание», готовый результат в виде «изобретения», «найденного решения» выскакивает, как шоколад из автомата: пожалуйте!

Предположим, что все так и происходит. Но почему этот «бессознательный» процесс продолжает именно то, что было начато «сознанием», в том направлении, в каком шло мышление сознательное, и приводит к тому самому результату, какого искало «сознание»? Если «бессознательная» машина, изолированная от «сознания», представляет собой самостоятельную область, «таинственные недра души», где происходят загадочные процессы, почему вся эта «тайна» оказывается в конце концов в услужении «сознания», работает для «сознания», как того сознание хочет, в том направлении и над тем материалом, какой дает ей «сознание»? И если «бессознание» работает над материалом, какой доставляет ему «сознание», и в том именно направлении, в каком это нужно «сознанию», почему следует заключить, что это «бессознание» должно быть противопоставлено «сознанию» не как его «исполнитель», «слуга», а как высшая «интуиция», способная, в противоположность ему самому постигать подлинную сущность вещей? На эти вопросы сторонни-

ки «бессознательной машины» не дают никакого вразумительного ответа.

Когда мы имеем дело с «бессознательным» Фрейда, картина представляется более ясной. Фрейдизм устанавливает в человеческой психике наличность «глубин», где, подобно свернутым пружинам, таятся вытесненные влечения. Пытаясь «развернуться», проявить во вне неизрасходованную энергию, эти влечения прорываются в сознание, обманывают бдительность «цензуры», принимают форму образов, символов, снов наяву и т. п. Мы отвергаем этот «механизм» как ложный, но это все-таки «механизм», с которым можно считаться. Другое дело «тайники» души проф. Л. Берга. Здесь по существу сплошной мрак. Нам предлагается принять «на веру» существование «бессознательной машины», которая:

- 1) работает неизвестно как,
- 2) неизвестно почему,
- 3) не имеет сообщения с сознанием,
- 4) тем не менее выполняет задания сознания,
- 5) пользуется опытом сознания и
- 6) проявляет результат своей работы «вдруг», «внезапно», «неумопостижимым» путем, подобно «откровению».

«Бессознательная машина» работает накопленным опытом. Иначе как и чем вообще она будет работать? Имеет ли она свои собственные задачи? Нет. Задания она получает от сознания. Стало быть, она связана с сознанием. Но как эта связь происходит? Где прекращается «сознание» и начинается «таинственная», «бессознательная» область души? Неизвестно. Непонятно. Таинственно.

Все это приводит к тому, что люди начинают верить в существование «бессознательного Я», некоей второй, загадочной, стихийной личности, являющейся подлинным хозяином, руководителем поведения человека. По их убеждению, именно этому бессознательному «Я» и обязан человек всей конструктивной, творческой деятельностью.

Это иррациональное, сверхразумное «Я» награждается способностью мыслить и создавать помимо и сверх опыта, — неумопостижимым, «мистическим» путем проникать в сущность вещей. Оно становится источником всевозможных

иррациональных и мистических напраздений, теорий «внутреннего зрения», «перевоплощения», вплоть до «переселения душ», сверхопытного знания, всевозможной чертовщины и т. п. вещей, которыми было богато средневековье.

Нет человека как единства. Есть «сознательный» человек, бессильный и слепой, и «подсознательный» или «бессознательный», по-настоящему зрячий, способный постигать тайны мира.

V

Но из «случая Пуанкаре», приведенного выше, во все не следует, что проблема фуксовых функций была разрешена в «бессознании». Он рассказал лишь о том, как, долго раздумывая над проблемой и не разрешив ее, он бросил ее заниматься. Что это значит? Прекратил работу совершенно? Истребил, вырвал с корнем интерес к этой проблеме? Освободил от нее все клетки мозга? Нет. Это значит: усилием воли он перестал концентрировать внимание на этой проблеме. Он просто стал рассеянно переводить внимание с предмета на предмет. Он «отдыхал». Он решил уехать по другим делам в другой город и т. д. Все это означает лишь, что академик освободил «центр сознания» от занимавшего его вопроса. Но освободить «центр сознания» — значит ли это переключить работу в «бессознательное»?

Здесь-то и начинается спор. Академик Пуанкаре, проф. Берг, а следом за ними все сторонники «бессознательного» утверждают, что так оно действительно и происходит. Но этим утверждением они обнаруживают лишь основной порок своего воззрения: «сознанием они считают лишь «центр» его, т.-е. ту часть сознания, ту точку, в которой, если графически изобразить поле сознания в виде круга, помещается объект мысли при фиксации внимания, при рассмотрении его «в упор». Но ведь «сознание» не исчерпывается одним «центром». Поле сознания можно было бы сравнить с полем зрения: последнее также представляет собой «круг», в котором есть «центр», но есть и периферия. При сосредоточении зрения на каком-нибудь предмете

с помощью известного приспособления зрительного аппарата предмет помещается в «желтом пятне»; находясь в этой точке, предмет наилучше видим. Значит ли это, что в зрительном поле нет объектов, кроме того, который находится в центре его? Всякому известно, что зрительное поле охватывает много предметов, что большинство их находится вне центра, и тем не менее, не находясь в центре, все они видимы, но видимы смутно, ибо находятся на периферии. Рассматривая один предмет, помещая его в центр зрительного поля, человек одновременно «видит» много других предметов, наблюдает их перемещения, ощущает их отличия, в то же время рассматривает один с наибольшей отчетливостью. Степень «концентрации» внимания может быть различна. Можно с такой силой сосредоточить его на одном предмете, что остальные предметы перестают быть видимыми. Можно ослаблять концентрацию или сделать ее прерывистой, тогда «периферия» начинает непрерывно или прерывисто ощущаться.

Тоже самое происходит в сознании. Полностью оно редко бывает занято исключительно одним предметом, одной мыслью, одним переживанием, потому что «сознание» не «точка», не «центр» круга, но широкий круг, при этом обладающий не только «плоскостью», поверхностью, но и «глубиной».

Мышление продвигает объекты через «центр» сознания. Но одновременно, в широком и глубоком сознании, при концентрации внимания на одном объекте, при обдумывании происходит работа вне этого центра, на периферии сознания. Человек «думает» не только тогда, когда сосредоточивает внимание на предмете, т.-е. когда предмет находится в центре сознания, но и тогда, когда как будто бросает думать об этом объекте, занимается другим или как будто перестает «думать» вообще.

Кому неизвестно, что можно говорить об одном (т.-е. совершать мыслительный процесс), думая в то же время о другом; можно совершать ряд сознательных действий, в то же время следуя за

потоком мыслей, с этими действиями не имеющим ничего общего. «Разве это не обынная вещь, что мы, занятые главным образом одним делом, одною мыслью, можем одновременно исполнять другое дело, очень привычное для нас, т.-е. работать теми частями полушарий, которые находятся в известной степени торможения к механизму внешнего торможения; так как пункт полушария, связанный с нашим главным делом, конечно является тогда сильно возбужденным...»¹⁾ «Обмолвки», «ошибки», «описки», которые Фрейд пытался объяснить работой «бессознательных вытесненных влечений», на самом деле могут быть объяснены именно процессами, происходящими не в глубине «бессознания», не за порогом сознания, где они недоступны наблюдению, но в пределах этого порога. Есть «навязчивые» мысли: человек не может их «прогнать». Это значит: он их «сдвигает» с центра сознания, отводит на «периферию», он усилием воли вводит в центр сознания другие мысли. Но те, имеющие очевидно крепкие ассоциативные связи с другими точками сознания, прогнанные на периферию, вновь как бы самовольно продвигаются в центр, они продолжают ощущаться, даже пребывая на периферии: оттого-то человек, прогнавший «навязчивую мысль», думая о другом, продолжает все же на периферии сознания более смутно, чем в центре, заниматься этими мыслями, даже обдумывать их, то отгесняя их другими мыслями, то вновь к ним возвращаясь.

Работа сознания более сложна и многообразна, чем это показывает Фрейд и сторонники других концепций «бессознательного». Они «обедняют» сознание, сводя его к одному лишь центру, к «точке» внимания. «Центр» сознания они отождествляют с широким и глубоким полем его, оттого-то без труда одерживают над «сознанием» победы, то делая его «рабом бессознательного», то передавая часть мыслительной работы, производимой на периферии сознания, в «бессознательную машину».

¹⁾ И. П. Павлов, «Лекции о работе больших полушарий головного мозга». Гос. Изд., 1927, стр. 357.

Люди, прекращающие на время умственную работу, решившие отдохнуть, полагают, будто «бросили» ее совсем. Но они лишь прекратили активный умственный процесс, сдвинули предмет мышления на «периферию» сознания. И когда мысль, пребывавшая на периферии, прорывается к центру внимания, это ощущается как «вдруг», как «озарение», как «интуиция», разрешившаяся в бессознании.

Превратив поле сознания в «точку», т.-е. передвинув часть «сознания» в «бессознательную сферу», «ограбив» сознание, можно, разумеется, при уторном желании эту работу ограбленного сознания объявить «бессознательной».

VI

Здесь возникает вопрос: каково же отличие мышления, происходящего в «центре» сознания, от мышления, происходящего на периферии? Первое очевидно «сознается» субъектом, второе — «не сознается». Но в таком случае оно и окажется «бессознательным»? Мы выше ответили на это возражение: процессы мышления, происходящие на периферии, могут признаваться очень смутно; могут даже казаться иногда, при усиленной концентрации внимания на каком-нибудь объекте, совсем не сознаваемыми, тем не менее они являются сознательными; они оставляют в сознании следы, они позднее вспоминаются и усваиваются как действительно бывшие, сознательные акты. Разница между актом сознания, происходящим на его периферии, и актом центральным не в том, что центральные — сознательны, а периферические — бессознательны: сознательны и те, и другие. Разница в том, что центральный акт в момент своего совершения подотчетен сознанию, а периферический — не подотчетен. Что это значит? Сознание не только «работает», но одновременно осознает самый процесс этой работы, как бы смотрит на него со стороны, контролирует его. Оно как бы расщепляется на две части, — из которых одна «мыслит», а другая «критикует», «руководит», «направляет», «проверяет» мышление, самосознает его. Но, расщепляясь,

оно остается «единым»; в этом «расщеплении» обнаруживается лишь внутренняя диалектика сознания, борьба, происходящая внутри его, как единства. «Сознание» не только «мыслит», но отдает самому себе отчет в этом мышлении. Другими словами: мышление центральное в каждый данный момент само себя контролирует и проверяет. В этом отличие его от мышления периферического, которое может ускользнуть от самоконтроля. Человек может совершить ряд действий, находясь в каких-нибудь исключительных условиях (взволнованности, опьянения, аффекта и т. п.). Действия эти «сознательны», но т. к. в момент их совершения центр «сознания» был лишен способности контроля и руководства, они не были подотчетны. И лишь позднее, через какой-нибудь промежуток времени в памяти всплывает воспоминание об этих совершенных действиях или промелькнувших мыслях, — они, оказывается, сохранили свой след в сознании. Вот такие безотчетные действия и неподотчетные мысли, смутно сознававшиеся, и выдаются за бессознательные действия и бессознательное мышление. Но «безотчетность» не есть «бессознательность».

И. П. Павлов очень осторожно, но тем не менее достаточно ясно говорит именно о такой возможности разрешения проблемы сознания и «бессознательного».

«Несколько слов по поводу наших опытов, описанных в конце предшествующей лекции (работа больших полушарий собаки, возбуждение одних пунктов коры, торможение других.—Вяч. П.) Если они при повторениях и вариациях найдут полное подтверждение, то ими, может быть, будет брошен некоторый свет на темные явления нашего субъективного мира, касающиеся отношений между сознательным и бессознательным. Эти опыты показали бы, что такой важный корковый акт, как синтезирование, может совершаться и в частях полушарий, находящихся в известной степени торможения под влиянием преобладающего в коре в данный момент сильного раздражения. Пусть этот акт тогда не сознается, но он произошел и при благоприятных условиях может

обнаружиться в сознании готовым и представляться как возникший неизвестно как»¹⁾.

VII

Факты, обнаруживающие работу сознания даже тогда, когда «центр» его занят другими делами, — многочисленны и бесспорны.

Ряд действий, ставших вследствие привычки и упражнения автомагическими, переводится обычно в «бессознательное», напр. речь, письмо, игра на музыкальном инструменте, т. е. самый механизм игры, спортивные действия и т. п. Но будто бы все это происходит «бессознательно»? Оратор не следит за внутренним конструированием слов и предложений, пианист не ощущает порядка, в каком «работают» пальцы, нога, нажимающая педаль, и т. д., не потому, что это сделалось «бессознательной» деятельностью, но потому, что деятельность эта, вначале контролируемая сознанием, т. е. находившаяся в центре его, по мере автоматизации перестала нуждаться в таком контроле, но не избавилась от него совсем, т. е. не стала бессознательной: оставаясь «сознательной», она освободила центр сознания. Это можно видеть хотя бы по тому, что малейшая ошибка, малейшее отклонение мгновенно сознанием исправляются: контроль непрерывен, он только перестал быть заметным. Он сделался как бы бесконечно малой величиной. Автоматические действия перестают быть сознательными лишь когда превращаются в рефлексы. Но мышление не сводимо к рефлексам. Творческая деятельность, в том числе человеческая речь, письмо, деятельность музыканта, певца, и т. п., не есть деятельность рефлекторная.

Каждый с помощью самонаблюдения может обнаружить в себе, как во время обдумывания одной мысли или во время разговора, т. е. мыслительного процесса, позади мыслей высказываемых или за предметами обдумываемыми скрываются, то появляясь, то исчезая

¹⁾ И. П. Павлов. «Лекции о работе больших полушарий головного мозга». Гос. изд. 1927 г., стр. 361.

или непрерывно следуя рядом, другие мысли, воспоминания, образы, чувствования, ощущения. Сознание — всегда богатый и многообразный, широкий и глубокий поток. Кроме «активного» процесса мышления, т.-е. процесса, находящегося в центре сознания, активно направляемого к искомой цели, всегда почти происходят «пассивные» процессы мышления и чувствований, не руководимые непрерывно, но получившие зарядку и направление, обладающие как бы инерцией. Удаление процессов мысли от центра на периферию осознается при невнимательном к ним отношении как «исчезновение», а новое появление их в центре испытывается как появление «вдруг», неизвестно откуда, как чудесное выплывание из недр «бессознательного».

Нам поэтому не кажется «таинственным» происшествие, рассказанное академиком Пуанкаре. Он проделал множество сочетаний и комбинаций, вчерне, предварительно, приблизивших его к разрешению задачи. Проработав он еще немного, задача, возможно, была бы разрешена. То обстоятельство, что он запомнил «интуитивное» разрешение проблемы, свидетельствует лишь, что случай этот не был обычным в его практике. Не всегда и не все проблемы он разрешал с помощью «бессознательной» машины. Некоторые — и таких было большинство — он разрешил вполне «сознательно». Но в данном случае работа не удавалась. Тут было много причин. Кроме того, академик вероятнее всего устал. Переутомившийся мозг требовал отдыха. К тому же надо было ехать в другой город на конференцию. Академик усилием воли отодвигает «проблему». Он «перестает» о ней думать. Он обращается к другим делам. Центр его сознания освобождается от упорного обдумывания задачи. Мозг отдыхает, но работа не прекращается. Она лишь передвинута на периферию. Академик смотрит в окно омнибуса, пробегает глазами газету, улыбается соседке, курит сигару, с аппетитом кушает пулярку, развлекается и — «вдруг»... вдруг возвращается к брошенной задаче: он «чувствует», что решение найдено. Чувство еще смутно, у него нет вре-

мени его проверить, он просто не хочет (или не может) сейчас вернуться к такой проверке. Но он запоминает мелькнувшую мысль, он записывает ее. Вернувшись к ней через некоторое время, он убеждается, что решение верное. Свершилось чудо: то, пред чем остановилось в бессилии «сознание», оказалось разрешенным в «бессознательном».

Сторонники «бессознательной машины» могут возразить, что им не представляются убедительными наши замечания о периферии сознания. Но мы спросим: разве более убедительно независимое существование «бессознания», куда не проникает луч света, законы которого неизвестны так же, как неизвестен самый механизм его сношений с «сознанием»? Даже Фрейд, концепция которого, разумеется, более обоснована, чем «бессознательная машина» Пуанкаре, принужден был нарушить цельность противопоставления «сознания» «бессознанию». Излагая его учение, я говорил о третьем звене, которое Фрейд должен был ввести в свою теорию, так называемое «предсознательное»: это такое «бессознательное», которое, не принимая символических форм, может стать «сознательным». Введением этого термина Фрейд обнаружил лишь порочность отграничения «сознания» от «бессознания». Чем же является это «предсознательное»? С нашей точки зрения все то, что Фрейд называет «предсознательным», т.-е. все то, что было в «сознании», но ушло из него с тем, чтобы при первом удобном случае вновь в сознание возвратиться, все это есть именно «сознательное», сдвинутое с центра на периферию. Оттого оно «не ясно», «смутно», может быть, даже «едва различимо», может едва заметно мерцать, даже как будто исчезая с поля зрения. Но оно не перестает быть сознательным.

Обратимся к явлениям памяти. Человек обладает способностью «запоминать». Она — неисчислима. Могут запоминаться многие миллионы фактов, событий, картин, происшествий, имен, цифр, формул, наблюдений разрозненных и приведенных в систему и т. л. Но в каждое данное мгновение человек в своем «сознании» имеет ограниченное, сравнительно с общей емкостью

памяти, количество материала. Что же происходит с остальным наполнением памяти? Находится ли оно в «бессознательной» сфере? Но ведь «сознание» распоряжается этим материалом, как своим накопленным опытом. Память, без которой нет мышления, не может быть оторвана от сознания. Правда, бывает иногда, что сознание не может вытащить что ему надо: «забылось». Забылось имя, событие, цифра, улица, формула и т. п. А потом «вдруг» забытое само выскакивает в сознании. Но факты «забывания» объясняются без помощи «бессознательного». Явления «торможения», мешающие вспомнить или продумать мысль до прозрачности, хорошо объяснены рефлексологией. Самая же принадлежность памяти сознанию не может вызывать споров.

VIII

К тем же выводам приводит нас анализ «случая» с самим проф. Л. С. Бергом. Раздумывая о происхождении фауны Байкала, он не «додумал» проблемы до конца. Мыслительный процесс был сдвинут на периферию. Но прекращен он не был. В этом нет ничего «бессознательного». Спустя некоторое время мышление, происходившее на периферии сознания, оказалось вновь в его центре. Чудо! — восклицает проф. Берг. Но в признаниях проф. Берга мы не находим ничего, что убеждало бы нас в существовании мыслительной, конструктивной, анализирующей и синтезирующей «бессознательной машины». «Внезапность прозрения», «краткость», уверенность автора в истинности «прозрения», как выскочившего из «подсознательного» в область сознания, — все эти явления при тонком психологическом анализе получают разумное объяснение.

Мы приведем еще пример. П. А. Кропоткин рассказал в «Записках революционера», каким путем он пришел к своим крупным геологическим открытиям. Кропоткин изучал строение нагорной Азии и искал закон расположения ее хребтов и плоскогорий. «Я начал сначала чисто индуктивным путем, — рассказал он. — Собрав все барометрические наблюдения, сделанные прежними путешественниками, я на основании их,

вычислил сотни высот. Затем я нанес на большую карту Шварца все геологические и физические наблюдения путешественников, отмечая факты, а не гипотезы. На основании этого материала я попытался выяснить, какое расположение хребтов и плоскогорий наиболее согласуется с установленными фактами. Эта подготовительная работа отняла у меня более двух лет. Затем последовали месяцы упорной мысли, чтобы разобраться в хаосе отдельных наблюдений. Наконец все разом внезапно осветилось и стало ясно и понятно».¹⁾

Профессору Бергу этот рассказ остался неизвестным. Он мог бы на него сослаться: ведь Кропоткину все «разом, внезапно» осветилось. Не ясно ли: перед нами работа «бессознательной интуиции! Но такой вывод убедит только человека с притушенным сознанием. Кропоткин годами изучал предмет, месяцами упорно обдумывал материал, его «сознание», как бы плененное проблемой, занималось не только в часы труда, но и в часы отдыха и вероятно даже во время сна. Именно эта работа сознания и привела к «ясности» и «понятности» вопроса. Но почему эта «ясность» явилась внезапно? Да просто потому, что таков психологический эффект всякого увлечения долгих и упорных поисков. «Внезапность» ощущается всегда, когда поиски были длительны, внимание напряжено, когда обостренное сознание с нетерпением ищет решения и не находит. И когда решение оказывается под рукой, его появление испытывается как «внезапное», «вдруг» и т. д. И чем работа была интенсивней и продолжительней, чем более было напряжено терпение, чем ближе наконец терпение подходило к концу, готово было вот-вот истощиться, тем ярче ощущение неожиданности, этого «вдруг», разрешающего поиски. «Стоило ломать голову, когда решение далось с такой легкостью» — говорит при этом человек, не могущий понять, что «легкость» есть ложное ощущение, что такая легкость всегда покупается большой

¹⁾ П. А. Кропоткин, «Записки революционера», изд. третье, перев. Дионео, под ред. автора, М. 1916 г., стр. 174.

ценной. И вот на этот затраченный труд «интуитивисты» закрывают глаза, а между тем все божественные, мгновенные «прозрения» обязаны именно длительной, собирающей, анализирующей и синтезирующей работе сознания. Фарадей, прежде чем пришел к своим «открытиям», всю жизнь углублялся в изучение своего предмета, делал тысячи неудачных опытов, прежде чем добился удачи. Кéплер, прежде чем «открыть» свои законы движения планет, около двух десятков лет работал над этой проблемой,—чему ж удивляться, что именно его «мозг» посетила «божественная интуиция».

«Интуиция» знает, кого посещать: она не «осенит» головы невежды, человека с ленивой мыслью, не способной углубляться в предмет, способной лишь порхать по поверхности. Все великие «изобретатели», гении, открывающие человечеству великие идеи,—все эти люди были «работяги», годами разглядывавшие свои мысли, упорно их систематизируя. В этом смысле Ньютон похож на Боруха Спинозу, Платон на Лобачевского, Галилей на Карла Маркса, Пушкин на Эдиссона, Гете на Ленина. Интуиция никогда не является просто так, «вдруг» — взяла и явилась. Человек, скажем, никогда не думал о движении планет, им не интересовался, ничего вообще в этом предмете не смыслил, а «интуиция»... взяла да и явилась ему в голову как откровение: он «вдруг» взял да и открыл закон планетной системы. Человек никогда не интересовался законами мироздания, не изучал их, а интуиция «вдруг» взяла да и осенила его, и он «открыл» закон земного притяжения. Человек не ломал головы над передачей звуков на расстоянии, и вообще эта область никогда не была его специальностью, а «интуиция» «вдруг» осеняет его, и он — представьте себе! — «вдруг» изобретает радио беспроволочный телеграф, либо радио, либо еще что-нибудь, удивляющее мир.

Но странным образом интуиция связана с головой, именно с мозгом, много и долго работавшим, именно эта вот работа «мозга» (не только «мысли», но и «чувства»), упорная, многолетняя, глубокая, и уверен-

чивается тем самым явлением, что носит имя «интуиции».

Но ведь это означает, что «интуиция» есть нечто иное, как успешное окончательное усилие мозгового аппарата, это есть финальное, синтетическое, венчающее умозаключение, которое, разумеется, может сверкнуть, как «молния», может мелькнуть в минуту, когда мыслитель, потеряв надежду на успех, в отчаянии и утомлении бросает (так ему кажется) мыслить над этой проблемой.



Следует отметить здесь между прочим роль утомления, заставляющего прекратить работу, и появление «интуиции» именно после отдыха. Рассказывая о том, что в некоторых случаях «догадки» возникали в его «голове» «внезапно», без предварительного напряжения, как вдохновенье, Гельмгольц добавляет:

«Поскольку дело касается моего личного опыта, могу сказать, что они никогда не возникают при мозговом утомлении и за письменным столом. Ранее наступления такого момента мне приходилось всегда столь часто разбирать исследуемую проблему со всех сторон, дабы я мог все ее изгибы и сплетения свободно перебирать и пробегать в голове, не обращаясь к письму: добиться этого без продолжительной подготовительной работы большею частью невозможно. Затем для получения хороших результатов необходимо, чтобы после минования вызванного работой утомления наступил час полной физической бодрости и спокойного самочувствия. Нередко это имело место... утром при пробуждении... Особенно же часто это случалось в Гейдельберге в солнечную погоду, при восхождении на лесистые горы»¹⁾.

В таком же духе высказался однажды В. М. Бехтерев. Указав, что ему случалось наблюдать в себе появление вне-

¹⁾ Цит. по книге И. Лапшина «Философия изобретения и изобретение в философии», т. 2, стр. 79—80.

запных счастливых догадок во сне или утром тотчас по пробуждении, он добавлял, что при этом «существенную роль играла исключительно концентрация внимания на изучаемой проблеме перед сном»¹⁾. И наш знаменитый ученый И. П. Павлов, работы которого в области изучения высшей нервной деятельности принадлежат к величайшим достижениям научного знания, не случайно в посвящении своей книги «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» назвал эту свою книгу плодом «неотступного 25-летнего думания». «Интуиция», «внезапная догадка» связана именно с «концентрацией внимания», т. е. с «думанием», с долгим обдумыванием проблемы. «Внезапным» или «не внезапным» представляется мыслящему субъекту результат его «думания», — он есть финальный, заключительный момент долгого мыслительного процесса, долгой работы сознания. Ньютон на вопрос, «как он открыл систему мира», подобно Павлову, ответил: «Думая о ней всегда» — вот ответ, который следовало бы запомнить всем «интуитивистам», подчеркивающим «непроизвольное», «божественную природу интуиции». Бюффону приписывается изречение: «гений есть не что иное, как терпение». Не принимая эту мысль «буквально», из нее можно извлечь ценное утверждение о гениальности.

Любопытно при этом, что многие из мыслителей и художников прибегают к «наркотикам» или другим каким-нибудь возбуждающим или питательным средствам для поощрения своей «интуиции». Одни отмечают черный, крепкий кофе (Пуанкаре, Замятин), другие — папиросы (Горький), третьи — еще что-нибудь. Пильняк переходит в дни усиленной работы на молочную пищу: его «интуиция» оказывается явной вегетарианкой: она не курит и не пьет²⁾.



Примеры Пуанкаре и Берга говорят не о том, что есть «бессознательная машина», выполняющая мыслительную

работу. Они говорят о том, какие ошибочные выводы могут защищать люди, если они наперед, под диктовку своей социальной практики, эти выводы принимают как должные. Они хотят ограничить сознание; они изобретают поэтому «бессознательную машину» всеми правдами и неправдами, чаще неправдой, чем правдой, стараясь обогнать ее существование. Прославленный академик Пуанкаре или его русский вариант Берг несколько не отличаются от любого средневекового мистика, который, приняв на веру недоказуемое положение о существовании божием, всю остальную систему мироздания выводил из этой основной, принятой на веру посылки. Установив наперед существование «бессознательной машины», способной совершать «открытия», «изобретения», создавать художественные «образы», разрешать математические задачи, нет ничего легче, как воздвигнуть на этой основе теорию «наигия», мистической «интуиции», «вдохновения».

II. Еще раз о вдохновении

Как горней бури приближение,
Как натиск пенящихся вод
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновения.
(Ал. Толстой).

I

О «вдохновении» следует сказать здесь несколько слов. Нередко «интуиция» и «вдохновение» употребляются как термины однозначные. Вокруг «вдохновения» накопилось недоразумений и ложных взглядов, пожалуй, не меньше, чем вокруг «интуиции». В предыдущих наших статьях мы касались уже этой «проблемы». Здесь приведем еще некоторые соображения.

Пушкин большое значение придавал вдохновению.

...В минуты вдохновения
к тебе я прибегал —

обратился он однажды к своей чернильнице. В другом стихотворении поэт показывает, что делалось с ним, когда «вдохновения» не было:

¹⁾ И. Лапшин, «Философия изобретения и изобретение в философии», т. 2, стр. 90.

²⁾ См. «Как мы пишем» — стр. 26, 32, 126.

ших, когда стихи ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут на встречу стройной мысли: Чарский погружен был в сладостное забвение...»¹⁾. Когда образы ищут выхода наружу, когда «рука просится к перу, перо к бумаге», — такое состояние и есть то, что именуется словом «вдохновение».

Оно — сложное состояние духа, сопровождающее подлинное творческое напряжение. Если на его пути к оформлению не встречается препятствий, ничто не тормозит его ни извне, ни изнутри, когда все складывается благоприятнейшим образом для кристаллизации «образов», для исполнения желания, ставшего неотвязным, — тогда-то вот и получается ощущение «творческого разряда». Происходит как бы освобождение, нечто подобное тому внутреннему освобождению и очищению, которое обозначалось словом «катарзис». Иногда это происходит с болью, в «муках», — не случайно процесс творчества сравнивают иногда с муками родов. Но всегда благополучные «муки» сопровождаются особым чувством, «восторгом», вызывающим «слезы вдохновения».

В переписке Ф. М. Достоевского мы находим много замечаний о процессе его творчества. Вот что напр. узнаем мы о том, как писал он «Бесы».

Начав роман в конце 1869 г., Достоевский рассчитывал окончить его к июлю 1870 г. Расчет оказался неверным. «Весь год я только рвал и переиначивал, — сообщает он Н. Н. Страхову из Дрездена 2 (14) декабря 1870 г. — Я исписал такие груды бумаги, что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее 10 раз я изменяла весь план и писал всю первую часть снова. Два—три месяца назад я был в отчаянии». Роман получал вид неудовлетворительный. И лишь после нескольких месяцев неудач («никогда никакая вещь не стоила мне большего труда») Достоевский стал овладевать замыслом. «Вначале, — сообщал он Н. Н. Страхову 9 (21) октября 1870 г., — г.-е. еще в конце прошлого года, я смотрел на эту вещь, как на вымученную, как

на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее, я вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками — давай черкать написанное».

Почему же «посетило его вдохновение настоящее»? И откуда явилось оно? Слетело? С неба? Пробудилось от сна? Витало где-то вне его сознания, в воздухе, а потом «вдруг» взяло его и осенило? Совершенно очевидно, что причина «вдохновения», особого «душевного подема», «восторга», «окрыленности» есть результат предшествовавших усилий. Это тот эффект, который сопровождает успешную работу чувств и мыслей.

II

В. Маяковский язвительно издевался над вдохновением.

— Почему не пишете? — спрашивает он молодого поэта.

— Да знаете, В. В., вдохновенья нет.

— Так вы что, так и будете ждать это самое вдохновенье, когда слетит с неба?

Маяковский был прав, отрицая «вдохновенье» как «причину» творчества, как «наитие», без которого творчества нет. Но, как это бывало нередко с Маяковским, в своем отрицании он переходил через «крайний край», и отрицание его теряло познавательное значение.

Проблема не в том: существует «вдохновение» или нет, отрицать его или признавать. Здесь и спорить нечего: особое состояние, именуемое «вдохновением», есть. В статье «Как делать стихи»¹⁾ Маяковский отметил мимоходом, что некоторые из его вещей делались «при большом душевном подеме». Это именно и есть «вдохновенье». Суть спора в том: является ли «вдохновенье» особой самостоятельной силой, без которой поэт не может приниматься за творчество? Или же «вдохновенье» есть не что иное, как «огромный душевный подъем», приходящий во время работы, овладевающий поэтом в тех случаях, когда объект твор-

¹⁾ Пушкин, «Египетские ночи», соч. ред. П. О. Морозова, «Просвещение».

¹⁾ 5-й том собр. соч. Гиз, 1927, стр. 405.

ческих усилий выбран удачно, затронул все силы психики, взволновал ее, создал такое состояние, при котором...

Душа охвачена лирическим волнением.

А слова, образы, мысли, удачные находки толпятся в сознании, как бы сами даются в руки. «Вдохновенье» есть психическое состояние, появляющееся всегда, когда создаются благоприятнейшие внутренние и внешние условия для творческого акта. Оно поэтому нужно как в поэзии, так и в геометрии. И опять вспомним Пушкина: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных».

Такое психическое состояние есть «эффekt», но не причина, не «источник» творческих удач. Только тогда разряжается энергия в творческом акте, когда она была «накоплена» заранее, когда были обеспечены внутренние условия, благоприятствующие разряду. Е. Замятин, противореча собственной теории «сна» и «вдохновения», приводит пример с насыщенным раствором: достаточно толчка или мелкого кристалла, брошенного в сосуд, чтобы раствор начал кристаллизоваться. Об этом мы говорили в первой нашей статье «О труде, искусстве и вдохновении»¹⁾.

Попытка отождествить «вдохновенье» с «интуицией», приписать «вдохновенью» особую силу «творить» помимо сознания и вне сознания, наделить его магической силой, в которой кроется «тайна искусства», — такая попытка означает упорное желание некоторых наших художников и «теоретиков» морочить головы доверчивой молодежи. Она вместе с тем реакционна, эта попытка, ибо открывает двери той «мистической интуиции», которая является старым и непримиримым врагом всякого научного, т. е. объективного понимания художественного творчества и самого искусства.

Вдохновение — спутник одлинного творчества, но не причина его, не особая сила, нисходящая на главу поэта, и не «талант», которым одних природа награждает, других лишает. Вдохновение — осо-

бое состояние сознания, возникающее во время творческого акта. Последний может начаться и без него. Именно поэтому И. С. Тургенев, которому нельзя отказать в известном авторитете по интересующему нас поводу, советовал: «Что же касается до труда, то без него, без упорной работы всякий художник останется дилетантом; нечего тут ждать так наз. благодатных минут вдохновения; придет оно — тем лучше, а нет — все-таки работать надо»¹⁾ и т. д.

Совершенно в духе такого понимания работал Золя: есть вдохновение или нет его — он каждый день садился за работу: чаще всего оно приходило. «Уединяйтесь на три часа ежедневно, — советовал Морис Метерлинк Франсису Карко, — и даже если работа не клеится, не выходите до назначенного часа из комнаты»²⁾. «Лишь начав, увлекаешься» — справедливо замечает Ал. Толстой³⁾. А П. И. Чайковский написал однажды: «Ждать нельзя вдохновения — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых»⁴⁾.

Вдохновение появится, если творческий акт не ограничится холодным размышленьем, рассудочной работой ума, а захватит, взволнует все сознание, всю психику поэта до глубочайших глубин, когда творчество делается жизнью, страстью, ненавистью, любовью.

Тогда-то всякий художник сможет повторить вслед за Пушкиным:

...И пробуждается поэзия во мне...
Душа стесняется лирическим волньем,
Трепещет и дрожит и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем...

III. Интуиция и творчество

I

Среди новейших эстетиков-идеалистов, провозглашающих интуицию генеральным методом художественного творчества, видное место занимает Бе-

¹⁾ См. «Вопр. теории и пс. творчества», т. 2, вып. II, стр. 68—69.

²⁾ Ф. Карко «От Монмартра до Латинского квартала», изд. «Прибой», Лен., 1927 г., стр. 54.

³⁾ «Как мы пишем», стр. 46.

⁴⁾ В письме фон-Мекку. См. С. О. Грушев-берг. «Психология творчества», стр. 42.

¹⁾ «Новый мир», кн. 4. с. г.

недетто Кроче. В своей известной работе «Эстетика, как наука о выражении и общая лингвистика» он разграничивает два вида познания: интуитивное и логическое, познание с помощью фантазии и познание с помощью интеллекта. Интеллектуальное познание он обозначает как познание универсального, интуитивное — как познание индивидуального, познание отдельных вещей или же их отношений. Познание, по его словам, является либо производителем образов, либо производителем понятий¹⁾.

Художественное мышление является таким образом мышлением интуитивным, мышление научное — мышлением логическим. Поэтому «эстетику», науку о «фантазии», Б. Кроче противопоставляет «логике», науке о мышлении, науке о понятии.

Правда, противопоставляя «интуицию» «понятию», Кроче устанавливает вместе с тем неотделимость интеллектуального познания от интуитивного. Он понимает, что разрубить человеческое познание на изолированные части, механически противопоставив одну другой, значит не разрешить проблемы эстетики, а, наоборот, запутать ее. Но, устанавливая неотделимость интеллектуального познания от интуитивного, он вместе с тем ставит «логику», науку о «мышлении», в зависимое положение от «интуиции». В основе мышления, по его пониманию, лежит вообще «интуиция». Сами «понятия» вырастают из интуиций. Что такое познание через понятие, — спрашивает он и отвечает: «Это познание отношений между вещами; вещи же суть интуиции. Без интуиции невозможны понятия, как без материи впечатлений невозможна сама интуиция». Но что в таком случае «интуиция»? Интуициями являются... «эта река, это озеро, этот ручеек, этот дождь, этот стакан воды; понятием же является вода, — не то или это явление воды, не тот или этот ее случай, а вода вообще, в какое бы время и в каком бы месте она ни была дана — материя бес-

конечных интуиций, не одного только постоянного понятия»¹⁾.

Таким образом под словом «интуиция» Б. Кроче понимает познание вещей в их конкретности и индивидуальности. Не будучи абстрактными понятиями, «универсалиями», интуиции составляют основу человеческого познания. От слова «интуиция» Кроче производит поэтому глагол «интуировать». «Интуировать» значит воспринимать не абстрактно, не понятийно, но в конкретном, живом, непосредственном многообразии материальной действительности. Понятие вырастает из «интуиций» путем абстрагирования, путем деконкретизации. Понятие — это интуиция, лишенная конкретности, индивидуальности, превратившаяся в универсалию. Но, определяя словом «интуиция» всю совокупность способностей живого организма непосредственно ощущать внешний мир, испытывать на себе его действие, Кроче по существу противопоставляет интуицию «мышлению», несмотря на все старания сохранить единство сознания. Создается разрыв сознания на «рассудок» — обособленное и поверхностное орудие познания, работающее «понятиями», и на «интуицию» — основное, непосредственное, первичное и глубокое подлинное знание. Такое понимание интуиции приводит в конце концов к бергсоновскому пониманию, в идеалистической литературе наиболее популярному.

II

В учении Бергсона противопоставление интуиции разуму основано именно на том, что за интуицией признается привилегия подлинного, настоящего знания, проникновения в сущность вещей. Анри Бергсон отказывает рассудку в способности подлинного познания. То, что называется «рассудком», по Бергсону, не способно познать не только внутреннюю, душевную жизнь человека, но также внешний мир. Рассудочное познание — поверхностное, неточное познание. Оно дает искаженные представления о мире и о душевной жизни. Разум не может охватить в целом ни мира, ни отдельных частей его.

¹⁾ Б. Кроче, «Эстетика, как наука о выражении и как общая лингвистика». Ч. 1. Теория. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1920 г. стр. 4.

¹⁾ Там же, стр. 26.

Рациональное знание — частичное, как бы мозаичное знание. Оно не дает полного содержания мира и его частей, а дает лишь символы, т. е. знание относительное, неполное, нецельное. Все то, чего лишен разум — цельности, проникновения в сущность вещей, охвата их многообразия, их подлинного содержания, их подлинной сущности, — все это цельное, единое знание дает интуиция. Именно этот источник человеческого знания является подлинным, раскрывающим сущность вещей. Именно интуиция, по Бергсону, исправляет искаженные представления, создаваемые разумом, о внешнем мире и о внутренней жизни человека. Отсюда — господство интуиции над разумом. Отсюда — подлинное положение разума¹⁾.

Разделение единого сознания на «разум» и «интуицию» — черта, характерная для подавляющего большинства буржуазных эстетических учений. «Интуиция» чаще всего понимается именно в бергсоновском смысле: как «бессознательное» проникновение в сущность вещей, какое-то вне- или помимо-сознательное охватывание предметов и отношений внешнего мира. Даже такой эмпирик и позитивист, как Эрнст Мейман, в своем введении в современную эстетику замечает что хотя художник и научный исследователь в большинстве случаев преследуют одни и те же цели, в осуществлении их художник чаще предается «инстинктивному и интуитивному» творчеству.

Взгляды Овсяннико-Куликовского мы уже приводили. Нет необходимости ссылаться на таких сторонников особенного, «высшего знания», доступного только «избранныкам», как М. О. Гершензон. (См. его «Видение поэта»). К бергсонистам-интуитивистам следует причислить и тех наших дорогих современников, которые исповедуют теорию «безумного» творчества, повинующегося некоему «тайному», «сверхразумному», непознаваемому началу. Интуитивизм характерен для современной буржуаз-

ной эстетики вообще. Это именно обстоятельство и дало повод даже Шарлю Лало, не имеющему ничего общего с диалектическим материализмом, написать: «Известно, насколько привлекателен эстетический мистицизм! Даже мыслители, которые считают себя убежденными рационалистами во всех других областях, как только заходит речь о прекрасном, считают необходимым открыто высказать убеждение или, точнее, веру, в корне отвергающую самую идею о методе, анализе и рассуждении. «Смятение сердца», несомненный синоним вдохновения, «потемнение рассудка», равносильное иррациональной интуиции, «гимн» и дифирамб заменяют рассуждение и критику¹⁾».

Всякому должно быть ясно, что, разорвав сознание на «разум» и «интуицию», признав за интуицией особенные свойства проникать в сущность вещей, охватывать предметы вне разумным постижением, отдав этой интуиции всю творческую силу, объявив ее в то же время непознаваемой, первичной, надо бросить мысль о научном постижении искусства, о сознательном понимании и творческого процесса. Такие посылыки отдают искусство в полное распоряжение «нутра», «вдохновения», «наития», делают его областью чудес. В конце концов господство «бессознательного», «интуитивного» приведет и приводит в объятия мистики, а через мистику — к тому «внутреннему зрению», которое рано или поздно откроет в клубящихся туманах «бессознательного» лик самого бога. Раз став на почву противопоставления «внутреннего зрению» зрению сознательному, нельзя не скатиться в реакционное болото поповства.

С точки зрения Анри Бергсона мир для сознания непознаваем. Поэтому над сознанием Бергсон и воздвигает интуицию, как универсальную сверхсознательную способность. Мы, наоборот, утверждаем познаваемость внешнего мира именно средствами сознания, имеющего в своем распоряжении все органы чувств, как бы всесторонне осязающих мир, осязательно, материально изучающих его свойства, вне которых и без которых нет действительного позна-

¹⁾ В интуитивистских системах «интуиция» выдвигается над «разумом». Разум как бы рожждается с «разумом». Но это два разных понятия.

¹⁾ Ш. Лало. «Введение в эстетику», стр. 3.

ния объективно существующего мира. Мы поэтому отрицаем существование «сверхсознательной» или «внесознательной» мистической интуиции.

Мистическая интуиция должна быть не только отвергнута. Она должна быть разрушена как реакционная, буржуазно-идеалистическая система, социальный смысл которой сводится к борьбе с сознанием, т.е. к борьбе с подлинным, научным, материалистическим познанием мира, в котором нуждается пролетариат, и к поддержке теорий и методов, позволяющих буржуазии утверждать свое дальнейшее существование и идеологически осмыслить свою классовую практику.

Подчеркиваем для ясности: разрушая мистическую интуицию, защищая «сознание» как единственное универсальное, многообразное орудие человеческого познания, мы не противопоставляем «разум», «рассудок», «интеллект» интуиции. Если «интуитивисты» обеспечивали себе победу над «сознанием», отождествляя его с «рассудком», с «интеллектом», с «логической способностью» ума, то мы, диалектически рассматривая сознание, не можем ставить знак равенства между ним и «рассудком», «интеллектом». Выше об этом говорилось довольно подробно. Мы знаем превосходно, что «творческий акт», «творческое усилие» шире «интеллектуального» усилия, шире и глубже работы одного «рассудочного аппарата». То «целостное», «синтетическое» усилие, которое характеризует всякую творческую работу «сознания» как единства, мы воздвигаем над «интеллектуальным», «рассудочным» усилием. Мы готовы это «синтетическое», «целостное» усилие сознания также назвать «интуицией». Но это будет иная, качественно отличная интуиция, ничего общего не имеющая с «интуицией» мистиков.

Оставляя термин, мы вкладываем в него совершенно иное, не идеалистическое, не мистическое, но диалектико-материалистическое содержание. Целесообразнее всего было бы, разумеется, отбросить самое «слово». Но оно так глубоко вкоренилось в философско-эстетическую литературу, столь крепко вошло в литературный, даже каждодневный,

обиход, что всякая замена его новым словом не облегчит, а затруднит борьбу с «мистикой» в искусствоведении. Даже в такой замене в конце концов нет особой необходимости. Противопоставляем же мы буржуазной эстетике эстетику пролетариата. Сохраняем же мы термин «философия», противопоставляя буржуазной философии философию диалектического материализма. Дело не в «оболочке», которая может сохраняться, а в том «содержании», в том «наполнении», которое, изменяясь, меняет и самую оболочку. «Слова» живут, трансформируются в жизни свой смысл, теряют старое «содержание», приобретают «новое». Такую же трансформацию переживает и «интуиция». Буржуазия устами своих теоретиков будет защищать свое понимание «интуиции» — идеалистическое и мистическое. Пролетариат противопоставит этому «мистическому», идеалистическому пониманию свое, материалистическое, диалектическое, революционное понимание — так, как он это делает во всех других областях знания. А с новым «содержанием» самый термин зазвучит по-иному, т.е. по существу станет другим словом, новым понятием, ничего общего не имеющим со старым. Если буржуазная философия защищает понятие «интуиции» как «господина», у которого «сознание» находится в услужении, то наше понимание «интуиции» противоположно:

«интуиция» есть орган сознания, его наиболее мощное, синтетически работающее орудие.

III

Опасность уклона в сторону мистической интуиции при построении марксистского литературоведения очевидна. Не случайно на Западе мы наблюдаем поход против марксизма именно под флагом интуитивизма. Имя бельгийца де-Мана, фрейдиста и бергсонянца, известно советскому читателю. Упрекая марксизм в рационализме, де-Ман в качестве элемента самого важного и первичного, не поддающегося рациональному истолкованию, выдвигает интуицию, отождествляя с нею сферу чувств и переживаний. Отрывая интеллект от чув-

ственной сферы, он подчиняет его интуиции.

Но де-Ман также, как и многие другие, совершенно безосновательно приписал марксизму игнорирование чувственных восприятий, переживаний и волевых импульсов. Диалектический материализм преодолевает рационализм, привлекая чувственный опыт для объяснения процессов познания. Марксизм не сводит психики человека к физиологическим процессам, к простой схеме рефлексов, к механической структуре. Утверждать противное значит: либо не иметь представления о марксизме, либо сознательно извращать его.

Даже А. Фадеев, в статье которого «Столбовая дорога пролетарской литературы» есть много верных мыслей об интуитивизме и рационализме, отделяется от преодоления противоречия между мистической интуицией и рассудком указанием, что пред нами-де диалектическое единство. Разумеется, нельзя, оставаясь диалектиком, отрывать в живом человеческом сознании интуицию от рассудка и противопоставлять одно другому. Но вся беда в том, что т. Фадеев, также как Ю. Либединский и В. Ермилов, принимает интуицию в бергсоновском, де-мановском, идеалистическом толковании. Так именно понимая интуицию, т. Фадеев замечает, что «огромная роль» интуиции в художественном творчестве не подлежит никакому сомнению, и что эта роль, «грубо говоря», более значительна в области искусства, в частности литературы, чем например в области научного творчества. К чему же в таком случае сводится несогласие А. Фадеева с де-Маном? Показав своему читателю, с одной стороны, метафизического идеалиста де-Мана, который решающую роль в творчестве уделяет психической первичной силе,—мистической интуиции,—а с другой стороны—метафизиков-материалистов, которые первичной психической силе противопоставляют человека как голую мыслительную машину, А. Фадеев победоносно противопоставляет «единство» этих двух начал, включая в свое «единство» мистическую интуицию де-Мана.

Перед нами эклектическое соединение непримиримых противоположностей. Вме-

сто того, чтобы заниматься чисто словесным установлением «единства» несводимых к единству вещей, следовало разрушить мистическую интуицию, отвергнуть ее, ибо включить «мистику» в диалектическое «единство» значит узаконить ее.

Но, идя таким «диалектическим» путем, можно дойти до принятия в «единство» и самого господа бога. Механическое «примирение» в некоем «единстве» мистической интуиции и рассудка отнюдь не является единством диалектическим, разрешающим противоречия.

IV

В художественном творчестве есть особенности, которые не могут быть созданы логической силой ума. Легче всего повернуться спиной к тем сложным явлениям, которые вызвали на свет гипотезу об «интуитивном» познании, махнуть на них рукой. Поступить так—значит уклониться от разрешения спорных вопросов эстетики. Но такое уклонение, избавляя эстетику от «интуитивизма», бросает ее в объятия «механистического» воззрения, рационализма, интеллектуализма. Одно ложное понимание заменяется другим ложным пониманием. Научное познание искусства страдает, разумеется, от обоих. Противопоставление «интуиции» разуму исходит из преднамеренного, принятого как безусловное положения о раздельности, об оторванности, об изолированном существовании в человеческом сознании «разума», с одной стороны, и «чувства»—с другой. Это разделение на чувствование и разум, со времен Канта сделавшееся краеугольным камнем старой психологии, продолжает господствовать в системах современных идеалистов. Выводя существование «интуиции» из чувственной сферы, интуитивисты изолируют ее как некую особую силу, противопоставляя ее сфере интеллектуальной. Для современников Канта—да и долгое время после него—это противопоставление чувственной сферы рассудку было основным в теории познания. Ныне оно потеряло свою силу. «Чувство»—не есть рассудок. Но «чувство» не есть нечто, изолированное от рассудка: последний питается этим источником. Чувство и рассудок в живой человеческой пси-

лиже представляют собой единство. Они раздельны и едины. Они не существуют независимо одно от другого. Органы чувств являются периферическими по отношению к «интеллекту», но в живом организме нет периферии, которую можно было бы противопоставить центру: всякая периферия есть периферия центра, часть целого, связанная с центром, испытывающая его влияние и в свою очередь на него влияющая. Центр не есть изолированная точка, но точка, связанная с периферией, она существует именно как центр этой периферии. Поэтому периферические нервные процессы есть в то же время процессы центральные. И нет такого центрального процесса, который не был бы связан функционально с нервными процессами периферии. Это не говорит о тождестве периферических и центральных нервных процессов. В живом человеческом организме не уничтожается противоречивость и противоположность центра и периферии, их раздельность, их своеобразие, но устанавливается их единство, проявляющееся в связанности, слитности, взаимоактивности. Если не понять диалектики человеческой нервной системы, нельзя понять сложности человеческого мышления, богатства и многообразия сознания. Тогда мы будем плутать в противопоставлениях сознания—бессознательному, чувства—рассудку. Тогда рассудок будет существовать как воздушное растение, не связанное с чувственной, материальной сферой, где помещаются его корни и все его проводящие пути. Тогда «чувственность» окажется оторванной от рассудка, существующей как-то сама по себе.

Порочной является поэтому изоляция мышления «образного», как внеразумной «интуиции», от мышления «понятийного», как мышления рассудочного. Образное мышление и мышление логическое не изолированы одно от другого, они не являются противоположными, принципиально разделенными частями мозговой работы человека, но противоположностями, составляющими части высшего единства—сознания вообще, т. е. высшей синтетической способности человека всеми органами своими,

всеми своими средствами, совокупным их действием сознать процессы, происходящие во внешнем мире и в себе самом. В любом учебнике марксистской психологии раскрывается понятие психики как особого, внутреннего, субъективного отражения тех физиологических процессов, которые происходят в нервно-мозговом аппарате человека. Это не отождествление психики с физиологией, не выведение психики из физиологии, как «выводили» некогда мысль из мозга на подобие желчи из печени. Такое отождествление психики и физиологических процессов приводит к механистическому, а не диалектическому воззрению.

Диалектический материализм отвергает как узкий рационализм интеллектуализм, сводящий человеческое сознание к одной лишь работе мыслительного аппарата, к одной логике, радио, так равно и сексуалистический эмпиризм, передающий господствующую функцию познания чувственному аппарату. Следует не subordinировать чувственную сферу интеллекту или интеллект—чувственной сфере, а координировать их понятия человеческого сознания: высшее единство, сознание охватывает в органической слитности и совокупной цельности деятельность как органов чувств, так равно центрального мозгового аппарата. Нет центральной «мозговой» работы без притекающих периферических впечатлений. Другими словами: нет «разума», «интеллекта» вне и помимо той части психики, которая обозначается словами «чувство», «ощущение». «Интеллект» без одновременной, связанной с ним работы «органов чувств» лишился бы своего содержания: ибо только через посредство органов чувств, с помощью периферической нервной системы он связан с внешним миром, питается впечатлениями внешнего мира¹⁾. Сущест-

¹⁾ См. напр. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»: «Для всякого естествоиспытателя, не сбитого с толку профессорской философией, как и для всякого материалиста, ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания» (Гос. изд., 1920 г., стр. 43).

вуют многочисленные труды о развитии психики у глухонемых и слепых от рождения. Из этих трудов явствует с совершенной убедительностью, что мышление постольку имеет место, поскольку психика, как целое, питается ощущениями, чувствами, впечатлениями внешнего мира. А ведь это означает именно правильность той точки зрения, которая не изолирует «интеллект» от «чувств», не противопоставляет одно другому, но рассматривает их, несмотря на их противоречивость, как части высшего единства, единства противоположностей и многообразия. Кто не может этого понять, тот ничего не поймет ни в диалектическом материализме, ни в явлении, которое называется психикой, ни в том сложном и глубоком, полном своеобразия процессе, которым является художественное творчество.

V

Произведение художественное или научное — равно от замысла до окончания — проходит несколько стадий. До того, как быть закрепленным в слове, красках, звуках, оно строится в «сознании» своего создателя, в сознании, определяемом его общественным бытием. До того, как превратиться в факт социально-эстетический, произведение как продукт внутренней жизни художника проходит стадию социально-психологическую.

Эта жизнь внутренних образов удивительно обнажена Пушкиным в его отрывке «Осень».

X.

...И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне
Излиться, наконец, свободным проявленьем.
И тут ко мне идет незримый рой гостей, —
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI.

Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари, —
Вы, барышни мои с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.

XII.

И мысли в голове волнуются в отваге
И рифмы легкие навстречу им бегут.
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Манута и стихи свободно потекут.

Так дремлет невидим корабль в недвижном
влаге;

Но, чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра
полны.

Громада двинулась и рассекает волны.

XIII.

Плывет... Куда ж нам плыть? — Какие берега
Теперь мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии, иль вечные снега...

В этом замечательном стихотворении показана первоначальная стадия творческого процесса, как ее переживал Пушкин. Погружение в мир воображения «мыслей», — здесь логическое сознание идет об руку с сознанием чувственным, не повинующимся воле и расчету. Мысли и образы идут рядом. Наконец «жизнь» образов достигает высшей точки. Громада двинулась.

«Плывет... Куда ж нам плыть?»

Наступает новая стадия творческого процесса. Внутренние образы должны быть закреплены в слове, должны получить как бы материальное существование. Здесь возникают новые задачи, требующие художественной воли. Куда ж нам плыть? Происходит борьба мотивов, выбор направления, мыслительная и чувственная работа, указывающая цель и направление. Контролируя свою собственную деятельность и деятельность своих частей всех вместе и каждой в отдельности, «сознание» опирается на весь свой опыт, на всю совокупность психических сил, иногда выдвигая, как доминирующий, прием «логического» мышления, иногда — мышления конкретно-чувственного, иногда сливая их в едином, общем усилии, устанавливая пропорции, нащупывающем то чувство меры, то «чуть-чуть», без чего нет искусства и чего не смогут найти порознь ни интеллект, ни «чувства», если б ни положатся только на свои собственные силы.

Процесс, приводящий к закреплению внутренних образов, к выделению их из «незримого роя», к приданию им внешнего, об'ективированного вида, к композиции целого, к установлению между образами связей, к осмыслению их фабулой, к насыщению взаимоотношений героев мыслями и чувствами, — вся

эта работа сознательна от начала до конца. Сознательна не в том узком смысле, что она «рассудочна», — «рассудку» здесь принадлежит своя частная роль, — но в том широком смысле, в каком мы говорим о сознании, как в высшем единстве, объединяющем в себе все противоречия и все многообразие человеческой психики, всю сложность и глубину ее. Без критической, исследовательской, логической, вычисляющей, расчетливой, сложной работы «мысли», «ума», при одном лишь «чувственном опыте» не может быть художественного произведения, как сложной системы образов. Но так же точно невысказана эта система без «чувственного аппарата». Оттого-то Пушкин писал о своем творчестве, как о труде и вдохновении: волнуются у него не только «незримые гости», «плоды мечты», но и «мысли». Оттого-то Микель Анджело бросил однажды афоризм: «Художник рисует не руками, а мозгом». Здесь же вероятно лежит причина той манеры писать, которую обнаружил Леонардо да-Винчи во время работы над «Тайной вечерей». Он целыми днями простаивал перед картиной, не двигаясь, лишь обдумывая ее, и в ответ на негодующие требования настоятеля монастыря, говорил: «Возвышенные гении иногда творят больше всего, когда меньше всего работают, а именно в то время, когда размышляют и вырабатывают совершенные идеи, которые возникают в уме, а передаются руками»¹⁾. Перед лицом фактов, какие мы знаем о творчестве величайших художников, разговоры о «непосредственных впечатлениях», как «основе искусства», как о главном «методе» творческой работы, устранившем «интеллект», — наивно-поверхностны и реакционны.

В отрыве «интеллекта» от «чувственного» опыта, в противопоставлении друг другу этих двух неотрывных инструментов единого сознания заключалась ошибка, приводившая, с одной стороны, к рационалистическим, с другой — к интуитивистским концепциям. То, что мы называем диалектико-мате-

риалистической интуицией — в противовес идеалистическому, мистическому ее толкованию — не противостоит интеллекту как особое, вне интеллекта лежащее орудие сознания. Диалектико-материалистическая интуиция есть то новое «качество», которое получает сознание от сложения (не механического) всех познавательных сил психики.

Это есть орудие сознания, действующее как «целое», как комплекс сил, как высшее по отношению ко всем своим слагаемым «единство».

Отсюда вытекает, что нельзя вырывать пропасть между знанием «научным» и «художественным», подразумеваемая под последним какое-то особое, в стороне от «научного» протекающее интуитивное «познавание». Такой пропасти нет и быть не может. В той конструктивной деятельности, которую представляют собой искусство и наука как виды творчества, понятие и образ работают рука об руку, меняясь местами, как доминанты, в том или другом виде познания.

IV. Интуиция на практике

I

Но здесь мы встречаемся с показаниями наших художников. Последние удостоверяют, что «искусство, это — сон», что их произведения рождались «вдруг», что процесс творчества происходит неведомо как, что настоящее творчество бессознательно: «наитие», «прозрение», «откровение».

Любопытно однако вот что: те именно авторы, которые защищают теорию «искусства-сна», когда начинают подробно рассказывать о процессе своей работы, то, проговариваясь, обнаруживают несостоятельность своей собственной теории. Возьмем для примера Е. Замятина. Мы знакомы с его взглядами. Но однако, увлекшись изложением процесса своей творческой работы, он, неожиданно для самого себя, начинает рассказывать нам такие вещи: «...я трачу времени много, вероятно гораздо больше, чем это нужно для читателя. Но это нужно для критика, самого требовательного и придирчивого критика, какого я знаю: для меня самого. Об-

¹⁾ См. Аллеш, «Ренессанс в Италии», М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1916, стр. 337.

мануть этого критика мне никогда не удастся и, пока он не скажет, что сделано все, что можно, поставить точку нельзя».

Оказывается, работа «вдохновенного», «подсознательного я» находится под жесточайшим надзором «критика». При этом очевидно, что работу «подсознательного я» критикует другое «я», «я сознательное». Но еще ни один интуитивист не договорился до того, чтобы «критическое», т.е. аналитическое и синтетическое исследование явлений, выключить из области «сознания». Не станет этого делать и Е. Замятин: «критика» — такая деятельность субъекта, которую нельзя назвать «бессознательной». И вот, оказывается, что творческий «бессознательный» акт подконтролен сознанию, проходит его строжайшую проверку. Е. Замятин добавляет, что «обмануть» этого критика «мне», т.е. его «бессознательной», «творящей» личности, «никогда не удастся». И пока сознание не скажет, что сделано все, что можно, «поставить точку нельзя». При такой зависимости творчества от критики, что же остается на долю «наития», «прозрения», «сна»? Заслуживает также внимание противопоставление «меня самого», т.е. Е. Замятина-критика, другому Е. Замятину, которому «никогда не удастся» обмануть Е. Замятина-критика. Перед нами примитивное раздвоение «личности» на «художника», работающего «бессознательно», и на критика, которого художник безуспешно пытается обмануть.

Именно в признаниях Замятина можно найти много аргументов, разрушающих представление о «творчестве», как о «прозрении» и т. п. Вот напр., что пишет он о принципах организации фразы в его произведениях: «Согласные — статика, земля, вещество. Если напр. «я не только вижу, но и слышу пейзаж, он инструментуруется на согласных». «Туман, душный, как вата, и закутанные странно звучат шаги будто кто-то неуступно идет сзади» — фраза (из «Островитян») окрашена темными, глухими Д и Т. «Осенний ветер бесился, свистел, сек, а с моря наседала огромная серая птица — ветер» — в накоплении С с заключитель-

ными Ц. «Теплые слезы, теплая кровь... она лежала теплая, блаженная, влажная, как земля» («Наводнение») — в каждом слове Л» («Как мы пишем»).

Вообразите себе писателя, так работающего над каждой фразой; над каждым словом, над каждой буквой, попробуйте после этого поверить, будто искусство, это — сон, работа «бессознательной» сферы. Здесь все сознательно, умышленно, предусмотрено, обдуманно, исчислено. Тут больше холодного «ума», чем «сознания», т.е. синтетической работы — «ума и сердца» вместе. И в другом месте тех же своих признаний он, забыв о переключении в «сон», говорит следующее:

«Рукописи мои могут обмануть: поправок, подклеек, перечеркиваний там очень немного, все идет как будто легко. Но это только как будто: все нелегкости — за кулисами, каждую фразу я сначала примерю десять раз в голове и уже потом отрежу и положу на бумагу. Незаконченных фраз, сцен, положений позади я никогда не оставляю. Написанное может завтра мне не понравиться, я начну его заново, но сегодня оно должно казаться мне законченным: иначе двинуться дальше не могу»¹⁾.

Так вот какова, оказывается, работа художника, когда он говорит правду о своем искусстве! Тогда исчезает туман «боговдохновенной» лжи и обнаруживается подлинный характер творческого процесса, как сознательной борьбы за художественный образ.

То же противоречие между прокламированием «бессознательности» творчества и случайно оброненными «фактами» этого самого творчества мы находим у Пильняка. Заявив, будто он создает вещи неизвестно как, по «наитию», Пильняк признается, что для написания «вдруг» рожденного романа он много месяцев корпит над специальными книгами, изучает людей, собирает факты. И если бы он более подробно и точно, не принимая жреческих поз, поведал читателю о том, как он пишет, Пильняк многое смог бы рассказать о работе «ума», какую он затрачивает на написание своих вещей. Но Пильняк,

¹⁾ «Как мы пишем», стр. 42. (Разрядка моя.—Вяч. П.).

подобно многим другим художникам, в плену идеалистической традиции. В том же плену пребывает и Ник. Никитин. Совсем в духе Бориса Пильняка, он заявляет с первых строк признаний о своем творчестве:

«Первый свой рассказ я увидел ал во сне. Сон был совершенно пластичен и настолько ярок, что, проснувшись, я ощутил не только сюжет, характеры и фабулу, но даже стиль этого моего рассказа...»

Простодушный читатель натурально поражен. Вот оно — подлинное-то искусство!.. Надо, оказывается, потерять сознание, крепко заснуть, — и во сне, откуда-то «свыше» или «снизу», из каких-то «недр», из таинственных подвалов «подсознания» получить «видение» или «сновидение».

Но картина мгновенно меняется, лишь только мы приведем строки, которые пишет Ник. Никитин вслед за процитированными. Вот они:

«...Правда, до этого (то-есть до «сна») я долго болел мыслью об этом рассказе, он вынашивался и писался в то время, когда я, казалось, совсем было не занимался им»¹⁾.

Видите, читатель, какой получается оборот: рассказ, оказывается, «вынашивался», автор долго «болел мыслью» об этом рассказе, он даже «писал» его. «Сон» был таким образом «следом», продолжением этой «дневной» работы «сознания», — и сон здесь совершенно не при чем, ничего не объясняет и к творчеству никакого отношения не имеет. Но автор грациозно «конец» выдает за начало. Он не хочет просто признаться, что, прежде чем написать вещь, он ее долго обдумывает. Ему кажется модней что ли, «философичней» что ли, мудрей что ли начать так: «Первый свой рассказ я увидел во сне» и этим началом огорошить немудрящего читателя.

Андрей Белый в книге «Как мы пишем» заметил мимоходом: «У большинства критиков — дичайшие представления о процессах творчества». Это — сущая правда. Как видим, не менее ди-

кие представления на тот же счет имеют также многие современные беллетристы. Правда, не все... Так напр. Николай Тихонов, сильный поэт и прекрасный художник, убедительно рассказывает, как он по многу месяцев «обдумывает» сюжет, не торопясь, взвешивает необходимость существования той или иной детали, как он добивается «естественности» в движении рассказа, как объединяет его планом и наконец, увидав, что «рассказ созрел для изложения на бумаге», приступает к его окончательному оформлению. В признаниях Тихонова подкупает суровая простота и правдивость показа творческого процесса¹⁾. Здесь нет «видений», «прозрений», «наитий», — никакой чертовщины и боговдохновенного очковтирательства. И тем не менее проза Н. Тихонова принадлежит к лучшим образцам современного искусства, тогда как «интуитивистские» ламентации о «тайниках» души, о «прозрениях» и прочем сопровождаются сплошь да рядом производством суконнейшей «беллетристики».

II

Чтобы яснее иллюстрировать мысль о многосторонней работе «сознания», я коснусь некоторых примеров, получивших большую известность в современных эстетических спорах. Я имею в виду прежде всего страницы, посвященные Львом Толстым в «Анне Карениной» эстетическим переживаниям художника Михайлова.

Вот что рассказывает Толстой: «Михайлов... подходил быстрым шагом к двери своей студии и, несмотря на его волнение, мягкое освещение фигуры Анны, стоящей в тени под'езда и слушавшей горячо говорившего ей Голенищева и в то же время, очевидно, желавшей оглядеть подходящего художника, поразило его. Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление, также и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится...» «... Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал, несмотря на то, что он

¹⁾ «Как мы пишем», стр. 107. Разрядка моя. — Вяч. П.

¹⁾ В той же книге «Как мы пишем».

чувствовал все большее и большее волнение от того, что приближалась минута суждений его работе, он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах». (Разрядка моя.—Вяч. П.).

Тов. Воронский так комментирует это место: «Сознание Михайлова было занято мыслью, как посетители оценят его картины, а художественное чувство, помимо сознания, неприметно для самого художника собирало, воспринимало материал. Процесс происходил интуитивно»¹⁾. Выходит так, что «художественное чувство» обретается «вне сознания», не является частью сознания, противопоставлено ему, отделено от него, оторвано, представляет собой самостоятельный аппарат второго сознания, творческого, активного, именно того, которое называется «бессознанием», или «интуицией».

С такой точки зрения картина, показанная Толстым, получает следующий вид: «мысль» художника (отождествляемая с «сознанием») запоминает, наблюдает, регистрирует факты. Его «бессознание» «помимо сознания» незаметно для него самого «глотает впечатления», строит образы, как бы за спиной «мысли» совершает творческую работу.

«Мысль», логическая работа ума здесь отождествляется с «сознанием», а «художественное чувство» выключается из сферы «сознания». Эта операция и дает возможность утверждать существование бессознательного мышления. Но «чувство» вообще, «художественное чувство» в частности, есть явление «сознания», хотя и не есть явление «мысли». «Мысль» — один компонент сознания, один инструмент его; «чувство» — в том числе и «художественное чувство» — другой компонент сознания, другой инструмент его. Отвергнуть такое соотношение «мысли» и «чувства» можно, только обосновав именно «вне и помимо» сознания самостоятельное существование и развитие «чувств». Но этого-то доказать и невозможно, потому что «чувства» и есть основа, на которой вообще вырастает «сознание». Выклю-

¹⁾ «Лит. записи», изд. «Круг» — «Об искусстве», стр. 35. Разрядка моя.—Вяч. П.

чить «чувства» из сознания — это значит лишить сознание существования. Поэтому утверждать, будто «художественное чувство» Михайлова, помимо его сознания, неприметно для него самого собирало и воспринимало материал, — это значит противоречить правильному пониманию мышления, как оно действительно происходит.

Но, такое толкование переживаний Михайлова не только неправильно по существу. Оно еще и произвольно. Толстой, не вдаваясь в анализ, ничего не объясняя, и изображает самый процесс мышления Михайлова. Этот показ не обязывает понимать дело так, как будто бы «художественное чувство» Михайлова работало помимо сознания. Перед нами образец того сложного мышления, о котором мы говорили выше, когда сознание одновременно воспринимает несколько явлений. При этом нельзя сказать, что в данном случае «мысль» и «чувство» работают изолированно. Толстой подчеркивает, что, «не смотря на волнение» художника, «мягкое освещение фигуры Анны, стоящей в тени под'езда», и т. д., «поразило его». Это не есть работа одной «мысли», здесь очень богат элемент «чувства», но попробуйте решить: где здесь кончается «мысль» и начинается «чувство»? Толстой добавляет, подходя «быстрым шагом» к двери своей студии, Михайлов «и сам не заметил, как он охватил и проглотил это впечатление, так же, как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится...» «Сам не заметил»? Но позвольте спросить: если Михайлов действительно «не заметил» этих впечатлений, откуда он мог знать, что позднее, «когда понадобится», он вынет эти впечатления из запаса? Значит он знал эти впечатления, значит он их «заметил» какой-то частью сознания (именно — периферической) их уловил, отметил, но, занятый созерцанием более важного объекта, оставил их в стороне, сознавая в то же время, что позднее, «когда понадобится», ими воспользуется.

Значит эти впечатления не были на самом деле «незаметны». «Незаметность» их объясняется тем, что они

не были в центре сознания, но что они были в «сознании» — это доказывается приведенными только что словами. И дальше Толстой превосходно показывает, как в то самое время, когда работало художественное чувство Михайлова, когда он испытывал все большее и большее волнение, «он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах»...

Перед нами прекрасная картина синтетической работы сознания: не «мысли», изолированной от «чувства, и не «чувств», изолированных от «мыслей», но некоего потока, в котором и «мысли», и «чувства» работают одновременно и связано. Работа «мысли» всегда сопровождается чувствованиями и эмоциями: мышление происходит в чувственно-эмоциональной атмосфере живого сознания. Никогда «чувства» не развиваются в изолированном от «мысли» пространстве; в живом сознании они всегда сопровождаются мыслью. И наконец «мышление» представляет собой такое сложное состояние, при котором обдумывание какого-нибудь явления может сопровождаться одновременным «захватыванием» ощущений, переживанием «чувств», испытыванием «эмоций» («волнение»). Все это может происходить в одно и то же мгновение, нераздельно, т.-е. не механически сосуществуя, но органически слитно.

Именно такое состояние «сознания» изобразил Лев Толстой, показывая нам Михайлова в момент встречи с Анной Карениной. В художнике в одно время происходит и волнение чувств, и восхищение красотой Анны, он составляет ряд «понятий», т.-е. умозаключений, вместе с тем жадно захватывая те или иные внешние и внутренние черты. Все это и оказывается работой «сознания», — не одной «мысли», изолированной от «чувств», и «не чувств», изолированных от мыслей, но «сознания» как сложного целого, как единства, как многообразного акта внутренней жизни.

III

Не менее интересным примером сложной работы «сознания» является знаменитый эпизод с пестиком в «Братьях

Карамазовых»: Митя, направляясь к дому отца, уже отворив дверь, возвращается, хватая пестик и сует его себе в карман. На следствии Карамазов не может объяснить, почему он захватил пестик. «Поступок Мити — бессознателен, — комментирует А. К. Воронский. Логически его невозможно понять и читателю. И вместе с тем читатель чувствует, что так именно и должно случиться: убегая из дома Морозовой, Митя Карамазов должен был вернуться к столу, схватить пестик и сунуть его в боковой карман; благодаря случаю с пестиком, вся сцена в доме Морозовой получает характер особой художественной правдивости, как и все последующее поведение Мити, а, главное, благодаря пестиком, образ Мити делается вполне законченным и выразительным»¹⁾.

Дело не в том, что поступок Мити «логически» нельзя понять. (Почему непременно «логически»? Почему для понимания этого «темного места» нельзя привлечь еще кое-какие инструменты «сознания»?) И еще: почему Митя «должен был» поступить так, а не иначе? Получается такая картина: благодаря тому, что все это «неизвестно», «логически» не может быть объяснено, сцена получает характер особой «художественности»; чем «непонятней» и «необъяснимей», тем художественней. А между тем «художественность» и «правдивость» образа Мити оттого-то и подчеркиваются случаем с «пестиком», что читателю, следователю — и самому Достоевскому — совершенно ясно, и непонятного в этом нет ничего, что Митя потому-то пестик и захватил «вдруг», что хотел убить отца. Именно для этой цели он его и захватил. Поступок этот бросает страшный свет на внутренний мир Мити. Он действительно освещает его до самых глубин. Сознал Карамазов это свое преступное желание? Или оно было ему неведомо? Здесь-то и обнаруживается сложность и лукавство человеческого сознания. Когда Митя в отчаянии, в бешенстве, в иступлении бежит к дому отца, думая найти там Грушеньку, в его разгоряченном мозгу, в вихре мыслей и

¹⁾ «Искусство видеть мир», — стр. 27).

чувств, одно другого противоречивей, блеснула (быть может, едва заметная) молниеносная мысль «у б и т ь!» В сотую, быть может, в тысячную долю секунды она пронеслась и скрылась, выгесненная вихрем других мыслей. Митя в ужасе отогнал ее, боялся признаться в ней самому себе, делал вид, что ее не было и быть не могло, страшился даже думать о ней. Но она была, она мелькнула, и одного этого промелька было достаточно, чтобы в ту минуту — почти рефлекторно, отгоняя ее, ужасаясь и спеша, — он схватил пестик и сунул его в карман. И когда следовательно задал вопрос о пестике, Митя в замешательстве, отрывочно, в лихорадке отпирался не потому, что боялся признаться следователю, но потому, что боялся признаться самому себе. Ибо в глубине-то сознания знал хорошо, что убить отца хотел, намерение это помнил, но ужасался, упорно отказываясь в нем признаться. Когда «в последней степени раздражения», «весь покраснев от злобы», с «какой-то иступленной ноткой» бросил он следователю: «Запиши сейчас... сейчас... что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего... Федора Павловича... ударом по голове!» — ведь это была сущая, только затаенная правда, в которую сам он боялся верить, но которую все-таки бравируя, сам не веря, высказал, считая ее такой невероятной, такой неправдоподобной, что у него и сомнений не было: «не поверят!» Не случайно тут же «вдруг» он рассказывает следователю сон, который часто повторяется: кто-то за ним ночью гонится в темноте, ищет его, а он прячется куда-нибудь за дверь или за шкаф, прячется униженно и никуда спрятаться не может. Ведь это его собственное бегство от этой страшной мысли об отцеубийстве.

История с «пестиком» доступна пониманию. Гениальность Достоевского в том ведь и сказывалась, что он умел изображать душевные состояния людей во всей их сложности, запутанности и многообразии. Анализ душевных движений у Достоевского открывает иногда людям многое, что им самим казалось до того непонятным и странным. Но,

открывая страшные глубины человеческой «души», Достоевский открывал ведь глубины «сознания», хотя сам-то он мог верить в существование каких-то «подсознательных» или «сверхсознательных» сфер.

Сила Достоевского, Толстого и других гениев искусства заключалась не в том, что они умели проникать в «бессознательное», не в наличии «бессознательных» и «непонятных» движений души, «художественная правда» их произведений, сила их в том, что они умели заглядывать в глубочайшие глубины сознания, ощущали это сознание как сложнейший, глубокий и широкий мир чувств и мыслей, страстей и желаний, любви и ненависти, где все находится в движении, в борьбе, в противоречиях, в поисках.

Уменьше — эту сложность, глубину, противоречивость образно показать, не насилуя внутренних закономерностей этой борьбы и противоречий, сохраняя их живость, их краски, их аромат, их эмоциональную насыщенность, — это и значит быть художественно правдивым, владеть тайной «художественной правды».

IV. Об «уме» и искусстве

I

Единство сознания, органическая связанность «теоретического» и «художественного» мышления, т.-е. «понятия» и «образа», нисколько не устраняет конкретного многообразия в индивидуальных системах мышления. Автор гениальных художественных произведений может обнаружить слабость теоретической мысли. И наоборот, выдающийся теоретик оказывается беспомощным, если берется за кисть художника.

Происходит это потому, что единство человеческого сознания не есть единство механическое, отрицающее многообразие и внутреннюю противоречивость сознания. Теоретическое и художественное мышление идут из одного корня, к одной цели, питаются одними и теми же соками, вырастают на одной социальной почве, в пределах одной психофизической организации, имеют дело с одним и тем же материалом, доставляемым внешним миром. В работе ху-

дожника нет ни одной проблемы, ни одного образа, которые не затрагивали бы его «логических» центров. Но, подвергая обработке материал своего опыта, художник — если хочет остаться им — делает это приемами художественного мышления, с помощью образных построений. Тот же самый материал тот же самый художник может обработать приемами понятийного мышления, с помощью логических построений. Результат работы будет качественно иным.

«...Я, как публицист, — заметил однажды Андрей Белый, — качественно иной; пишуци роман, я органически не могу написать ничего абстрактного; пишуци статью, исследование, я для «звуков», «ритмов» и «художественных образов» бездарен... как пробка¹⁾. Это очень ценное показание, оно характерно для большинства художников и мыслителей. Природная одаренность — а диалектический материализм не устраняет проблемы одаренности — здесь обнаруживает свой характер. Природа редко наделяет человека всеми видами оружия: гениальной способностью строить образные произведения и гениальной способностью строить произведения теоретические. И опыт, и теория говорят в один голос, что предпосылкой для максимально успешной деятельности в определенной области является известная природная приспособленность организма. Природное низкое качество слухового аппарата, неспособность слуха улавливать известные колебания воспрепятствуют человеку, какова бы ни была техническая выучка, сделаться хорошим музыкантом. Отсутствие или слабость музыкального воображения — свойство, которое можно конечно развивать, но пределы которого зависят от природных данных, помешает человеку, несмотря на все старания, быть хорошим композитором. Отсутствие способности различать цвета воспрепятствует человеку, как бы его ни обучали, сделаться хорошим живописцем. Природная неспособность некоторых людей к математике и вообще к абстрактному, теоретическому мышлению известна. На почве природной одарен-

ности выучка может делать чудеса. Природная же одаренность проявляется в самых разнообразных сочетаниях. Человек, лишенный математического дара, лишенный вообще способности к мышлению понятийному, обладает удивительным даром воспроизводить мир в образах. Неспособность к теоретическому мышлению некоторых выдающихся деятелей «образного» мышления — художников, музыкантов, актеров — общеизвестна. И наоборот: обнаруживали необычайную слабость способностей, которые характерны для людей художественной «доминанты». Таковы крайние типы. Между ними располагается огромное количество смешанных типов людей с различными сочетаниями способностей, вплоть до таких, в которых наклонность к художественному мышлению и к мышлению понятийному почти не уступают друг другу. Таков был например Леонардо да Винчи. Его гениальность как художника, автора живописных произведений, мало уступает его гениальности мыслителя, теоретика, архитектора, инженера. Можно указать много дарований, которые, не будучи гениальными, вмещали в себе на ряду со способностями к «теории», «наукам», к построениям понятийного строя еще способность к творчеству музыкальному, живописному и т. д. Но мы знаем также выдающихся мыслителей, не обнаруживавших дарований в области художественной. Кант, создавший философскую эстетику, не понимал музыки: он любил духовой оркестр и бравурные марши. Он писал, кроме того, стихи — плохие, холодные рассудочные. Шопенгауэр издевался над литературным вкусом Гегеля. Рескин, обладавший значительным эстетическим чутьем, по словам Шарля Лало, ничего однако не смыслил в музыке. Гениальный Маркс был слабым поэтом. Чернышевский, проявлявший выдающееся дарование как мыслитель, в романах своих не обнаружил равного таланта художественного. Белинский, гениальный критик, был беспомощен как художник. Дарование Герцена-публициста неизмеримо выше его дарования беллетриста и т. д. Перед нами случаи преобладания то одного, то другого в-

¹⁾ «Как мы пишем». А. Белый, стр. 20.

да мышления, либо «понятийного», либо «художественного». Случаи одинаковой одаренности в нескольких областях крайне редки. Мы назвали уже Леонардо да-Винчи, хотя можем утверждать все-таки, что в нем художественная гениальность преобладала. То же самое можно сказать про Гете: художественный гений в нем явно преобладал и отеснял на второй план его дарование мыслителя, хотя в творчестве Гете не было конфликта между ними. Это и придает ему такое олимпийское величие, такую уверенность в суждениях, одинаково спокойных в исследовании о цветах, в «Dichtung und Wahrheit», в «Фаусте» и в лирических стихах. Шиллер был лишен такого равновесия, в нем решительно преобладал художник над мыслителем, хотя его «Письма об эстетическом воспитании человека» в истории эстетики сыграли большую роль. Преобладал художник и в Лье Толстом. В первый период его духовной жизни в нем решительно и безоговорочно властвовала художественная доминанта. Второй период, наоборот, характеризуется вытеснением художественной доминанты на задний план: в нем побеждает «мыслитель». Сила Толстого как философа для своего времени была далеко не ничтожной, его критика христианства, его религиозно-философские сочинения обнаруживали умственное превосходство автора «Войны и мира» над многими его современниками. Но художественное дарование Толстого, способность к образным конструкциям, сила его образного мышления были несравненно глубже, сильнее и выше. Как художник он был гениален. Как мыслитель он был только выше многих своих современников. Оттого-то как художник он несравненен. Как мыслитель он на каждом шагу делал крупнейшие ошибки. Н. К. Михайловский недостоин был развязать ремешок башмака Толстого-художника. Но тот же Н. К. Михайловский как теоретик, как публицист мог с превосходством обнаруживать слабость его религиозно-философских идей. Оттого-то Толстой-художник останется жить еще много веков, Толстой-мыслитель уже сейчас не дает человечеству ничего значительного. Его художественная доминанта бы-

ла могучей и величественной. И тот факт, что в нем она оказалась побежденной, вытесненной, хотя и разрывала иногда цепи, надетые на нее ее антагонистом, — этот факт может быть объяснен социальной практикой Толстого, историей его умственного и художественного развития в окружавших его социально-политических условиях. Борьба в нем двух систем — художника и мыслителя — и придает огромный теоретический интерес истории его духовной жизни.

II

Подобную картину имеем мы также в истории творчества Достоевского. Публицист и художник росли в нем из одного корня, из одних социальных отношений, размышляли над одними и теми же проблемами, изображали один и тот же мир общественных отношений. Но в то время как Достоевский-мыслитель не подымался выше уровня Лентьевых, Страховых, Данилевских, художник Достоевский был великаном по сравнению с ними. Если бы не существовало «Дневника писателя», человечество потеряло бы очень мало. Другое дело романы Достоевского. То же самое можно сказать о Гоголе.

Перед нами как будто два Достоевских, два Толстых, два Гоголя. Кто станет доказывать, что автор «Выбранных мест из переписки с друзьями» по силе равен автору «Мертвых душ»? Гоголь — теоретик слаб, Гоголь — художник — велик. Это не значит буквально: было два Гоголя. Гоголь как и Достоевский, как Толстой, был един. Но в этом единстве было противоречие между силой его мышления образного и силой мышления теоретического. Мышление образное в Гоголе было могущественное. Когда же подымал голос Гоголь-теоретик, Гоголь-мыслитель, когда в силу внутренней борьбы, под влиянием социальных причин, доминирующее положение организатора, конструктора, руководителя творческого процесса занимала его теоретическая способность и оттесняла на периферию художника, тогда и получались «Выбранные места из переписки с друзьями».

Можно обладать изумительным художественным талантом, — справедливо писал Плеханов про Толстого, — и далеко не отличаться силой логики.

III

Значит ли это, что «художник» не должен быть «мыслителем», что он не должен думать? Или, как это выразил однажды Борис Пильняк, художник обречен быть плохим политиком? Нет, не значит. Нельзя вообще противопоставлять «художника» «мыслителю». Художник и есть мыслитель. Искусство и есть мышление. Нельзя противопоставлять «мировоззрение» художника как следствие «ума», его мироощущению, как созданию «чувств». «Мировоззрение» и «мироощущение» связаны друг с другом, зависят друг от друга, и нельзя сказать: здесь кончается «мироощущение» и начинается «мировоззрение». Оба они являются выражением одного и того же единства, единства сознания, хотя бы противоречие между ними достигало крайних пределов. Но в отличие от мышления «теоретического», «понятийного» искусство есть мышление «образное». Как мышление оно имеет свою логику и свои обязательства перед наукой. Оно не чуждо вместе с тем логике вообще. Но подобно тому, как математическое исследование ничего не выиграет от введения в него беллетристической выдумки, так же точно успех художественного произведения не повышается, а, наоборот, снижается, если мышление образное будет в нем вытесняться мышлением понятийным. Каждое хорошо и нужно на своем месте. Подчеркиваем еще раз: искусство есть именно мышление, но мышление специфическое. В нем доминирует образ, но участвует и «логика». Вытеснение «образа», захват гегемонии «логикой» в искусстве разрушает специфическую его особенность, которая единственно оправдывает существование искусства; но, разрушая искусство, такое вторжение «логики» убивает всю его «мыслительную», именно мыслительную зарядку. Если вы хотите «строить» произведение искусства, делайте его специфическими средствами, специфическими инструментами, помня его особую функцию мышления образного. Чем слабее будет эта специфичность, тем слабее будет художественность произведе-

дения, тем более ослаблена будет ею исключительная, именно образная, а значит и познавательная, функция.

Но каково участие «мысли», «понятийного мышления», мировоззрения в художественном творчестве? Из того, что было нами выше сказано об единстве, о «химической» связанности процессов мышления, должно быть ясно, что «художественное», «образное» мышление не протекает изолированно от мышления понятийного, логического, конструктивного. Нет и не может быть большого искусства без «мировоззрения.» Искусство само есть образное выражение мировоззрения. И если мировоззрение мелко, не может быть глубокого искусства; если мировоззрение плоско, не будет высоким искусство, и если мировоззрение бедно, откуда искусству взять свое богатство?

Нет произведения искусства, которое бы не пользовалось силой логики, критической мыслью, расчетом. Но в художественном мышлении, как мы говорили, «доминирует», господствует, организует мышление «образ». Все остальные приемы мысли — теоретические, критические, конструктивные — не довлеют себе, но подчинены образу, служат его задачам, его целевой установке. Все вместе и порознь они способствуют, помогают, поддерживают, облегчают рождение образа, не пытаются свергнуть «доминанту», но подчиняясь ее руководству, выполняя ее задания.

IV

Потому-то ошибочным является подчеркивание «безумности» художественного творчества. Если бы «ум» действительно «умолкал» или «засыпал» в процессе художественного творчества, искусство не имело бы и тысячной доли своей огромной силы. Будто бы «Фауст» Гете мог быть написан без участия «ума»? Будто бы он может быть лучше понят при уме умолкнувшем? Будто без «ума» возникли античная трагедия или трагедия Шекспира? Напротив: те именно произведения мирового искусства и сделались «классическими», т. е. относительно «вечными», которые, образно заражая, обладают огромной способностью действовать на «ум», не за-

ставляя его «умолкать», они, наоборот, принуждают его к глубочайшей работе. С другой стороны, произведения искусства, обладавшие малой интеллектуальной зарядкой при большой иногда способности «заражать» вообще, не переживали своих творцов. Выходит, что теория «безрассудного» искусства противоречит фактам искусства. Это — влохой знак.

Ошибочно также противопоставление «аналитического» познания, каким будто бы является «научное» познание, познанию «синтетическому», каким будто бы оказывается искусство. Если нет «анализа», то нечего и синтезировать. Синтез предполагает «анализ» и наоборот. «Анализ» и «синтез» — неотделимы. Нет синтеза без анализа. Они сопровождают друг друга. Это не изолированные части познавательного процесса, которые могут как будто существовать: «анализ» — в науке, «синтез» — в искусстве. Всякая наука аналитична и синтетична в одно время. Нет также «искусства», которое представляло бы собой чистый «синтез», без всякого участия анализа. Всякое произведение искусства аналитично и синтетично в одно время. Так что если «рассудочную работу» отождествить с «аналитической» способностью суждения, то эта работа столь же присуща и необходима искусству, как и та ее часть, которая называется «синтезом». Без участия «ума» искусство было бы лишь игрой ощущений и эмоции. Оно перестало бы быть познанием вообще. Весь обобщающий опыт, вырастающий из работы органов чувств, принадлежит «уму». Без «ума» так же трудно воспринять произведение искусства, как и без «чувства».

Нельзя говорить о том, что «ум» будто бы отрицает эстетические восприятия или мешает им проявлять себя. Изучение художественного восприятия приводит к противоположному выводу. Именно глупец, придя например в театр, не сумеет поддаться обаянию театрального зрелища: ему неостанет ума. Отсутствие «ума» обуславливает неспособность глупца воспринять напр. фантастическую повесть. Глупец, широко открывая глаза, будет напирать на то, что зрелищу не соответствуют реальные фак-

ты, известные ему в жизни. Действительно: глупцы не понимали фантастики Гофмана. Именно глупцы отрицают «Пиковую даму». «Вия» и т. д., и т. д.

Только человек с «умом» может признаться:

Над вымыслом слезами обольюсь.

Тупицу такие слезы премного удивили бы. «Как глупо, — сказал бы он, — актер ломает дурака, а человек плачет от этого ломанья». Но дураком был бы именно он.

Не потому способен рыдать актер над судьбой Гекубы, что у него заснул «ум». Наоборот: ум, бодрствуя, превосходно понимает, что Гекубы нет; что Гекуба — вымысел; но этот вымысел — образ. А если так, что же из того, что он выдуман: он жив и ет, волнуется, как если бы был реальным. Он — эстетическая реальность.

Способность поддаваться эстетической иллюзии вовсе не обязана своим существованием тезису, предписывающему умному человеку обязательно поглупеть, чтобы испытать влияние эстетической иллюзии. Способность воспринимать эстетические факты не отрицает «ума». Именно «ум», рассудочная способность взрослого человека, облегчает ему эту иллюзию воспринять.

Известны случаи, когда экспансивный зритель избивал или убивал на сцене актера, игравшего злодея. Перед нами именно тот самый зритель, «ум» которого глубоко заснул, если вообще у такого зрителя он когда-нибудь бодрствовал. Благодаря этому обстоятельству восприятие пьесы получилось неправильное, не эстетическое. Выключив «ум», заставив умолкнуть рассудок, наш зритель превратился в «безумца», «поглупел», отдался непосредственным впечатлениям, наивно, по-детски «поверил искусству» и... увидев, как Отелло закалывает Дездемону, прострелил ему голову из пистолета.

Не ясно ли, что теория «поглупения», если ею руководствоваться, разрушает искусство в смысле буквальном и переносном. Именно регулирующая работа бодрствующего ума, понимающего «иллюзорность» зрелища, оберегает эстетический характер восприятия, ни на минуту не позволяет ему

перестать быть иллюзией. Если бы «ум» зрителя засыпал при созерцании произведений искусства, именно тогда разрушался бы эстетический характер восприятия, т. е. восприятие в мысленности, при одновременном понимании того, что перед нами не реальность, а вымысел. Искусство перестало бы существовать. Именно бодрствование «ума» обеспечивает существование эстетической иллюзии, какой бы соблазнительный для воли характер эта иллюзия не имела. Оттого-то Отелло закалывает Дездемону при молчащем зрительном зале.

Ну, а если бы «ум» зрителей заснул? Позволили бы они мавру совершить

убийство прекрасной, молодой и невинной женщины? Нет, разумеется. При «заснувшем» уме зрители, перепрыгнув рампу, оторвали бы мавру голову. Они сделали бы это тем более свирепо, чем гениальней была бы игра актера. Американцы подвергли бы его суду Линча. Не так ли?

Слава бодрствующему сознанию! Не разрушая эстетической иллюзии, оно не мешает ей подымать страсти до аффективных состояний, держит на поводу волю, не позволяет ей забыть, что перед ней живая видимость реальных событий и людей при фактическом их несуществовании.

3. О ПОВЕСТИ МИТРОФАНОВА ¹⁾.

Арк. Гадгалев

У нас есть «авторы», отделяющиеся от злободневных вопросов быстро скроенной схемой, зазвонистой фразой и горстью восклицательных знаков. Отмахнуться дешевой рифмой от обязанности изобразить реконструктивный период во всей его великолепной сложности — дело нехитрое. Я решил идти к простоте по линии наибольшего сопротивления, через «критическое усвоение всего культурного наследия». Такая творческая позиция А. Митрофанова заслуживает всяческого одобрения. Весьма нелишне вновь повторить, что искусство эпохи строящегося социализма не имеет ничего общего с примитивом, с бескровной схематикой, с урабарабанной трескотней и т. п., от которых полностью мы не избавились еще и до сих пор.

В чем суть, основная идея повести А. Митрофанова?

Идейные настроения одного из героев повести таковы: «...ему надоело переводить великолепное косноязычие жизни на плохое марксистское наречие. Жизнь необычайна, цепка и обильна, — это открывалось его взору в тысячах новых подробностей».

И вот автор повести хочет противопоставить «плохому марксистскому наречию» всяческих псевдо-современников, лакировщиков действительности, приспособленцев, «наречию», упрощающему и обедняющему богатство нашей современной жизни, подлинный марксистский язык. Увязка «великолепного косноязычия жизни», «жаркого шопота листьев», «грохота грома», «июльского ливня», всех красок и звуков жизни с мудростью подлинного марксизма-ленинизма, — вот как следует понимать основную идейную сущность художественного замысла А. Митрофанова. Это чрезвычайно ценный, ответственный, важный и актуальный замысел. Удовлетворительное художественное разрешение этой задачи явилось бы достойным ответом всем пессимистам, твердящим о гибели искусства, о гибели «красоты». поэзии в реконструктивный период (пессимистам, находящим себе место на правом фланге интеллигентского писательства), явилось бы надлежащим ответом всем апологетам интуитивизма, иррационализма, утверждающим разрыв мира чувств и сознания, мироощущения и мировоззрения, утверждающим, что только мистическая интуиция сохраняет нам мир во всем блеске его «неповторимых» красок и звуков, убиваемых, якобы схематикой разума.

¹⁾ А. Митрофанов. «Июнь—июль». Повесть. © АПП. «Новинки пролетарской литературы». ГИХЛ. 1931 г. Стр. 109.

Справился ли с этой своей задачей автор повести, стал ли основной герой повествования, рабочий Ольшаниц, «пройдя сквозь строй самых разнообразных чувств», «более воинствующим» и «злым» большевиком?

В произведении А. Митрофанова мы видим двух основных героев — Ольшанина и Стремянникова, коммунистов, интеллектуально развитых рабочих-печатников.

В лице Стремянникова представлен ярый враг упрощенчества, психо-интеллектуального примитива, стремящийся обнять жизнь во всей ее «великолепной сложности». «Мирозерцание его было свежо и хило, как только что вылупившийся цыпленок, — определял однажды Стремянников с неприязнью одного из своих собеседников. — Человек этот не тоскует по шелковой пижаме и по комнате с видом на Монмартр, ибо он не знает обо всем этом. Он никогда не стоял перед возможностью выбора.

Вот почему такие изменяют, когда попадают за границу; их ослепляет невиданный блеск, они взирают, как на чудо, на стаи женщин, раздетых с большим или меньшим кафешантанным блеском. Отрекся бы он без сожаления от тех чувств и мыслей, какие доступны ему, Стремянникову, если бы имел о них малейшее представление». Но противопоставляет ли Стремянников упрощенчеству подлинную идейную глубину? Увы, его (Стремянникова) видение мира оказывается чисто импрессионистским, эстетным, пассивным, романтико-индивидуалистическим. Взгляд на мир Стремянникова — не классовый взгляд пролетария, а взгляд типичного романтика-эстета. Смотри хотя бы характернейшую в этом отношении главу третью — «Прогулка философа». Имеющийся здесь показ восприятия Стремянниковым московского летнего дня как пестрого сочетания ярких красок, наглядно выявляет весь импрессионизм подхода Стремянникова к жизни. Стремянников остроенно чуток ко всем деталям городского «пейзажа» и жанра, ко всем оттенкам красок и звуков. «Фасад больницы был обморочно бел...» «Любопытствующая дама, стоя у тумбы, вытянула шею вперед. На ней было белое муслиновое платье, лиловые цветы в ее ру-

ке казались почти черными...» Он замечает отражение облаков в магазинной витрине, «молнию солнца», траву, «измазанную дегтем», «медно-красный загар» купающихся, «отчетливые тени на чисто выметенном тротуаре...»; он слышит «бравурный марш» на «гуляньи», «старомодную арию» в «пустынной и тихой улице», «масленный шелест шин», «визг купальщиц»... и т. д., и т. д.

Но «сверкание» всех этих красок и звуков поистине остается «бессмысленным», остается только прихотливой случайной игрой пестрых узоров. «День был бестолков, огромен, и нелеп» — и это весьма симптоматично для мироощущения Стремянникова. Вся эта живопись и звукопись, все это обилие предстоящих перед Стремянниковым «новых подробностей» жизни, противопоставляемых им упрощенчески-схематическому подходу к жизни (псевдо-«марксистскому» «наречию»), однако вовсе не ведет Стремянникова к подлинному марксистскому языку, к диалектико-материалистическому познанию действительности, к постижению подлинной глубины жизни. Живопись и звукопись не просветляют сознания Стремянникова, а ослепляют. Интуиция Стремянникова не облегчает ему постижения истинного социального смысла жизни. Стремянников, наоборот, внутренне отрывается от действительности, современность оказывается ему чуждой, он идейно запутывается в жизни. Он начинает говорить на языке, совершенно чуждом подлинной жизни.

Стремянников предстает перед нами весьма знакомым типом революционера, сходящего с пути революции. Стремянникова постигает обычная судьба романтика-индивидуалиста: бывший недурным революционером в эпоху гражданской войны, он не может осознать всю действительную глубину и величие эпохи «мирного» строительства социализма. «Мы создаем тысячи предпосылок к тому, чтобы люди опять самоуверенно влюбились в собственность...» «Воды Днепростроя начинают шуметь слишком благодушно... О, прости, они напоминают мне чинный говор в порядочном парламенте...» «Разве я виноват, что вы со своими бригадами не чувствуете, как жаждут люди сбежать от формул? В войну.

во Францию, в семейное счастье — куда-нибудь! Некоторые формулы очень исподтишка, очень медленно расшифровываются чувствами, как фальшивые...» «Я увидел, что диалектика, это — по праздникам, для музеев и партсвятынь, а на практике — самый настоящий ползучий эмпиризм...» и т. п., и т. п. Ликвидировать свой конфликт с современностью, т.-е. идейно перестроиться, Стремянников не смог; его, ненавистника трафарета, постигает трафаретнейший конец: самоубийство.

Разрыв Стремянникова с современностью, его «лево-правое» «фразерство», разумеется, нельзя не ставить в связь со всем его мировосприятием. Идейные отклонения от основной линии развития пролетарской революции — неизбежный политический эквивалент импрессионистического (в конечном счете — интуитивистского) мировосприятия. И там и тут присутствует подмена классовых критериев индивидуализмом, субъективизмом. «Я, — открывается нам Стремянников, — переступаю дозволенные границы, беру все наощупь, прицеливаюсь, рву в клочья теплые воспоминания. Я ничему не верю и все проверяю на собственном опыте». «Собственный опыт» у Стремянникова стоит изолированно от классового опыта пролетарского коллектива. Его политический «скептицизм» не имеет ничего общего с пролетарской самокритикой.

Идейный путь Стремянникова — еще один яркий пример того, что интуитивизм, романтический индивидуализм, субъективизм (именно на основе последних в конце концов зиждется импрессионистическое и «скептическое» мировосприятие Стремянникова, с его отвращением ко всем «формулам» вообще, с его неприязнью к идейной четкости и законченности, с его культом «скептического», с его «я ничему не верю», с его неприязнью к «аккуратно расчесанным струям какого-нибудь Днепростроя», с его «скукой на докладах о международной солидарности», с его тяготением к «блужданиям в воспоминаниях детства» и т. п.) не могут способствовать истинному познанию действительности, — все это чуждо пролетарскому разуму.

Борьбу с идейным упрощенчеством, с «авторами» «быстро скроенных схем»,

с любителями «завонистых фраз», «дешевых рифм» и т. п., борьбу за «великолепную сложность» надо вести иначе. Это принципиально понимает и сам автор повести. Он пытается «стремяниковщине» противопоставить иные идейные пути. Таким противопоставлением по замыслу автора повести должен явиться Ольшанин.

Ольшанин — коммунист, рабочий-печатник той же типографии, где работает и Стремянников. «Для Ольшанина Стремянников был не только хорошим товарищем, — они относились друг к другу как братья... Они вместе были когда-то на фронте...» Однако Ольшанин видит, куда начал идейно скатываться его друг, он начинает относиться к Стремянникову критически. Каков же идейный облик самого Ольшанина, каково его мировосприятие? Как разрешает Митрофанов свою основную задачу — «итти к простоте по линии наибольшего сопротивления», бороться за «сложность» против «завонистой фразы»?

Об Ольшанине автор повести пишет: «Я хотел показать рабочего парня — добродушного, немножко созерцательного, любящего помечтать, который, пройдя сквозь строй самых разнообразных чувств, становится «более воинствующим», «злым» большевиком». Обилие «чувств», «добродушие», «созерцательность» действительно весьма присущи Ольшанину. Приходится отметить, что нечто родственное мировосприятию Стремянникова имеется и в Ольшанине. В облике последнего, в его мироощущении можно найти например также элементы романтического индивидуализма, эмоционализма, самодовлеющего психологизма. «Пейзажность, импрессионизм отличаются и некоторые страницы книги, посвященные Ольшанину. Перед взором последнего, как и перед Стремянниковым, мир расплывается в импрессионистической игре красок. Бездумное, пассивное созерцательство, отдача себя во власть аморфных ощущений, впечатлений, настроений характерны для Ольшанина. Импрессионизм «чувств» весьма нередко доминирует над четкостью мысли. «...Над склоненной головой Ольшанина ярко пылала лампа. Ему было хорошо сидеть так и стараться ни о чем не думать...» «Мысли его рас-

«львались...» Бережно, как человек, боящийся спугнуть нечто маленькое и беспомощное, он следил за пятном на скамейке, но пятно плыло в сторону, плыло и нежелало...» «Словно куда-то торопясь, он видел быстрые и путанные сны наяву: мелькала гимнастерка Стремянникова, мерещились какие-то прокопченные углы, в окно кивали ветви и кони.

Вот еще характерный образец импрессионистического мировосприятия Ольшанина: «Где-то вдалеке ремонтировали трамвайный путь, железо звякало о железо, булыжник глухо раскатывался по асфальту... Чей-то вопль, хрипение, подбитый спотыкающийся топот, от которого совсем одичали звезды над головой; рядом в листве возникла, гремя и переливаясь, перестрелка. Она наложила новый штрих на спокойствие, ни на мгновение не отведя его отяжелевших зрачков от вымершей листвы... Сзади кто-то длинно, но очень мирно выругался...» Неопределенные «где-то», «чей-то», «кто-то» усиливают импрессионизм мировосприятия Ольшанина. Вообще эти смутно-расплывчатые «куда-то», «какие-то», «хотел что-то сказать», «здесь кто-то живет», «в чем-то», «почему-то» и т. п. весьма характерны для мировосприятия как Ольшанина, так и Стремянникова. Романтическим гуманизмом веет от встречи Ольшанина с Стремянниковым (в главе седьмой). Здесь критическое отношение Ольшанина к Стремянникову начинается разжигаться «гуманистической» жалостью, эмоциональным сочувствием к Стремянникову. Вот как воспринимает, «ощущает» Стремянникова наш «злой большевик» Ольшанин: «Он (Стремянников) старался засунуть пальцы за обшлага гимнастерки, глаза его казались маленькими и плачущими, нос посинел. Он выглядел жалким и озявшим». Ольшанину приходится уже «стараться» «быть суровым». Голос Ольшанина уже тронут «взволнованностью». Мы уже явственно ощущаем внешне незримые слезы на глазах Ольшанина, растроганного и размякшего. Ольшанин уже отдает обратно Стремянникову отобранный им партбилет. Политическая критика, разоблачение Стремянникова начинают звучать из уст

Ольшанина значительно приглушеннее, заслоняется «дружелюбием», лирико-гуманистическим туманом, верой (именно—верой) в Стремянникова, в его назначения (по существу — политически невинные, подлинно импрессионистические своей «неправоты», в признании, сопровождаемые восхищением «изумительным закатом» и проч. («Кажется, я несю нелепицу?») — комментирует себя Стремянников.). «Нет, в его товарище не было ни трусости, ни измены. Верно он заблуждался и лгал последнее время, но это недешево доставалось ему. Он даже разучился смеяться». (Как между прочим характерен последний аргумент защиты Ольшаниным Стремянникова!) Партийная критика уступает место мягкому благодушию. Негодование сменяется легким юмором, теплой и дружески-укоризненной усмешкой. Описание встречи заканчивается обычной изящно-рафинированной, лирико-импрессионистической, успокаивающей живописью. «Первые лучи солнца легко стрельнули из-за угла, слабая солнечная стрела застряла в листве, хрупкая, готовая упасть. На потолке легко возник дрожащий круг — отражение воды в стакане, стоявшем на столе. Ольшанин чувствовал себя разбитым и счастливым». Всепримиряющий гуманизм торжествует. Подобным же романтическим гуманизмом окрашена глава «Китайский веер». Характерна уже самая аттестация этой главы самим автором: «В этой главе я так увлекся описанием июльского ливня, тишиной и пр., что, расчувствуясь я еще немного, и получился бы против моей воли тот самый «проникновенный» гуманизм, против которого мы деремся...» (из предисловия автора повести). Закрывающая эту главу идиллия примирения Ольшанина с любимой им Тоней — предвестие грядущего семейного счастья. Сердце Ольшанина, вновь наполнившееся «жалостью, горечью и страстной жалостью», ряд «жалостных» деталей, счастливо-робкое умиление Ольшанина своей возлюбленной, благодатная «тишина, похожая на счастье», воцарившаяся в сердце Ольшанина и в окружающей Ольшанина природе (неизбежная «пейзажность») — все это вовлекает нас в атмосферу

самой доподлинной гуманистической романтики, против которой собирается бороться А. Митрофанов. В обрисовке любви Ольшанина к Тоне романтический гуманизм сочетается со сгущенным, художественно самоудовлеющим психологизмом, со всяческими надрывами, конфликтами и прочими психологическими изысками (очень естественными для Стремянникова), обременяющими Ольшанина излишним грузом, тянущим его в сторону от «злого большевизма». Явную фетишизацию самоудовлеющего психологизма мы наблюдаем в главе «Ночь», в которой показ внутреннего мира героя (Ольшанина) дается через его «сны» (типичный прием романтиков и психологистов). «Предательская жалость» к Стремянникову не покидает Ольшанина и в его «снах».

Таковы некоторые из тех «чувств», сквозь «строй» которых проходит Ольшанин. Вопреки убеждению автора повести, что в результате этой дороги Ольшанин становится более «воинствующим большевиком», что эти «чувства» якобы идейно закалили, углубили, обогатили внутренний мир Ольшанина, — надо констатировать, что они, наоборот, способствовали только идейному ослаблению Ольшанина и вели его не к укреплению «злого большевизма», а к прямой «стремляничине», к отрыву от действительности, вели к ложной «сложности», лили воду на мельницу апологетов интуитивизма, способствовали разрыву мироощущения и мировоззрения. Выдвижение таких «чувств» вовсе не могло вооружить автора повести надлежащим идейным оружием для борьбы со схематизмом и упрощенством.

«Потерял» ли Ольшанин «самого себя», подобно Стремянникову, навсегда? Автор уверяет, что не потерял. Что же оберегает Ольшанина от полного уподобления Стремянникову? Несмотря на пассивную созерцательность, повышенный эмоционализм, индивидуализм, у Ольшанина все же остаются связи с пролетарским коллективом, он все же остается общественным человеком, проявляет себя в действии, в социальной практике. Он не только отдается во власть пассивного созерцательства, он не только чувствителен к оттенкам «пейзажа», но например является и бой-

цом за новые формы труда, является организатором «молодежной бригады» в своей типографии, является инициатором «добровольного повышения норм». Вот это-то Ольшанин и может рассматриваться отличающимся от Стремянникова. Глава десятая, последняя, дающая нам живую картину борьбы за новые формы труда, борьбы рабочих передовиков с общественно-регрессивными элементами типа Фатеева, вносит в повествование Митрофанова социальную действенность, начало истинного преодоления «стремляничины». Совместная борьба Ольшанина и Тони за «повышение норм» кладет начало освобождению их взаимоотношений от налета «трагедийности», начинает развеивать густой туман психологизма, гуманизма и проч. И эта глава в целом конечно не свободна от импрессионизма, романтизма и других творческих минусов повести, однако здесь, как и в некоторых других небольших зарисовках рабочего коллектива типографии, проступает элемент реализма, социального подхода к действительности. Мы наблюдаем в ней например попытку показа социальной дифференциации рабочего коллектива, который далеко не является однородным. В усилении художественного внимания к социальной практике, к социальной действительности, к выявлению органической связи с последней тех, кого автор хочет показать общественно прогрессивными элементами, — залог победы над «стремляничной», а также и над всеми ликвидаторами искусства в наши дни, будь то идеологи чистой «фактографии» или апологеты интуитивизма, аполитичности, эстетства, плачущие о гибели искусства в эпоху строительства социализма.

Полагая, что у Ольшанина в конце концов «трагедии так и не получилось», автор при этом поясняет, что «это и мудро в нашей единственной стране — стране, победоносно строящей социализм». Это авторское пояснение нуждается в критике или по крайней мере в дополнительном пояснении. Конечно пролетариату как классу, революционному пролетарскому коллективу, строящему социализм в Советском Союзе, никакие внутренние «трагедии» не угро-

жают, однако таковые могут приключиться на пути отдельных человеческих единиц. Совершенно непонятно, почему Митрофанов так неожиданно забывает своего же Стремянникова, рабочего, партийца, с которым как раз и случилась подобная «мудреная трагедия», трагедия для пролетария коммуниста конечно самая доподлинная. Появление Митрофанова, полное благодушно-фаталистического упования на самое время, — «что-де нам особенно беспокоиться, время работает за нас», — особенно вредно для таких отдельных пролетарских единиц, как хотя бы Ольшанин,

которому как раз надо активно работать над собой. Такой же активизм необходим и самому автору повести «Июнь—июль», ибо его разоблачение «стремянниковщины» ещё весьма слабо.

Творческое дарование А. Митрофанова несомненно, оно видно каждому. Он хорошо усваивает художественное «наследие». Однако критicism этого усвоения «наследия» у него совершенно недостаточен.

Замыслы Митрофанова, выраженные им в предисловии, ждут своей дополнительной художественной реализации.

4. О СМЕЖНЫХ И КАСАТЕЛЬНЫХ СТОРОНАХ ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЛИТЕРАТУРЕ ¹⁾

(Заметки)

Н. Замошкин

I. Обстоятельства образа, места и времени действия современной пролетарской и близлежащей к ней попутническо-союзнической литературы — дискусионны. Гераклитово суждение «спор двигает вперед» очень применимо ко всему циклу вопросов, возникших и постоянно возникающих в литературной жизни последнего года. Необходимость ввода и применения диалектико-материалистической методологии в художественном творчестве и критике сейчас почти не составляет предмета обсуждения и никем внутри советской литературы не берется в кавычки. Но зато очень спорны все способы и виды интерпретирования этой многообещающей темы.

Питаю надежду, что даже ошибки в предлагаемом опыте, от которых никто не гарантирован в виду относительной новизны темы, не растают бесследно в воздухе, а внесут в общее дело диалектизации литературы какую-то положительную частицу. Ошибки неизменно сопутствуют всякому принципиальному обсуждению. Потому-то с ними надо заранее примириться, помня, что и они в какой-то степени «двигают вперед».

Перед всяким охотником, пожелав-

шим взяться за обсуждение этого вопроса, поле расстилается трудно обозримое и далеко не во всех углах очищенное. Могут повстречаться в этом путешествии не только расчищенные дорожки, но рвы и ухабы, о которых многие ушибались.

Проблема превращения попутчиков в союзников пролетарской литературы включает в свой круг также и области, имеющие смежные и касательные (не косвенные) отношения к диалектическому материализму. Рассмотрением этих отношений я свою задачу и ограничиваю. Лучше на первый раз сложную тему «ограничить», чем ежеминутно, как это практикуется, клясться именем диалектического метода.

II. В англо-саксонском эпосе есть трогательный рассказ о сороконожке, пожелавшей разобраться в чудесном механизме своих ножек, в «методе» своей работы. Познав после долгих усилий секрет их движения, бедная сороконожка вдруг почувствовала, что потеряла способность бегать! Писатель, мне кажется, ²⁾ должен учесть ошибки сороконожки и в кропотливом и неблагодарном анализе механики собственного творчества, к которому его часто призывает критика, не очень-то увлекаться, дабы желание доскональ-

¹⁾ Печатается в порядке дискуссии. *Ред.*

но знать технику своего производства не убило в нем способности создавать художественное движение. Частые упражнения писателей на тему «как мы пишем» очень недешево стоят им.

Сороконожка принадлежит к замечательным явлениям природы, и допущенное мной сравнение конечно не вызовет возражений со стороны писателей. Не придирутс я к сравнению и критике, если убедятся в печальном исходе опыта сороконожки, — не хотят же они, в самом деле, чтобы писатель перестал писать.

Однако я далек от мысли, что художнику нет никакого дела до методологии его творчества и что только критикам отдана она в нераздельное пользование. Нет. Формула «богу — богови» и «кесарю — кесареви» отошла в безвозвратное прошлое. Пример с сороконожкой — всего - на - всего пример ненужности увлечения «механикой» творческой работы. В эту кубышку, известную также под именем технологии творчества, при добром желании можно свалить все, что хочешь: и пульс писателя, и качество чернил, и какие «приходили мысли в то памятное утро», и несварение желудка, и как из букв складывались слова, и как за аллегория цеплялась мегафора, и кто подсказал писателю образ, и как из подзатылочной части вынырнуло сравнение, и мн. др. Нет, я не за механику и не за «бытовые условия», а за методологию, за философское пополнение писательской работы, за богатительные процессы творчества. При прочих равных «технологических» условиях результаты всегда получаются разные, особенно это касается социальной судьбы произведения, его общественного смысла. На переднем плане должна быть методология (не методика, — прошу не смешивать); самокопанье в «ножках» — в сторону!

III. До сих пор было так: худо ли, хорошо ли, но попутчик писал революционные произведения, твердо зная, что он за пролетарскую революцию (конечно были исключения). Помогали ему убеждения, чаще же всего настроения, но никак не помогали ему разные хитрости разных литературоведческих теорий, не говоря уже о теорий-

ках, ежемесячно возникавших в стане воинственных, но не всегда воинствующих критиков. Отворачивался, и часто по достаточным основаниям, от них писатель. Выражаясь фигурально, попутчик радовался радуге, т. е. всему цветному многообразию революционной действительности, особенно первых патетических ее лет, и вовсе не занимался спектральным анализом радуги, шел по стопам Гете, который, несмотря на любовь к натуралистике, все-таки предпочитал всему другому «живейшее приятие» радужного крылышка стрекозы. С течением времени выработалась как бы негласная «норма», по которой выходило, что для равнения на революцию достаточно было одного благоприятного настроения. Оставалось только ей следовать.

Но вот, как гром среди ясного неба, произошли все памятные потрясения в литературной среде. Наступил момент, когда страховка от капризов настроения стала необходимой частью творчества, пришла пора встать лицом к лицу с философской проблематикой творчества, не в ущерб конечно писательской способности управлять сорока своими ножками. Корень отставания не заключался ли в относительной безыдейности попутнического искусства, в предпочтении писателем «расположения души к живейшему приятию впечатлений» перед «соображением понятий»? Пушкин в своем понимании вдохновения, как мне хочется думать, имел в виду особое равновесие, похожее на диалектическое равновесие между «впечатлениями» и «понятиями»¹⁾, очень часто нарушавшееся в позднейшей литературе, включительно до наших времен и попутчиков, у которых «понятия» пока что не в почете. Так что равновесие собственно идеологических и эстетических частей в наши дни — величина пока еще не осуществленная, а только заданная. В целях педагогических теперешняя критика поэтому должна сделать крен в сторону кристаллизации «понятий» и во-

¹⁾ В книге Д. Благого «Социология творчества Пушкина» найдется много иллюстраций именно такого понимания и именно такой практики поэта, хотя исследователь и не задавался целью «проявить» их с этой стороны.

обще проблематики творчества, поскольку писатели до последнего времени были к ней настроены более или менее равнодушно. Прошу с этим считаться и в данной статье.

В недалеком будущем, надо надеяться, искомое равновесие отойдет в формулу единства впечатлений и понятий. Взобраться на эту гору можно с помощью материалистической диалектики, взятой не в расплавленном состоянии — в форме набивших оскомину рассуждений о диалектическом методе «вообще» или в форме принудительного ассортимента в рецензиях, — а в ее конкретно тематических случаях, примерах и проблемных опытах. Есть одно произведение, почти выдерживающее испытание на равновесие — «Журавлиная родина» М. Пришвина. Книга эта любопытна прежде всего со стороны раскрытия писателем своего литературного метода, сделанного с пользой как для «впечатлений», так и для «понятий». Произведение это было обойдено критикой, между тем в нем содержится богатейший материал для следующей дискуссии по вопросам творчества. Много и довольно острых зацепок для дискуссии находится и в книге М. Казакова «Человек и его дело», в которой искомое равновесие постоянно однако нарушается.

Из дальнейшего будет видно, что предлагаемый мной небольшой круг вопросов достаточно широк, чтобы взыскательный критик мог им пренебречь, но и не настолько широк, чтобы недостаточно информированный в этом деле широкий писатель мог остановиться перед ним в нерешительности.

Внимание к диалектическому построению образов дается ныне художнику в альтернативном порядке и как что-то вполне созревшее, дается конечно не для публикации, а для постоянного самочувствования. Обширнейшая страна, известная под именем материалистической диалектики, должна быть обжита писателем, как художественный Vaterland, и жить в его представлении всегда, как живет например в здоровом человеке его здоровье. Внимание и сознание эти еще потому нужны, что стихийная диалектичность всех великих писателей прошлого стала

общим местом; между тем, если эта мысль и верна, то стихийная диалектичность есть лишь бесплатная, дарственная, лишенная купчей крепости диалектика, корнями своими уходящая в область бессознательного. Стихию надо взять под уздцы и на проверку, полить ее аналитическими марксистскими растворами.

Пример губительности стихийной диалектики, спиритуалистической противоречивости дает Ф. Достоевский, а из позднейших — М. Пруст. Если бы понадобился особо чувствительный сейсмограф для записи всех припадочно-диалектических колебаний ущербной и ущемленной капитализмом психики, то для этого надо было бы взять много-много произведение М. Пруста.

Из попутчиков близок был в свое время — но на особый лад — к этому «методу» Вс. Иванов («Тайное гайных»), опасность эта постоянно грозит Ю. Олеше, находящемуся сейчас в стадии субъективно-идеалистического смятения («Вишневая коточка»), которое может толкнуть этот литературно-вышколенный талант в пучину хаотической диалектики.

Общественная задача теперь сводится к тому, чтобы разнодолевая стихийность попутнических писателей так или иначе стала темой для них самих, прояснилась и придвинулась к порогу непосредственного и симпатического участия в социалистической перестройке мира. Если это случится, то попутчик изживет иллюзию произвольности художественного труда и станет союзником пролетарской литературы. Чего же больше? «Резервов» пролетарской литературы из них конечно не построишь: они ведь не ратники ополчения и не зеленая молодежь!

IV. Универсальные истины, как известно, легче всего поддаются искажению и вульгаризации. Может это случиться и с диалектико-материалистическим методом. Но лучше пойти, если уже это неизбежно, с открытыми глазами на невольное и частичное искажение, чем стоять в немой и мнимой величавой позе перед совершающимся. Одно по крайней мере я буду помнить: переиначи-

вать и пользоваться усилителями не следует и в отношении к диалектическому методу. В противном случае будут принижены и стерты существенные признаки, свойственные литературе. Литература подчиняется не только социальному динамизму, но и внутреннему, скрытому динамизму своих форм. Оба эти динамизма диалектичны, но каждый на свой манер и салтык.

Каждое художественное явление состоит из напластований, слоев (не о факторах конечно тут идет речь), в среде которых происходят свои диалектические изменения, соподчиненные друг другу и подчиненные все вместе и порознь общему развитию социальной жизни через противоречия. Как ни ясно, что рост пролетарской литературы обусловливается вступлением пролетарского государства в ворота социализма, рост этот определяется также и законами внутренней динамики, познать которые можно из диалектики собственно литературных течений. Откровенно говоря, все это очень туманно и не только для меня одного, но другого толкования пока нет. Романы А. Фадеева например вытекают из полноводной толстовской традиции, успешно примененной автором на материале гражданской войны. «Бруски» Ф. Панферова — из традиции натуралистически-бытовой хроники, приложенной к животрепещущему материалу борьбы за коллективизацию. Не так поступил Л. Овалов, перенесший искрометную галльскую говорливость Кола Бреньона в свою «Болтовню», — здесь, не в пример Фадееву, ни «традиции», ни «влияния» нет, а есть механическое и беззаботное заимствование определенного жизнеощущения в надежде на то, что какая-то «новизна» получиться должна. В первых двух случаях пересечение идеологии с литературными навыками несомненно закономерно и диалектично, но вот углубленного, нацарапанного контура рисунка этого пересечения (как это делали старые мастера-фресочники) никто пока в критике не дал. Моя цель — обратить на это внимание критиков-рапповцев, чтобы получить от них подмогу.

А. Луначарский однажды дал четкое

выражение различным динамизмам в искусстве на примере «ручья», но несколько увлекся и разорвал «внешние условия» течения ручья от внутренних гидродинамических законов, которым непосредственно подчиняется это течение. Разрыв этот не трудно ликвидировать, причислив, во-первых, «гидродинамику» литературного произведения к внешним условиям и, во-вторых, подведя их к общему диалектико-материалистическому знаменателю. «Все вместе и порознь», а не раздельно. В этом единство точек зрения.

V. Приведу сейчас пример грубого, если не оголтелого, искажения диалектического метода и приспособленческого применения его в беллетристике.

В одном рассказе — предназначавшемся для печати и увидевшем свет в редакционной корзине, может быть, очень крайнем для иллюстрации, но тем более, значит, демонстративном и требующем разоблачения, пока этот случай не стал «бытовым явлением», — герой, служащий райколхозсоюзу, настолько выдержан в светлых тонах, что ради государственной экономии отказывается от $\frac{3}{4}$ заработной платы и «сознательно» приступает к «недоеданию». Сопровождающий героя по пятам резонер-начетчик втолковывает своему спутнику, что он поступает по всем правилам диалектики: время, предшествовавшее его жертве, было тезисом, голодовка его — антитезис, совершенно неизбежный, чтобы наступил спасительный синтез, когда герой освободится раз навсегда от мелкобуржуазной скверны и станет сознательным работником. И в самом деле: лечение и усиленное питание героя обходится, по подсчетам резонера, дороже $\frac{3}{4}$ заработка, что и заставляет «левака» отказаться от недоедания. Мефистофель «от диалектики» настолько ловок и формально «подкован», что путь своего героя через «противоречия» тут же обобщает и считает его типичным для всей продовольственной политики советской власти. Выходка эта конечно издевательская и способна благодаря приятности и литературности изложения в рассказе ввести в заблуждение читателя. Повторяю: фа-

була в рассказе искусно подведена под «диалектику», и с формальной стороны последняя выглядит почти безукоризненно.

Автор все же спохватывается и решает рассказ продолжать, чтобы нейтрализовать действие пущенного им «яда», и неожиданно создает образец хитроумного использования одного приема, с технической стороны очень близкого к диалектике, но совершенно чуждого ему по содержанию. Автор в поисках нейтрализующего противоречия объявляет все случившееся в его рассказе фикцией, небытием, фальшивым купоном, «законное хождение» которого им вдруг прекращается. Просто-напросто оказывается, что вся история с героем была зловредным слухом, раздутым врагами хорошего работника, и что резонер, б. дякон, был творцом этого слуха и действующим лицом собственной фантазии. Отсюда рассказ начинается как бы заново, а все то первое оказалось лишь экспозицией к нему. Любопытней всего то, что и без экспозиции судьба героя ни в чем бы не изменилась. Что в конце концов получилось? Мнимость осталась мнимостью, но дала «интригу», достигла эффективности и искусственно оплодотворила сюжет, пройдя двойной ряд противоречий, использованных автором чисто практически по поговорке: «что дышло — куда повернешь, туда и вышло»... Этот прием можно назвать приемом «как будто бы». Фикция получает при нем видимую реальность, ноль становится числом. Более искушенный в трюках автор мог бы наполнить этот прием подстановки и изрядной идеологической нагрузкой. Так или иначе элементы диалектического развития формы и содержания во всей упомянутой истории налицо, но только они «внебрачного» происхождения. Неискушенного читателя нетрудно таким манером ввести в заблуждение.

Не пользуется ли фикциями как методом, хотя и не в столь гиперболизированном виде, современная литература? Так ли уже она целомудренна? Когда «красное дерево» из мебели превращается в строительный материал и переносится в новый роман, — нет ли тут чего-либо «как будто бы», и не напоминает ли это игры в «тезу-антите-

зу»? За вариантами дело не станет, особенно если обстоятельства заставят.

Целесообразное применение диалектического принципа противоречия во всяком случае должно быть естественным и без всяких противоестественных «как будто бы». Расчет, экспериментаторство, прожектерство не будут противоречить противоречивому бытию литературы только в этом случае. Тогда пользование диалектическим методом пойдет впрок.

Метод допущения искусственно придуманного, нулевого имеет своего хозяина в философии. Это — ныне модная на Западе, неодакандентская теория утилитарного фикционизма Файнгингера «Die Philosophie des Als ob» (философия как будто бы). Душа ее — в утверждении, что умственные процессы и художественные упражнения есть лишь инструменты для достижения чисто практических результатов; теория эта глубоко релятивистская и совершенно беспринципная, по ней выходит, что все дозволено, лишь было бы умно.

Она, к слову сказать, несколько напоминает прагматизм, как бы разновидности он ни был, а также и взгляд А. Бергсона на роль рассудка в познании, как средства для достижения практических целей. Философия Файнгингера допускает для успеха все диалектические манипуляции, в том числе и игру в противоречия, в количество, качество и т. п. Ее излюбленный прием — введение в оборот всевозможных фикций и антитез.

О каком-либо систематическом применении философского фикционизма¹⁾ в советской литературе конечно не может быть и речи. Но негативно и через какое-то поветрие он все же прощупывается в некоторых произведениях, если даже писатель и не слышал о нем, — и упомянуть об этом стоит.

Профанировать материалистическую диалектику легче и удобнее всего через допущение «как будто бы».

¹⁾ О нем имеются лишь краткие упоминания в русской философской литературе (Л. Аксельрод и др.) да статья в сборнике «Современная буржуазная философия», изд. 1930 г.

Писатель-попутчик часто не в состоянии встать в равное положение с диалектикой, ему все кажется, что она приложена к искусству, а не составляет неперемennого условия революционного творчества. От этой приложимости проистекают все качества. У иных из писателей искривление метода происходит от кружения сердца при виде формалистских успехов и недостаточной опытности в этом мастерстве, у других — от потери связи с диалектикой и социально богатой действительностью, у третьих — от утраченного времени.

Если всмотреться в попутническую литературу с точки зрения наличия в ней «как будто бы», то найдутся аналогичные эксперименты, различающиеся между собой по субъективным и социальным мотивам. От них не совсем свободны и некоторые произведения пролетарского крыла литературы. Классический пример мнимодialeктической фикции — «Подпоручик Киже» Ю. Тынянова, где человек-нуль становится реальной величиной, где фикция не только физио, но и социологизируется. Здесь бумажная персона, диалектически маневрируя, производит целый переворот в окружающей ее жизни, здесь «триада» материализуется в выточенные формы. Но у Ю. Тынянова есть хоть оправдание в относительной историчности его темы. У Б. Пильняка и этого оправдания нет. Между тем почти добрая половина его творчества не только отдает дань фикционистическому спосрбу обыгрывания и мистификации предметов, но и возводит его в культ. Б. Пильняка можно назвать несравненным мэтром в деле обескровливания и кастрирования социально-диалектических процессов (писатель этот исключительно социальный), с которыми он пытается играть, как кошка с мышью. «Как будто бы» широко и местами виртуозно применено Андреем Платоновым в хронике «Впрок». Ю. Олеша предпочел лирически затуманить в пьесе «Список благодеев» этот дорогостоящий и беспринципный принцип. У Олеша, как и у Пильняка с Платоновым, списки благодеев совершенно фиктивны и местожительствоуют где-то за кулисами их воображения. Никакого диалектико-мате-

риалистического столкновения списков злодеяний и благодеев во многих произведениях этих авторов нет; противоречия в них снимаются за отсутствием противников. Номинально же в них все обстоит более или менее благополучно.

Не без «как будто бы» и скорей всего по причине простого кружения сердца написан в общем здоровый роман Г. Никитича «Встречный ветер», где политически правильные картины классовой борьбы сделаны при помощи широкого допущения иксов («Неуловимые» и др.) и рассудочно включенных в фабулу «противоречий». Червь этот не подточил всего произведения, ибо оно построено на здоровой пролетарской базе, но все же формалистская диалектичность произведения оказалась не равноценной революционной идее романа.

Повторяю, писатель может никак не знать даже имени Файгингера и все-таки впасть в искушение быть его последователем. Марксистская социология знает много тому примеров и дает им научное объяснение.

VI. ...Об утраченном времени, о времени в литературе, об историзме и о связи проблемы времени с материалистической диалектикой.

Что это будут не отвлеченные и досужие рассуждения, доказывают не единичные факты, например совсем недавно высказанные некоторыми писателями мысли о времени. Огромный смысл термина «темп», под знаком которого идет социалистическое строительство, тоже генетически связан с проблемой времени. Ощущение времени во всяком случае кровно связано с художественным трудом. Наиболее насущный и вместе с тем смутный вопрос марксистского литературоведения — время в его отношении к идее произведения. В эту проблему много упирается и прежде всего противоречивость, изменчивость образа. Раскрытие или по меньшей мере выдвижение проблемы времени обязательно для литературы. Только время как феномен длительности и постоянной смены мгновений и действий может развитие образов и идей сделать

исторически и психологически осязаемыми. Оно не позволяет становлению превратиться в ставшее и окончить, оно благоприятствует возникновению скачков в построении темы.

В художественном произведении время ощущается неустанно, как непрерывно действующий сигнал: в раскрытии жизни героев, в смене ликов у героев и вещей, в эволюции идеологии, в чувстве историзма, в ощущении ответственности художника перед своим временем. Проекция будущего возможна только при чувстве этой ответственности. Герой, тождественный самому себе, никогда не историчен; тождественные герои антихудожественны, мертвы, лишены характеров, бесчувственны к окружающему, бездейственны и напоминают скорее не героев, а слепки из музея восковых фигур. Эстетство по самой своей сути именно таково. Изысканная поэзия Кузмина например целиком покоится в монументальной тождественности своих форм и лишена живого диалектического движения, изменения. Тождество означает застой.

Даже в зодчестве и скульптуре — отраслях искусства, обходящихся без внешнего времени, — элементы изменемости во времени не только не отсутствуют, но представлены наиболее сгущенно, сконцентрированно. В мигах остановки, в столбняке архитектурных форм, в мнимой застылости скульптурных произведений сохраняются все последующие и предыдущие движения. (В «Социологии искусства» В. Фриче, как мне помнится, не прошел мимо этого.) Но то — зодчество и скульптура. В словесном же искусстве эти замирания возможны только как исключения, как передышки и были доступны в буржуазной литературе мастерам сугубо рафинированной «статической» поэзии (Т. Готье, Н. Гумилев, отчасти В. Брюсов).

Само слово, требующее для своего произношения физического времени, обуславливает «временную» природу литературы, но это чисто эмпирическое, иллюстративное, не философское время, и оно не содержит в себе никаких диалектических неожиданностей и ничего не обещает для познания. Другое дело — композиция,

ритм, изменение образов и совпадение этого изменения с диалектической сущностью изображаемой действительности. Тут время не только наглядное, но и познавательно-обобщающее, изменяющее и изменяющееся.

В накопившемся за последний год опыте дискуссий по философии и искусству проблема времени, можно сказать, была о боюдена, между тем диалектика и время — понятия почти тавтологические.

Марксизм в борьбе за правильное понимание времени преодолел раньше всего учение Канта о субъективном происхождении времени (время есть созерцание собственного «я») и настоял на следующем: в опыте, в жизненной борьбе мы воспринимаем вещи только в форме их постоянных изменений, и все мыслительные процессы, изменяющиеся во времени, находятся в диалектическом единстве с развитием самой действительности. Время, следовательно, не априористично, а глубоко действенно и не есть только форма созерцания, а непререкаемое условие изменения общественного бытия. Ленинизм еще более практически и философски конкретизировал время и поставил его на службу истории и социализму. (Привожу это в качестве краткого напоминания об известном).

В зависимости от этого и задачи современной литературы получили пробу времени, стали очевидными, найденными. Время становится предметом изображения и входит в берега, из outside'a, чего-то внеположного и умозрительного, переходит в обиход, в контролируемое мировоззрением и практикой чувство, в inside¹⁾. Если у Герцена только в самые трагические минуты жизни «личное раздумье было побеждено историей...» («Былое и думы»), то у современного писателя, союзника пролетариата, например у М. Шагинян, наследственный классовый недуг личного раздумья убивается каждодневно историей; и только на худой конец

¹⁾ Английские слова заимствую у Герцена, обозначившего ими разделенность своего «личного» и «общественного» бытия.

у современника он должен стать «воспоминанием настоящего» (об этом см. дальше). Пусть страдания молодого и пожилого Герцена не повторяются ни на старые, ни на новые лады у писателей-попутчиков, иначе это будет непростительным расточительством.

Буржуазное искусство, как правило, безвольно подчинялось потоку трансцендентного времени. Очень яркое выражение это нашло в «Шагренево́й коже» Бальзака, где герой в судорожных поисках господства над предательским временем покорно склоняет свою выю перед ним и гибнет, ибо он не разумеет его исторической природы, да если бы и разумел, то не мог продлить своего господства в века. Почти все герои из «Тайное тайных» Вс. Иванова стоят с опущенными забрами перед неслышно пронесшимися перед ними ветрами времени; черное покрывало фатализма (время как непознаваемое) опустилось вдруг над когда-то гордыми фигурами их.

Пролетарская литература, подчас сама того не замечая, снимает таинственные маски с времени и накладывает табу на стихийное его течение, познавая его служебную роль (темпы) и укрощая его произвольность. В этом смысле время и выдвигается мною на авансцену диалектико-материалистического метода в литературе. Спустить время с неведомых высот на равнину социально-политической жизни — задача пролетарской и смежных с ней литератур.

Попыткой знаменательной в смысле насыщения темы временем является повесть Н. Тихонова «Анофелес». В ней, подобно бальзаковскому герою Рафаэлю, учитель географии Кучин постепенно засасывается пучиной сурового времени и бродит по миру, как сомнамбула, бесконтрольно, делая робкие попытки противопоставить себя времени, которое его не признает. Но в отличие от бальзаковского романа время в повести не мистифицированное, а жесткое и литое время реконструктивного периода. Оно является, кроме того, идеей произведения, его костяком. Кучину, интеллигенту «личного раздумья», время оказалось не по плечу. В современных условиях ему предоставлено одно толь-

ко плоское и холодное пространство. Н. Тихонов раскрыл изумительную емкость и силу времени. В этом смысле «Анофелес» — произведение диалектическое, в котором время, даже ни разу не названное своим именем в повести, является атмосферой, целью и средством сюжета. Недостатком произведения следует признать скорее некоторую гипертрофию темы и, так сказать, показ времени в роли демиурга. Историческое, конкретное время художественного произведения требует коллективного или индивидуального носителя, а его-то в «Анофелесе» не оказалось, если не считать малоудачного инженера-большевика. Поэтому-то время у Тихонова стоит где-то на грани метафизики, и историко-диалектическое изображение судеб известной части интеллигенции моментами превращается в повести в диалектико-идеалистическое изображение. Случай с «Анофелесом» показателен в обоих отношениях. Автор явно перешел порог, пренебрег действительностью времени и не регулятивно использовал свой ценный замысел.

Бесспорную ценность у Н. Тихонова имеет также его равнодушие к чисто пространственной образологии. Говоря вообще, в диалектическом образе пластические и метрические приемы изображения не первоочередны и не специфичны. Пространственное движение как простое перемещение вещей вовсе не однозначно движению, как всеобщей изменяемости во времени (см. «Диалектику природы» Ф. Энгельса). Движение в отношении к образу не есть простая перестановка; в искусстве протяженность поглощается временем, реальной силой изменения. Образы находятся в диалектической и причинной связи между собой, и творцом этой связи является время действия, дающее в итоге новое качество, раньше не бывшее в образе. Это и есть эстетическое творчество действительности. Оно очень простое по структуре и сложное по рисунку и внутренним процессам. Конечно без метрической видимости и осязаемости произведение как художественный факт существовать не может. Важно однако помнить, что даже простое перемещение возможно только во времени, под эгидой времени, — то-

гда и образы становятся доступными для осмысливания во всем своем объеме, изменчивости и положительной противоречивости.

Большинство современных произведений о строительстве, борьбе и энтузиазме упирается в пространственное распределение вещей и людей во внешний, на глазах возникающий и исчезающий распорядок, в число как меру разграничения. Темпы в современной литературе берутся как имя числительное. Этого недостаточно. Пространство должно быть пропитано историзмом, как пропитывается губка водой. Чувственный образ времени возникает при интенсивном погружении в работу. Одной только заполненности пространства (М. Шагинян) предмети для возникновения образа времени недостаточно. Примат времени в литературе делает из нее соучастника строительства. Попутчик же — о чем говорит и этимология этого слова — по необходимости только пространственник. Число и распорядок, которыми строится произведение, лишь колеса, приводящиеся в движение не самими собой, а мотором — временем. Приемы исключительно числового изображения обесцвечивают тему. Очерки — наглядное тому доказательство. Дело не в жанре, а в наполнении жанра содержанием. Вспомните очерки Г. Гейне.

Только немногие из современных очеркистов это препятствие более или менее преодолели, и в их числе В. Ставский.

Они время овеществовали в диалектику классово-борьбы, они приоткрыли скобки, за которыми до последнего времени темпы скрывали свою художественную потенцию, они наконец «отвлеченное» время наполнили близкими событиями, а диалектику как метод повнания сцементировали диалектикой перестройки мира. Сделали они все это отчасти, но важен первый шаг. Во многих же очерках многих писателей, не чувствуется величия и ритма времени, в котором бы будущее смыкалось с настоящим.

В изолированном от времени пространстве движение весьма сужено и условно. Линия горизонта например сплошь точкообразна, а

бесконечное, загоризонтное пространство, только в умозрении сливающееся с временем, никак в ощущении не конкретно и с образной стороны ничего не обещает. Расстояния, дистанции, пункты, рубежи и межи, не одухотворенные в произведении историческим деланием и текучестью, не рождают изобразительного пафоса. Пейзажистика в большой советской литературе не поэтому ли не находит сильных сторонников, а у слабых протаскивается в форме нудных описаний хотя бы и индустриального пейзажа или же в форме дешевенького и неоригинального лиризма. Но ни одному пейзажу невозможно уже теперь дать название «над вечным покоем». Покоя нет там, где число и линия стали служить времени, истории, где распорядок претерпевает неслыханные превращения.

Вне сознательного хотения и уразумения писателем своей обязанности перед современностью литература расти будет только вкось. Само время тогда для художника утрачивается, т.-е. станет абстрактным, немощным. Путническая литература должна метафизическое время сделать перспективно текущим. Ведь в самом корне искусства лежит запечатление всеубегающего образа, утверждающего непрерывное убегание действительности от «вечного» распорядка. Только в мгновениях, прерывностях, в революционной контрапунктичности, где сохраняется и продолжает расти основная генеральная мелодия, — только в этих случаях, к которым обращался призыв поэта: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно», допустимы остановки и созерцание.

В новой литературе время станет историчным с его будущностной по преимуществу стороны, а не с прошедшей, как обыкновенно это было в буржуазной, особенно предреволюционных и предзакатных лет, литературе. Историзм наших годов уже зачинается в литературе. Пример диалектического и острого использования элементов прошлого дает Д. Бедный, очень по-своему равнодушный и поэтому противоборствующий ему (это видно из частой привычки его отталкиваться от литературно-бытовых фактов прошлого).

Пафос его поэзии и заключается между прочим в умелом диалектическом комбинировании элементов прошлого, пропускаемых им через рефлектор настоящего, для возвеличения и освещения будущего.

VII. Выступление Н. Асеева в «Литературной газете» (очень вспыхивающее и излишне темпераментное) об ускорении нашего времени и необходимости сверхтемпов прошло незамеченным. Между тем философский экстремизм поэта, ошибочный в самом своем основании, имеет немаловажное и отрицательное значение для определения правильного взгляда на роль времени в литературе. В своей статье Н. Асеев поет гимны в честь часов советской выделки, убегающих вперед настолько-то минут в сутки. Поэт серьезно полагает, что такие часы двигают вперед советское время, его не удовлетворяющее. Так понял он свое время. Хотя он часы свои рассматривает метафорически, но когда на метафоре все строится, то она должна держать ответ. Во-первых, поэт спугал часы, служащие для измерения времени, с самим временем. Во-вторых, сумасшедшая стрелка часов не может быть символом реконструктивного времени, а только символом владельца часов, пожелавшего отчаянно подтолкнуть комету, чтобы она ускорила свой бег. Непредубежденный читатель найдет в этом выступлении очередной рецидив левовской болезни; подход Н. Асеева к проблеме не гносеологический, не исторический, не современный, а настроенческий и капризный. Истинный историзм заключается сейчас в чувстве настоящего как эмбриона будущего, а не в перепрыгивании классом своего якобы ущербного и якобы «спокойного» времени. «Конкретное», деловое время Н. Асеева на поверку оказывается хрупким и недолговечным («Пока говорю, час улетает...» — Овидий), как сосудика на солнце. Его время донаучное, «нецивилизованное» (Спенсер), как у первобытных народов. Крайности сходятся! Забегание вперед по существу означает боязнь своего времени, нетерпеливость, слабость нервов, — поскорей бы все утряслось, одним махом разбивахом!

Вождяленческий историзм! Шекспировское признание о часах: «Я их люблю, как вынужденный бег разбитой клячи...» (в «Короле Генрихе IV») Н. Асеев мог бы так перефразировать: «Я их люблю, как стремительный бег бешеной стрелки». Время реконструктивных лет, сильное не только в потенции, но и осуществлении, выбрасывается им во встревоженной статье заодно... с Л. Толстым за борт. Старая левовская погудка на новый лад. Лучше было бы такому замечательному и живому поэту, как Асеев, на политической и производственной основе почувствовать с во е время, чем прыгать выше своего эстетического убеждения. Ни разбитая кляча, ни сумасшедшая стрелка не могут быть символами современности.

Попутническая литература вообще еще не умеет полно показать современное время во всей его емкости и глубокости. Она далеко не похожа на искусно вырабатываемые и совершенные по качеству глубокие и объемные зеркала, могущие служить зрительным образом времени. Точка зрения левовца — крайний пример подмены глубокого времени... пространственным движением; и, может быть, совсем не случайный смысл заключается в выборе Н. Асеевым именно пространственной метафоры — стрелки, описывающей круг по циферблату, по замкнутой плоскости.

Напомним одну старую поговорку, чтобы еще предметнее раскрыть нашу тему. «Время за нами, время пред нами, а при нас его нет». Она, как видите, диалектична только по форме. (Примечание: форма и содержание в своем единстве противоречивы.) Расшифруем ее ссылками на литературные явления.

а) «Время за нами» предельно глубоко было раскрыто художниками, постоянно чувствовавшими его зловещий смысл в судьбах людей (читай: людей капиталистической эпохи). В произведениях «Движения» С. Сергеева-Ценского и «Господин из Сан-Франциско» И. Бунина, при всей разности их трагизма, колорита и фабулы, герои одинаково — и чем могущественнее они, тем обреченнее — засасываются пропастью своей временности. Исторически время им изменяет, «вечное» господство их по разным ближай-

шим причинам кончается. Их время, завладеть которым особенно хотел герой «Движений», вдруг кануло в лету, и оба героя могли бы сказать, что оно «за нами, а пред нами и при нас его уже нет». С. Сергеев-Ценский едва ли не единственный писатель XX века, не раз раскрывавший не косвенно, а в лоб тему о времени. Многие его предреволюционные и теперешние вещи (на это указывают иногда сами названия произведений: «Как прячутся от времени», «Младенческая память») насыщены ожиданием конца, тревожным ощущением временности непролетарских классов. Мотивы конца, круговорота времен он распространяет и на детей, и на особо энергичных людей. Его герои — неудачники по большей части — не виноваты в своей неудачности, и их губит время, фатум. В переводе на марксистский язык губит их червь относительной историчности капитализма. Марксистская история и теория литературы почерпнут в могучем творчестве С. Сергеева-Ценского богатейшие материалы для диалектической науки о литературе российского капитализма.

б) «Время пред нами» — сюда входят художественные «утопии», не имеющие почвы для расцвета в современную эпоху, поскольку их взор обращен только на Эйфелевы башни техницизма.

в) «А при нас его нет» относится к «пространственной» беллетристике и очеркам, а также ко многим высказываниям и произведениям левовцев и конструктивистов с их фиктивным впереводом и прагматической самоудовлетворенностью.

Синтетическое восприятие советским писателем этой триединой поговорки может однако дать нечто революционно-положительное: время будет поймано в настоящем, в чувстве и сознании делаемого; тогда мгновение, прерывистость, получившие в поговорке кривой смысл, развернутся в перспективу как уже пережитого, так и того нового, что будет неминуемо пережито. И третий член поговорки сомкнется с первым, вачнется новое движение диалектической формулы на новой основе. Историзм предстанет в облике настоящего. Время перестанет зависеть только от памяти.

VIII. Литературе отживающих классов свойственна особая болезнь — боязнь времени (эмигрантская литература). По сравнению с ней боязнь пространства — то же, что корь в сравнении с артериосклерозом. В первой болезни — о чем можно догадаться из предыдущего — содержатся даже элементы профилактики, элементы известного ограничения пространственных эмоций. Боязнь же времени не вырабатывает никакого иммунитета и часто протекает в полускрытом виде. В литературе она иногда существует в личине «объективизма», стоицизма и «беспристрастия». Не всегда например стремление уйти в автобиографичность, в мемуар, в инфантильные переживания бывает свободно от боязни времени. У большинства же обезличенных писателей чувство времени просто спит или лениво влачится, — ни богу свечка, ни чорту кочерга. Как же хочется безмятежного существования!

Не всякий также и исторический роман, в свете подлинного историзма, может быть таковым. Даже при наилучших показателях знания и овладения языком и людьми отошедших времен некоторые исторические романы неисторичны. За разными музейными аксессуарами и документами, за очень соблазнительными аналогиями и мостиками из прошлого в настоящее могут скрываться целые пустоши нечувствительности к диалектическому ходу истории. Приблизительно так выглядят формально мастерские сочинения Г. Шторма и «Восковая персона» Ю. Тынянова. В подземелье изображаемых эпох, с их как будто бы расчеченным памятью временем, уводят эти писатели любознательного к истории читателя. Они в стилизации языка видят залог успешного выполнения своей задачи и вовсе как бы не хотят знать исторического метода Л. Толстого, писавшего средствами придвижения прошлого к современности («Война и мир», отчасти «Хаджи Мурат»). Последние изыскания Б. Эйхенбаума о Толстом это основательно доказывают и могут служить косвенным подтверждением нашего тезиса о характере историзма в литературе. Частичная боязнь времени может следовательно отразиться и на обработке собственно-историче-

ского материала. Удаленное время тоже ведь имело свой хронологический конец, — вот логика художников — стилизаторов истории.

Образцы иного отношения к времени и истории встречаются однако и в буржуазной литературе. В романе «Бог жаждал» писатель-буржуа, писатель-классик А. Франс не увязает в дебрях статического и рассеченного хронологией историзма, а подымается иногда до уразумения подлинных социальных черт эпохи. О якобинцах, первых в истории — как бы относительно ни был их диалектизм — революционеры-диалектиках, в его романе говорится: «Их чувства, их страсти, их поступки определялись интересами нации, с которыми неразрывно были связаны их личные интересы» (стр. 152, изд. Гиз). Для писателя-релятивиста и скептика это признание, право же, не так уж незначительно, оно метко стреляет по всем, кто склонен посмаковать и поиздеваться над многочисленными сцнами, которые просятся к нам в гости. А. Франс совершенно не нейтрален к истории и угадал правильную расстановку сил в самые под'емные годы французской революции. Здесь уже заключен зародыш диалектико-материалистического изображения того, что «за нами».

И в советской литературе есть несколько произведений большой исторической ёмкости, ничуть не пострадавшей от того, что произведения эти написаны на «злобу дня». «Новая земля» Ф. Гладкова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Ледолом» Горбунова, «Трагедийная ночь» А. Безыменского, «Соть» Л. Леонова, «Пустыня» П. Павленки, а из ранее написанных: «Цемент», «Виринея», «Города и годы», «У фонаря», «Дневник Кости Рябцева», «Голый год», «Сердце», «Севастополь» и др. Не одинаков их уровень чувственного историзма, не одинаков и раствор понимания. Но время пролетарской революции в этих произведениях схвачено не согладаями, а его активными участниками. И уже по одному этому перечисленные произведения в основном диалектичны и историчны.

Следует упомянуть, по несколько иному поводу, оригинальную, названную

очерками, книгу Вс. Лебедева «Полярное солнце». Проблема времени в ней затронута чисто тематически и методологически, и не отвлеченно, а на материале быта кочевых оленеводов-лапландцев и способов социалистической переделки этого быта. Автор отправляется в своем художественном показе целиком от понятия времени, как оно живет в представлении лапландцев, и вносит свои коррективы в него. Правда, интересный опыт Вс. Лебедева не свободен от влияний Шпенглера, но не эти влияния делают «музыку» его очерков. Делает музыку особое чутье автора к времени и рожденное в борьбе чувство исторического настоящего; через эту призму и смотрит автор на революционизирующийся быт кочевого народа.

IX. Чтобы закончить наше пробное путешествие в страну времени, остановлюсь на прихотливой природе воспоминания, именно одной его стороны, связанной с чувством историзма.

«Я живу сейчас под Москвой и иногда слышу колокольный звон, — рассказывал недавно композитор X, состоящий членом ассоциации пролетарских музыкантов, — но представьте, воспринимаю я его теперь не как нечто действительно сейчас звонящее, само себя утверждающее (как хотите, а физика!), как это было еще совсем недавно, а как... воспоминание настоящего, в роде напоминания о реальности, живущей одной инерцией; я увидел, как время на моих глазах, подражая шпагоглотателю, проглатывало этот малиновый звон, раздававшийся на вечерней и утренней заре...» Мне пришлось обратить внимание музыканта на то, что понятие воспоминания настоящего принадлежит не ему, а Бергсону, но что его толкование этого причудливого и глубокого понятия вполне оригинально и ничего общего с бергсоновским не имеет.

В самом деле, в суждении музыканта есть значительная доля правильного понимания ритма текущей эпохи. Не означает ли «воспоминание настоящего» особого революционного ощущения, когда действие еще есть, но уже находится за нами, как будто бы оно совершает-

ся на сцене, — этакий привкус театральности от него остается. А. Бергсон отстоит от этого понимания на тысячу километров: «Сохранение прошлого в настоящем суть не что иное, как неделимость изменения». («Восприятие изменчивости», пер. В. Флеровой, стр. 40.) Современность же упрямо заявляет: не сохранение прошлого, а испарение его, не неделимость изменения, а прерывность как условие непрерывности — и философически добавляет: не принимайте инертное бытие за бытие полных и цветущих форм, а только спокойно вспоминайте его...

Попутнический писатель выиграет, если «воспомятельно» и «театрально» отнесется к явлениям, заканчивающим цикл своего движения. Уступки литературным традициям, неизбежные до какого-то срока, должны по крайней мере быть даны в качестве воспоминания настоящего, по-музыкантски. Это чувство нужно возвращать, оно диалектично по природе и обещает в будущем каждому писателю выход в пока еще малоизвестные края нового пролетарского стиля. Романы А. Фадеева в вырывает именно такое восприятие взятой им толстовской манеры. Учебные функции стиля Толстого теперь становятся понятными и локализируются исторически. Да и сам Толстой, социально и литературно прикрепленный к своему времени, применял воспоминание настоящего в качестве метода и подхода к историческому материалу. Таков Наполеон в «Войне и мире», в котором художник отмечает черты исторического развенчания в самом зените славы полководца. Толстой спешит предупредить события и как бы «вспоминает» своего героя в бытии настоящего. (Идеологических окрасок, зависящих от классовых принадлежностей писателей, я тут не касаюсь, чтобы не растекаться по теме, и так затянувшейся).

Читая современную литературу, часто сталкиваешься с чем-то знакомым, не раз встречавшимся ранее, но вот того, что подходит под рубрику воспоминания настоящего, встречаешь редко. В переходный момент этот прием, как бы условен он ни был, все же дает ключ к восприятию искусства по-новому. Леффовцам вот приятно и легко дышится:

они хирургически расправляются как с узнаванием, так и с воспоминанием не только прошедшего, но и настоящего. Они не видят, сколько рассыпано в быту остатков и даже целин прошлого, вызывающих к современникам о своей скорой гибели. И вместо того, чтобы навязчивый звон их сделать достоянием хотя бы воспоминания настоящего, они предпочитают не признавать никаких прав гражданства за воспоминанием. (Их много — лефовцев, главным образом беспаспортных!) Беспечный народ. Спрячут голову под крыло и воображают, что видят века. Новая литература расцветет, когда не будет ни отставания, ни забегания. Пренебрегать нельзя даже воспоминанием настоящего, не допуская все-таки пустоцветных произведений, выпадающих на долю забегателей вперед.

Революция сильно повысила чувствительность к времени и увеличила давление времени на писателя. Внешние показатели этого давления встречались еще на заре попутничества. Напоминим о перестановке хронологических планов в разветвлении сюжета в «Городах и годах» К. Федина (повторенное им в «Братьях») и у Пильняка. Имеются и отдельные высказывания попутчиков о времени. В сборнике «Как мы пишем» у Ал. Толстого напр. найдется развернутая и в основном правильная характеристика художнического ощущения времени: «Каждый писатель — конденсатор времени. Время летит со скоростью света (быть может, время и есть скорость света). То, что мы называем пространством или бытием, — есть наше восприятие времени. Мы, живущие мгновенье на земле, хотим как можно дольше пролить это мгновенье, развернуть его в перспективу пережитого, — это наша память. Память останавливает время, создает историю». У Ю. Тынянова: «Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему». «Внутренняя перестройка писателя... это — осознание собственной эволюции во времени» (Вл. Лидин «Поэтика во времени», «Литер. газета», № 43). Золотые слова! Субъективно писатели — попутчики, значит, стоят близко к познавательной норме. Конечно историю создает не только память, но и действие

в настоящем, а также и воспоминание настоящего. В чем же дело, почему субъективное не переходит в объективное, почему их творчество не дает нового мировоззрения? — Потому, что в их литературной практике все время слышится «за нами», нет в ней равнения на то, что «перед нами» и получается: «а при нас-то его и нет». Теперь понятно, почему их сборник «Как мы пишем» был обстрелян критикой частым огнем.

Историческое мировоззрение, смутно или отчетливо существующее в сознании советских писателей, нуждается не только в четких формулировках, но главным образом в закреплении творчеством. Кристаллизация диалектико-исторического ощущения в воззрение — лишь пропедевтика, за которой следует основной курс — творчество.

Х. Материалистическая диалектика в применении к литературе, это — толчок для создания и уловления образов настоящего, орудие осуществления открывающихся взору грандиозных возможностей и преодоления препятствий, стоящих на пути пролетариата. Чем богаче и полнее осуществлено в художественном произведении преодоление социальной косности, тем диалектичнее оно. Производственные темы уже по одному этому наиболее предпочтительны. Пассивная созерцательность, не содержащая разрядов и энергетических ответов, антидиалектична. Сдвиг в советской литературе, если посмотреть на нее с этой стороны, произошел. Ее основной темой является труд, борьба, живое движение.

Но какое движение? Только ли в экспрессивной форме или также в форме многолинейной об'емности, не яркой на глаз и даже скрытой, но крепкой? Художественному творчеству не менее родственна вторая форма движения.

Стальная пружина — наиболее художественное из всех технико-прикладных изобретений. Она дает образ движения не только в экспрессии, но и в противоречивом иллюзорном покое. В революционном произведении действие не только передвигается, но и пружинит, сжимается и разжимается. Маяковский был наиболее пружинистый, преодолевающий косность поэт.

Большинство же склонно увлекаться количественной динамичностью (взрывы сюжета, подрывная ломка идеологий у героев, пересыпающийся горох слов, неожиданные концовки и пр.), которая ведет к месс-мэндизму (красной пинкертонщины), к рекордсменству, к подмене живого принципа движения его простейшей и наивной-реалистической формой — быстротой («стрелка» Асеева и т. п.). Если так упрощенно понимать движение, то придется выбросить из пролетарской литературы таких «медлительных» писателей, как М. Шолохов, А. Фадеев, Ф. Гладков, и признать эпитет «тихий» в названии романа М. Шолохова устаревшим. Об этом уже договариваются «быстрые» критики.

Торжество движения демонстрирует не только быстроходный самолет, но и совершенно скрытый от наблюдателя, но ясно познаваемый ход соков в стволе дерева, а также стремительное, но глазом неуловимое движение электрического тока по проволоке. Искусство живет всеми родами движения. Разве столкновение и пересечение очень разнообразных двигательных сил, составляющее сущность диалектико-материалистического развития, чуждо сложному динамизму творческого процесса, над воплощением которого (динамизма) работает писатель? Движение в искусстве никак не ущемляется в узких стенках механики и не сводится к скорости и количеству. Для писателя-быстровика темпы не имеют качества, для писателя-диалектика они высококачественны и содержательны. Я не хочу всем этим сказать, повторяя восточную мудрость, что «торопиться недостойно», — не об этом идет речь...

Писатель-диалектик даже в искусстве портретирования (и при портретировании коллективов) применяет принцип пружины, умеет показать момент разряда для немедленного развертывания идеи или образа. Пружина и в сжатом состоянии динамична. Вот когда появляются крылья в произведении. Высшая точка концентрации образа и идеи — сгущенность положительных и отрицательных энергий. На одних «плюсах» далеко не уедешь — и скрынеполучится, спокойный сон охватит.

произведение. Этим движется диалектический образ, прерывный в своей непрерывности, скачкообразный в своей эволюционности, неправдоподобный в правдоподобии.

Ошибка К. Федина, когда он создавал замечательный по сгущенности образ Сваакера, заключалась в общественно-недиалектическом использовании формально диалектической техники изображения. Принципы сгущенного движения применены были им исключительно полно, но в самом главном—в материалистической перспективности произведения—писатель ограничился ролью ообразителя, т.е. не уловил в судьбе героя решающего мгновения, когда пружина под давлением социальной обстановки должна была вытолкнуть героя из состояния величественности и бросить его на землю. Уже тогда, в годы написания «Трансваала», художник-материалист и диалектик мог бы прощупать в деревне первичное движение реконструктивных сил. Приблизительно такой же изъяс содержится и в романе П. Ширяева «Внук Тальони», с той лишь разницей, что движение в нем взято в экспрессивной форме, а не скульптурно, да и написан он был несколько позже «Трансваала» (отчего недосмотр автора усугубляется).

Сослюсь опять на двигательную природу скульптурного изображения, где порыв, выход за точку и преодоление статики особенно наглядны и которые, несмотря на разность материалов в искусствах, должны иметься в виду литературой.

В скульптуре запечатлевается «мгновение», — но какое мгновение! — немедленно переходящее в действие, как в пружине. Античные статуи «Дискобола», «Ники» и др., готические шпили, знаменитое изображение фигуры Ленина, не нашедшее пока конгениального выражения в скульптуре, с стремительно протянутой рукой, как бы высвободившейся из тисков, скульптурный ритм «Дубинушки» и пр. — все это выразительные демонстрации идеального движения. Если хотите, это и есть те самые возможности, при которых «отвлеченные» понятия взаимного проникновения противоположностей, отрицание отрица-

ния, перехода количества в качество получают доступ в самое сердце искусства. На очереди появление мощного произведения, где образ класса гегемона, носителя коммунистического мировоззрения, будет воплощен в движении и всех частей, с протянутой вдаль исполнинской рукой и поступью командора, строителя своего настоящего.

Дополнительная иллюстрация к принципу движения, но уже из иной области. В молочно-белом, пенистом, взбитом пуховом облаке июльского синего неба, в этом медленно и скульптурно расплывающемся по небосклону облаке движение происходит не только в главную поветровую и определенную сторону, но и в форме разнонаправленных и одновременных передвижений частей; облако дышит, как легкое, всеми своими сторонами и многолинейно; объем дает ему это дыхание. Целеустремленное движение художественного произведения похоже именно на этот род движения, протекающего и горизонтально, и вертикально. Как часто однако «динамика» в беллетристике и казенная верстовая прямолнейность б. Николаевской железной дороги не отличаются друг от друга! Сколько таких казенных произведений выбрасывается на рынок под маркой пролетарского динамизма! Время, измеряемое верстовыми столбами и шлагбаумами! Подлинное диалектическое движение в литературе, генерализируясь в одну точку, протекает одновременно и по боковым линиям. Смысл творческого соревнования внутри РАПП в этом и заключается, как и всех предшествовавших дискуссий, выковавших оружие пролетарской литературы на современном этапе. Разные боковые течения, не дополнявшие, а противодействовавшие основному, быстро растаяли в июльском воздухе и исчезли. Но без некоторой части их правильное движение не осуществилось бы. Подобная картина несомненно произойдет в ближайшие месяцы и в среде попутнической литературы, но в ней на первое время боковые движения будут, возможно, преобладать, так как социальная база этой литературы в отличие от пролетарской иная. Дело не в одном значит двигателе, а в рисунке движения. Только через жи-

вой закон движения, видами которого является и равновесие, и инерция, уловляется время. Тут требуется от читателя немножко воображения, чтобы связь эта предстала как взаимопроникновение. Динамике образов в произведении вторит динамика перестройки литературы.

Это упустил из виду П. Слетов, в недавнем прошлом выдвинувший гипотезу движничества, которая должна была потревожить сонливую природу «переваловского» психологизма. Рассуждения П. Слетова (и К. Локса) о предпочтительности в языке глагольных форм, как наиболее динамических, всем прочим были в основном мимо цели, так как законы движения общественной материи филологическое движничество касалось лишь слегка. В движничестве было также и нечто и с к у с т в е н н о е: перенесение словесных принципов немецкого экспрессионизма в советскую литературу. Немецкий экспрессионизм, как известно, имел большие основания упираться на глагольные и отглагольные словообразования, так как строй немецкого языка расположен к этому (немецкий язык сложнее и в передаче времени действия, что несомненно связано с его богатой глагольностью). Забыл также П. Слетов и суггестивную природу имен существительных,—именно со стороны динамичности выражения. Так или иначе, но движничество (этого или другого вида) далеко отстоит от нужного решения вопроса.

XI. Образ не разделен китайской стеной от понятия. Трюизм? Нет. Он, подобно всем своим братьям по теории (мысль, понятие), не свободен от процессов «сухой перегонки» и с процессуальной стороны близок к мысли, как «абстрактного отражения реальных вещей» (Ф. Энгельс). Гипотеза, что только образы непосредственно извлекаются из опыта и также свежи, как первое удивление ребенка,—наивна. А вся лирика Блока, Тютчева, Клюева, Пастернака? А Фауст, Андрей Болконский, Мышкин, Базаров? Образы, как и сложные понятия, вовсе не раскрывают всех своих карт сразу и отвечают не на любопытство, а на любознательность. Наивный ум в диалектическом методе ничего, кроме зауми,

ему тоже недоступной, не увидит, а диалектику классовой борьбы он в лучшем случае поймет как меркантильную политику. Образ же диалектической борьбы еще более сложен и трудоемок в смысле наполнения его мыслью. Только двигательные схемы, рисунки и покрои образов и понятий различны. Перегородка же меж ними тонкая, как в пчелиных сотах. Двигательные схемы мысли похожи на чертежи и вычерчиваются одноцветной тушью, а схемы образов рельефны, имеют профили и раскрашиваются в разные цвета. Природа же их одинаковая и вскармливается действительностью, при чем, подрастая, мысль и образ абстрагируются от инфантильных переживаний. Нарядность образа в отличие от скромного по одеянию понятия может ввести в искушение и сильных по мысли людей.

Если в образах заложены абстрактные элементы, то как поступать с требованием, обращенным к образу быть адекватным действительности? Выходит, что вопрос адекватности должен быть снят. Если читатель догматик, то он так и поступит. Но дело-то в том, что сама действительность, становящаяся предметом изображения, сразу теряет свое нетронутое первородство и обрастает отраженно диалектическим смыслом. Негибкие умом литераторы например всю проблему сопротивления кулачества сводят к традиционному обряду этой третьей руки кулака. Изображение классового сопротивления часто им одним и ограничивается. Образ обреза! Куцая, межеумочная философия, доступнейшая и малому ребенку адекватность. Никакого «соображения понятий»...

Корни наступления кулачества — им это невдомек — уходят глубоко, в самые истоки приобретательской экономики, в мировоззрение последних могиқан от капитализма, получивших от верхов заказ на последнее сопротивление, уходят в веками собиравшийся собственный уклад, в испытанную и хитроумную тактику оболванивания бедняков, в моралистские устои, в весь сложнейший гарнитур их быта и идеологии. Вот при каких условиях, познанных писателем, изображение классового сопро-

тивления станет адекватным объективной реальности.

Г. Никифоров к примеру так именно и замыслил показать стихию классового сопротивления кулачества, — под «встречным ветром» у него подразумевается целый экономически-бытовой комплекс, известный под именем ликвидируемого кулачества, а не толстое пузо, засаленный картуз и ощеренный рот врага коллективизации. Нельзя не признать этот подход, к сожалению осуществленный в романе чисто комбинаторски, в общем правильным и отвечающим задачам пролетарской литературы.

А тут подсовывают в тысячный раз обрез и думают, что все в порядке. Как часто в материалистически-литературной работе уровень устанавливается по наименьшему смыслу представленных образов. Чем больше нагрузка образов мысли, тем скорей пойдет перестройка литературы. Ответственное значение термина перестройки, судя по последним выступлениям попутчиков (Мих. Слонимский, Вл. Лидин и др.), начинает ощущаться все полнее. Литература перестроиться может только мировоззренчески, а последнее связано с философским наполнением образа. Образ не только слышится и видится, но и понимается, а также и угадывается. Жизнь часто дает одни только острые углы, художник же по ним, не притупляя, строит фигуры, проекции. Синяя птица образа сама не летит в руки.

Требование уважать мысль еще в большей степени относится к критику, особенно если он скороспелка. Нередко облюбованный им обрез всовывает он в руки не понравившегося ему писателя... Случаев таких было за последний год немало. Подобное например приключилось с рассказом Н. Зарудина «Неизвестный камыш» — об одном рожденном в муках сибирском колхозе, о людях, волею пролетариата и объективной действительности перестраивающих свое доморощенное и нищее хозяйство на новый, социалистический лад. Правда, автор отнесся к теме без всякого вспыскопускательства, не по-верстовому, а учтя всю противоречивость процесса, вылившегося все же в его рас-

сказе в показ правильности генеральной линии партии. В общем образы рассказа адекватны действительности. Но критик, любящий сенсации, не учуял действительного содержания рассказа и дал автору дубинкой по голове. Надо еще принять во внимание диалектический лексикон этих критиков, состоящий всего-на-всего из двух слов (материалистическая диалектика), чтобы волосы на голове встали у писателя. Синяк и бобрик, — вот к чему иногда сводятся результаты критического «анализа».

Случай этот я привожу не ради защиты писателей (они сами должны уметь огрызаться), а как пример зазорного и вульгарного понимания адекватности, а также и потому, что подвернулась под руки сказочка Пушкина «Ветреный мальчик», несомненно адресованная критикам-скороспелкам всех времен и народов.

«...русской грамматике не хотел он учиться, ибо недоволен был изданною для народных училищ, и ожидал новой философической. Логика казалась ему наукой прошлого века, недостойного наших просвещенных времен... — Что же? При всем своем уме и способностях (здесь я позволю себе не согласиться с Пушкиным. — Н. З.) Алеша... прослыл невеждою».

Пушкин конечно преувеличивал, когда писал в другом месте и по другому поводу: «Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще» и: «Я замечал, что самое глупое ругательство, неосновательное суждение, получает вес от волшебного влияния типографии» (стр. 337 и 342 книги одиннадцатой. Гос. изд.).

Кроме легкомысленного понимания адекватности, есть книжное, буквальное понимание ее, тоже встречающееся в критике. Критерий материальности в этом случае схластически переносится в искусство. Фиолетовый колорит в картинах К. Монэ для такого критика есть не что иное, как эфирная волна в 400 мм., которая, как известно, вызывает ощущение фиолетового цвета. Ощущение художника отбрасывается, — «мистика» и никаких гвоздей! «Гидродинамики» он не признает. Немудрено, что и диалектико-материали-

стический метод при таком свободном обращении выглядит очень эфирно, как чисто лабораторная, существующая только в таблицах реальность. Такому «материалисту» наплевать на то, что фиолетовый цвет почерпается художником из мастерской природы, как идеология почерпается им из общественной жизни, и что только в этом случае учебники диалектического материализма могут оказаться для художника полезными пособиями. «Размышления» Ломоносова над величием природы, непосредственно обогатившие его мысль, рождали образы. Немецкая учебная, почти карикатурная профессура тех времен ничему бы не научила его, не будь этих «размышлений». Адекватность вырастает на концентрированной, а не на цитатной почве. Земная атмосфера для художника при всяких условиях дороже книжной стратосферы.

Дикуссии же у нас нередко ведутся в пространствах с очень разреженным воздухом, в которых идеологии теряют свой вес, абстрагируються до невесомости и существуют сами по себе. Номиналистика. Освобожденная от конкретного «балласта» критическая мысль улетает в пустынные края, где она и испепеляется. Лозунг «конкретной критики» и с этой стороны общественно нужен и предупреждает критика о большой опасности говорить впустую.

Но и с «конкретностью» тоже надо обращаться умело. Где сделать остановку при разборе того или иного произведения, чтобы идеологическая петелька вышла наружу или не распутались раньше времени? Например из аксиомы — образы искусства выражают объективную связь самих вещей — вытекает, что открыто буржуазная идеология некоторых произведений советской литературы тоже объективна. Петелька однако рано распуталась, и догматик тот, кто здесь делает остановку. Кулацкая идеология объективна не вообще, а с точки зрения связей и отношений кулацкого класса. Диалектика подкрепляет силлогистику. Во-время и к месту сделанное ударение сразу уточняет конкретный анализ. Перелистывать книгу так, чтобы нить смысла тянулась непрерывно, и вставлять за-

кладки во-время не так уже легко. При овладении этим искусством легче становится вчитываться в сердцевину произведения и вспоминать прочитанное, что в свою очередь способствует точно определить степень адекватности произведения действительности.

ХII. Подобно тому, как неведомое сочетание физико-химических элементов дает органический синтез, т.-е. жизнь, и сочетание элементов стиля и пр. художественных слагаемых дает эффект художественности, нового качества. И в том, и в другом случаях совершается переход количества в качество на основе диалектического движения частей. Если даже в математике единица и десяток различествуют не только количественно, но и качественно, то тем более слагаемые стиля не подытоживаются простой суммой.

Никто однако еще не доказал научно, что такое-то сочетание и такая-то комбинация в стихе поэтических рядов и частей обязательно создают художественный строй и вызывают эстетическую эмоцию такой-то окраски и напряжения. Н.О. в искусстве не получается. И Ж и рмунский в своем образцовом формалистском разборе «Для берегов отчизны дальней» даже не приблизился к той «прерывности» и «скачку», откуда вырастает эмоция и социальный колорит стихотворения.

Известно, что поэтическая речь состоит из элементов, которые все без исключения встречаются и в прозаической деловой речи, но они входят в такие синтетические образования, которые в итоге квалифицируются как поэзия. Чего доброго, иной критик «фиолетовой» школы увидит в этом превращении не диалектический процесс, а некую жизненную силу, но ведь каждый по-своему с ума сходит. Критик же, познавший диалектику на примерах социальной истории и политики и признавший за диалектическим методом право на регулирование творчества, попытается, хотя бы и спотыкаясь, распознать «тайну» создания поэтического качества. Марксистское литературоведение найдет здесь большой интерес.

Мне скажут: вот пример вульгаризации — переносить явления необходимом

связи и количества-качества из физико-химической области в социально-речевую. Но, во-первых, во всякой аналогии содержатся частицы образности, а во-вторых, допущенное мною сравнение как-никак ничего общего не имеет с «фиолетовой эфирностью».

Можно уточнить тему. Когда речь отходит от «нормы», от произвольного порядка, то получается нечто случайное даже для самого виновника-поэта. Точный расчет тут едва ли возможен, как ни рационалистичен труд поэта. Поэтический строй случаен в том смысле, что его возникновение в недостаточной мере ведомо и раскрыто. Случайность в жизни образов не самопроизвольна и несколько не колеблет, а только подкрепляет диалектическую природу явлений. Совсем еще недавно критики занимались статистикой образов, метафор, идей и пр., подсчитывали, сколько раз автор пользовался индустриальными эпитетами, фольклорными сравнениями, как часто он обращался к пейзажу и лирическим отступлениям, потом подводили итоги и «умозаключали» о социальной идеологии писателя. Четыре правила арифметики сложились у них за диалектический анализ. Случайностей они совсем не признавали, несправедливо полагая, что они чужеродны диалектике.

XIII. Бывает искусство с «иллюзией» и без «иллюзии». Буржуазная литература укомплектовывалась своими идеологами с расчетом на вечность и на единожды устоявшееся понимание. К. Маркс выразил это отношение общей формулой о «выработке иллюзий класса о самом себе». Этого не понял А. Богданов, во всех своих книгах рассматривавший «пролетарскую культуру» как категорию не только фактически классовую, но как протяженную в постоянное будущее, вечную. В сущности говоря, для ниспровержения богданов-

ской теории достаточно было одного этого марксова аргумента. Пролетарская литература, как ограниченная своим временем культурная формация, закрепляет себя в роли гегемона не на веки, не ради «иллюзий класса о самом себе», а для подготовки бесклассовой литературы, что одно уже придает ей возвышенное, диалектико-материалистическое и разумно-историческое содержание. Гегемония ее ускоряет очистку «от всей грязи старого общества». В октябрьском (1930 г.) переломном письме секретариата РАПП это выдвигалось как важнейшая директива. Попутническая литература, находящаяся сейчас в стадии кануна, получает таким образом указание и практическое, и в высокой степени идеальное, освобождающее ее от пут всяческих «иллюзий». Союзническое произведение будет родственно пролетарскому как раз с этой стороны. Образовавшиеся с течением времени на челе попутничества морщины должны расправиться, иначе его занавес закроется и никогда не раскроется.

Приходит заодно конец стихийности и неисторичности в литературе. Революционизирующий экономик, быт и искусство марксистско-диалектический метод вскоре включит в свою орбиту все творческие группы и течения советской литературы. Он обойдется без особых «заявок» на ту или иную область или манеру изображения и не наложит печатей на художественное имущество.

Спорные территории в диалектическом методе литературы—неизвестные материки, о которых нечего и спорить, а острова и островки, смежные с материком и уже приблизительно и вчерне нанесенные на карту к сегодняшнему дню. Нужны экспедиции.

Данная статья лишь робкая рекогносцировка. Может быть, я не прояснил уже начерченного рисунка, по своим контурам пока-что декларативного, а еще больше его затемнил,—допускаю. Но «спор двигает вперед».

5. „КРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК“¹⁾

К столетию первого лионского восстания

Ю. Данилин

С какими песнями лионские канюты шли в ноябре 1831 года за черным знаменем восстания? Какие песни звучали на улицах Лиона во время их недельного владычества? Что пели они впоследствии, во время второго восстания, в апреле 1834 года? Как отразились оба восстания в поэзии канютов?

Все эти вопросы в настоящее время неразрешимы. Трудно думать, что у лионских восстаний не было своей поэзии, но она безвозвратно забыта в настоящее время. Наши попытки найти хотя бы фрагменты этой поэзии или даже простое упоминание о последней успехом не увенчались. Быть может, в результате длительных раскопок в архиве Лиона или в Парижской национальной библиотеке памятники этой поэзии все же будут когда-нибудь найдены.

«Красный человек» Берто и Вейра²⁾, журнал стихотворной сатиры, полон интереса не только как яркий документ поэзии июльской революции, но как единственное известное пока произведение, безусловно входящее в круг поэзии лионских восстаний. Не будучи связан непосредственно с этими восстаниями и появившись в промешутке между ними, «Красный человек» объективно отдал свой революционный республиканский пафос делу подготовки второго восстания.

Но прежде чем перейти к анализу «Красного человека», не лишне остановиться на другом памятнике, тоже родившемся в Лионе в 1833 году, на «Пролетарской песне» лионского песенника сен-симониста Корреара. Эта песня тем особенно ценна, что она предвосхищает будущую известную «Песнь рабочих» Пьера Дюпона:

При лампе утром мы встаем
На петушиний окрик дальний,
Мы спозаранку спины гнем
За черствый хлеб над наковальней.
Руками, телом, день-деньской
Мы с нашей боремся судьбою,
Но холод старости седой
Грозит нам завтра нищетой¹⁾.

«Пролетарская песня» убеждает, что настроения тихих сетований, мирных жалоб и розовых идеалистических надежд были свойственны части лионского пролетариата. «С начала 30-х годов, — пишет Н. Лукин, — в рабочие кварталы (Лиона. — Ю. Д.) проникают идеи сен-симонистов и фурьеристов, влияние которых сказывалось и на направлении популярных в рабочих кругах газет «Фабричное эхо» и «Собиратель (Собирательница. — Ю. Д.) колосьев». Однако и в сен-симонизме и в фурьеризме рабочих привлекала лишь их практическая сторона — идея рабочей ассоциации, установление прожиточного минимума, критика свободы конкуренции и т. п.» Но если идеология части лионского пролетариата могла оформляться учениями Сен-Симона и Фурье, то другие группы лионского пролетариата, настроенные революционно, шли (после первого лионского восстания) за республиканцами. «Красный человек» должен был отвечать их мятежному пылу.

«Красный человек»²⁾ начал выходить 2 апреля 1833 года и предста-

¹⁾ Перевод С. Заяицкого.

²⁾ Несмотря на хлопоты, мы не имели возможности получить доступ к хранящемуся в Парижской национальной библиотеке комплекту «Красного человека». Летом 1930 г. библиотека имени Ленина обратилась через ВОКС в Парижскую национальную библиотеку с просьбой о высылке «Красного человека» в Москву в порядке международного библиотечного абонемента; некий москве, подписавшийся за министра народного просвещения, ответил отказом в виду того якобы, что данный памятник имеется только в одном экземпляре. В декабре 1930 г. Институт Маркса и Энгельса, любезно отзывавшись на нашу просьбу, дал поручение своему парижскому

¹⁾ Отрывок из исследования Ю. Данилина «Поэты июльской революции» (печ. в ГИХЛ).

²⁾ Луи-Агат Берто (1810—1843), сын столяра, поэт-стекольщик. Жан-Пьер Вейра (1810—1844), сын крестьянина, савойский эмигрант. Берто и Вейра — одни из самых замечательных поэтов июльской революции.

вился своим читателям в следующих звучных и гордых стихах, объявляя себя пророком, призванным бороться с социальным и политическим злом на земле.

...Вот он, Пророк грозный!
Незванным гостем он грядет на пир блестящий.

Ему поручено излить абсент и яд
На тех, что подлостью и похотью смердят!
Он должен им предстать с бичом — в разгульном game,
Средь ложей, убранных позором и шелками,
Чтоб в час, как бременем им стане пьяный жар.

Те знаки начертать, что видел Валтасар;
Чтоб желчь, копимую пятнадцать лет недаром,
Разлить по золотым, благоуханным чарам;
Чтоб под набатный вой, в безумие ночей
Открыть и объявить убийц и палачей;
Чтоб опознал их всех и проклял пролетарий

И Каинов своих обрек суровой каре!
Мерзавцев не жалеть! Пусть яростно трубит
Везде за годы мучений и обид!¹⁾

Нужно было бы привести эти слова во французском оригинале, чтобы почувствовать их энергичный пыл и вместе с тем блестящую их оформленность. Даже Бертье не в силах противиться их обаянию: «Нельзя не признать ни звучности этих стихов, ни роскоши этих богатейших рифм, — пишет он. — Но существенно отметить, что оба друга слагают свои пылки стихи не в манере чистых художников, — с холодным размышлением жонглера над золотой рифмой. В их молодой поэме — вся их горящая и обновившаяся душа, которая мчит, словно прорвавшийся поток. Демон сатиры обладает ими всецело, сотрясает их, бросает их оземь

представителю о фотосъемке «Красного человека»; несмотря на указанный шифр книги, представитель ИМЭ найти ее не мог. Существует ли еще этот последний экземпляр «Красного человека» и так уже дефектный (без первого выпуска)? — Вот почему мы вынуждены пользоваться только документацией, имеющейся в книге Alfred Berthier. *Autour des grands romantiques; Le poète-savoyard Jean Pierre Veyrat, Paris, 1921.* Это единственная книга о Вейра. Ее автор, католик и консерватор, расценивает революционный период творчества Вейра как... форму психического заболевания. Понятно, что документация Бертье является неполной и нарочито подобранной для доказательства этого «тезиса».

¹⁾ Переводы из «Красного человека» сделаны Д. Бродским.

изнеможенных, с пеной на устах». Но дальше Бертье возвращается к лейтмотиву глав, посвященных революционной поэзии Вейра: «Нервная судорога становится отныне их хроническим состоянием, даже в ущерб здоровью. Какое бы ни было презрение Сент-Бева к этим произведениям, можно попутно интересоваться ими как любопытным психическим феноменом¹⁾».

Хочется подчеркнуть, что если поэты «Красного человека» объявляют таким образом себя социальными мстителями, призванными беспощадно рассчитываться с «Каннами пролетарского народа», они не раз и в будущем с гордостью упомянут о своей принадлежности к пролетариату. «Увы, — восклицают они в одном стихотворении, — если по нашим колыбелям и проходил когда-нибудь Пактол²⁾, он во всяком случае никогда ничего не оставлял нам. Наши отцы, как и мы, были детьми пролетариев и жили тем потом, который отдавали своей земле». От этого чувства классовой гордости поэты «Красного человека» и исходят в своем величественном и страстном социальном протесте. Показательны в данном смысле следующие отрывки из сатиры «Что с вами?». С таким вопросом знакомые обращались к авторам «Красного человека», удивляясь «их несчастному виду». И поэты отвечают:

«Что с нами? — Когда пылающая земля корчится на наших глазах как дантов ад, когда мы видим передую бесконечные страдания, когда перевед нами голодный бунт, готовый открыть свою пасть и спуститься с оружием к цирку, крича:

«Мы голодны!»

Когда в палящие нас бессонные ночи мы видим столько призраков, черных и растрепанных, когда видим, что земля под нашими ногами дымится, как головешка, и что лето, приносящее свои благовонные ароматы, может снова зажечь ноябрьский вулкан при первом огоньке на горизонте;

¹⁾ А. Berthier, p. 69.

²⁾ Мифическая золотоносная река в древней Лидии.

Тогда не спрашивайте нас, почему наши молодые головы столько думают о горестях среди всех ваших празднеств, почему наш взгляд блещет, как огонь, и почему в этой вечной и незнающей покоя драме, которая начинается голодом, а кончается стачкой, мы проклинаям людей и бога!

О, если бы нужно было рассказать вам, счастливицы мира, о всем том грязном и гнусном, что свойственно нищете: о том, сколько стоит шестнадцатилетняя девушка и сколько дней в году сможет просуществовать ее мать, которая торгует ею, прежде чем ее отцветшая дочь не станет уже годна ни к чему!

Напрасно потерянные речи и время! Сердцам, холодным из принципа или по природе, нужно послать проклятия. Они никогда не посещали чердаков предместий. О, вы, Гомеры, труженики, художники, Велитарии, — они закрыли свои руки перед всеми вашими горестями, потому что они слепы и глухи.

Сент-Бев утверждал, что «Красный человек» является только подражанием «Немезиде», «подражанием преувеличенным и грубым, без малейшей черточки насмешливой шаловливости». Бертье в свою очередь указывает, что в «Немезиде», «Итальянских стихотворениях» и в «Красном человеке» имеются «одни и те же темы, одни и те же антипатии, одни и те же метафоры, одни и те же приемы, даже одни и те же рифмы»¹⁾. В другом месте Бертье дает более распространенную оценку влияния «Немезиды» на «Красного человека».

Чрезвычайно любопытно отметить эту разницу оценок «Красного человека», вышедшую примерно из одного и того же лагеря консервативной и реакционной французской буржуазии. Сент-Бев раздраженно и несправедливо говорит, что лионские поэты были только грубыми и бездарными подражателями. Он говорит это потому, что в 30—40-х годах буржуазия свирепо защищалась против многочисленных своих врагов, подготовлявших февральскую револю-

цию. Класс Сент-Бева еще мирился с «Немезидой», отлично чувствуя, что сравнительно умеренный Бартеlemi защищает по-своему буржуазное общество, но не мог мириться с «Красным человеком», пропагандировавшим революцию, цареубийства, террор. Однако восемьдесят лет спустя Бертье, откопав забытое творчество Вейра и Берто, не может не испытывать прежде всего взволнованного удивления археолога (подобно критикам, «открывающим» теперь Бартеlemi). Не сочувствуя революционному пылу «Красного человека», относясь к нему, как к курьезной экзотике, насмехаясь над его преувеличениями, он вместе с тем ясно видит, что как бы ни были многочисленны влияния «Немезиды», они отнюдь не представляют собою основу, главное и наиболее ценное, что находится в «Красном человеке».

Действительно авторы «Красного человека» весьма многим обязаны «Немезиде». Мы видим прежде всего здесь целый ряд аналогичных тем: окровавленная Италия, преступления французских министров, преступления иностранных монархов. Но мы видим здесь также и некоторые другие темы, другую разработку старых тем и затем, разумеется, иное освещение, чем у Бартеlemi. «Немезида» кое в чем проявляла сдержанность: Бартеlemi, понося королей, не призывал убивать их, а говоря о всеобщем восстании, отнюдь никого не агитировал в его пользу и, напротив, советовал буржуазному обществу позаботиться о своей безопасности. «Красный человек» ведет себя существенно иначе: он агитирует за убийство королей, он нападает на самого Луи-Филиппа, которого не смел задевать Бартеlemi, он призывает к восстанию, он открыто восхваляет преимущества республиканского строя, он наконец возносит хвалу Лиону, где хочет видеть осуществление «великой социалистической мечты». В свою очередь, если Бартеlemi и Мери оставались в «Немезиде» более классиками, чем романтиками, то Берто и Вейра являются уже, подобно Барбье, чистокровными романтиками. Об этом свидетельствует ряд таких «общеромантических» особенностей, как клокочущий возбужденный пафос, свой-

¹⁾ Berthier, p. 249.

ственный их сатире, динамическое, негущееся ее развертывание, гиперболизирование образов и описаний, пророчествующий тон, насыщенность характерными для романтизма образами (кровь, скелеты, призраки, кинжалы, гильотины, восстания, казни, кошмары, библейские образы и т. п.), живописные пластические метафоры, эмоциональные эпитеты, а в области стиха — переносы строк (enjambement), двухцезурный александрийский стих, введенный Гюго, и характерный «романтический» разлом стиха на ряд отдельных проклинающих возгласов.

Принимаясь за издание «Красного человека», Вейра и Берто взяли за исходную точку одну из обычных тем «Немезиды». Так, во втором номере «Красного человека» мы видим новую уже тему разгромленного итальянского освободительного движения. Замечательно однако, что авторы «Красного человека» дают оригинальную и свежую разработку этой ходовой темы. Они пишут: «Когда Франция в июле, как христос в Солиме, поднялась вся целиком, торжествующая и величественная, когда после трех дней, при кликах об'ятого пылом народа, она взошла по дороге, покрытой ветками и кровью, на небеса, чтобы озарить отсюда мир, — Италия распротерла свои одежды у ее ног... Дважды воздевала она руки, чтобы благословить ее. Как сияла будущим ее прекрасные черные глаза!»

Франция оттолкнула Италию, и оба поэта вслед за Бартеlemi винят в этом общий характер политики буржуазной июльской монархии. В стихотворении «Бесчестья» (12 мая) «Красный человек» указывает, что мало было свергнуть Карла X и его министров. Бойцы июльской революции остановились слишком рано. «Скажите же нам, король, вы, знающий, какой ветер задул сорок лет тому назад в наши подвижные снасти, вы, видевший мрачный день — в девяносто третьем году, когда Конвент вызвал в суд Людовика XVI, вы, хлопавший в ладоши, когда ваш отец в его кровавой орденской ленте мужественно и громко подавал свой голос, вы, внимательно следивший жадным взглядом за нервными движениями

свинцового рта Капета, вы, искавший конечно на его челе, как поражал его в сердце этот голос...—если завтра Франция... с красной пеной на зубах встряхнет своей гривой, если народ... в другой раз, снова, потребовал бы своих прав и спросил бы у вас в вечер своей победы, что сделали вы с его великой историей, что же ответили бы вы? Что вы ничего не знали?»

Уже это обращение к королю лишено, как видим, всякой верноподданнической почтительности. «Красный человек» ставит вопрос просто: если король желает удержаться на троне и если Франции так уж необходим его трон, то пусть этот король блюдет традиции Великой французской революции, которая бескорыстно — как кажется поэтам — посылала босые и раздетые победоносные армии Конвента на помощь европейским народам, боровшимся против «тирании». В стихотворении же «Луи-Филиппу», появившемся на страницах «Красного человека» 30 июня, поэты обращаются с королем уже совершенно свирепо. С хищной вкрадчивостью замедляя свою речь, они наслаждаются, пугая короля рассказом о громяющих раскатах новой народной бури, которая сметет его колеблющийся трон.

Три года с той поры, когда народным Ионей,
Вас, сударь, что три дня дрожали в раскаленной
Утробе ярости, — вас, как пророка встарь,
Шквал выблевал — и вам дал кличку «Государь».

Три года, государь, как, дерзостно-упрямы
На каждом кладбище, где abortивной драмы
Актеры честные покоятся в тиши,
Мы вашу власть клеймим, — от полноты души!

Три года, государь, как нашим жестким словом

Мы гибельный подкоп под ваш подводим трон

И вот мы, государь, вам говорим

Быть может, встанут вновь свирепые, как

Те люди, в чьих сердцах — Сентябрь и Термидор¹⁾,

¹⁾ Это уравнивание Термидора с Сентярем 1793 года, как и дальше преклонение Берто и Вейра перед Шарлоттой Кордэ, поступок которой они расценивают как «борьбу с тиранией», свидетельствует о том, что ав-

Те, что идут вперед, не тратя слов задаром. —
 Чьи длани ярые — в содружестве с пожаром,
 Неопытные — те, что лить умеют кровь
 На взбухший эшафот, коль нужно, — вновь и
 вновь!

И вот наверное, машина роковая
 Стальные челюсти средь схваток раскрывая,
 Начнет опять крушить — клыком, клинка
 острей,
 Бегущих, кто куда, развенчанных царей!

«Пораздумайте над этим, принц, пораздумайте» — насмешливо мурлыкает «Красный человек». Но если Луи-Филипп и будет раздумывать над тем, что предсказывает ему пророк из Лиона, то для самого этого пророка уже ясно, что республика неизбежно должна сменить монархию. В самом деле, что такое монархия? В стихотворении «Королевская власть» «Красный человек» еще 24 апреля дал исчерпывающий ответ по этому вопросу: «Монархия — это проститутка... Угнетенные люди сделались больными. Исхудалые и бледные, они влачатся к солнцу, и колени их бессильно сгибаются, как у новорожденных. В их иссохших мускулах ничего уж не осталось от античной доблести». Республика представляет собою полную ей противоположность, и «Красный человек» описывает ее с обожанием. В стихотворении «Они сказали» жители Лиона могли прочесть 28 апреля следующее: «Республика чиста... Особенно прекрасна она, когда на арене, вознося властительной рукой свою железную перчатку, она выступает при кликах народа и звуках колокола; когда ее булыжник заставляет сваливаться троны и, отскакивая рикошетом от одного королевского венца к другому, пробивает все пять королевских черепов».

Что же представляет собою эта идеальная республика, воспеванию которой поэты «Красного человека» отдали весь свой молодой, такой прекрасный и чистый энтузиазм? Трудно ответить на этот вопрос, ограничиваясь только документацией Бертье, — что мы должны делать по необходимости. Ожидать, чтобы Бертье заинтересовался подробным изложением социальных мечтаний поэтов «Красного человека»,

горы «Красного человека» представляли себе Великую французскую революцию лишь в той концепции, которая была создана еще термидорианской реакцией.

тоже напрасно. Лишь в одном месте приводит он краткую выдержку из стихотворения «Лион», напечатанного в «Красном человеке» 19 мая, иллюстрируя эту выдержкой свою фразу «в Лионе осуществляется великая социалистическая мечта»: «Труд в настоящее время стоит собственности. Лион стал тою книгой, где почует и пробуждается эта новая эра, написанная на каждой странице, Лион, обширная мастерская, где вырабатывается тот закон, дух которого истребит голод».

Цитата эта особой ясностью не блистает. Но она является несомненным отзвуком тех утопических учений, влияние которых в Лионе в период между двух восстаний было довольно значительным.

Само собою разумеется, что, поскольку одним из авторов «Красного человека» являлся савойский эмигрант Вейра, Сардинская¹⁾ монархия подвергалась энергичному обстрелу со страниц этого воскресного журнала. Вейра неустанно нападал на короля Шарля-Альбера а когда он однажды заболел, Бертю, как выражается Бертье, «завыл один, чтобы его утешить», нападая на «тирана Сардинии». В это время распространился слух, что сардинское правительство намеревается снова зажечь «костры инквизиции».

Слух этот оказался неверным. Но скоро Вейра узнал — и это уже не был слух, — что один савойский капрал приговорен к смерти за то, что у него был обнаружен номер «Красного человека». Бертье спешит конечно опровергнуть это сообщение, приводя выдержку из «Савойской газеты», где говорится о «нечестивых и революционных сочинениях, напечатанных в Марселе и Лугано». «Никакого намека на лионского «Красного человека»! — торжественно восклицает Бертье. Однако можно подозревать, что Вейра был лучше осведомлен, чем его биограф, ибо в июле 1833 года этот редактор «Красного человека» с опасностью для жизни, но вызывая неизменную насмешку Бертье, отправляется переодетым в столицу Савойи.

¹⁾ Савойя в ту пору не была еще французской провинцией, а входила в состав Сардинской монархии.

В мае и июне 1833 года сардинское правительство предало смертной казни целый ряд лиц, уличенных в чтении революционной литературы.

... По решению дивизионного военного совета, заседающего в Шанбери от 20 сего месяца (май 1833), приговорен к позорной смертной казни капрал-фурьер Жозеф Тамбурелли, 1-го полка бригады Пиньероля... Приговор в отношении Тамбурелли приведен в исполнение утром 22 мая. («Пьемонтская газета», 22 мая 1833 г.

... Дивизионный военный совет, заседающий в Шанбери, решением от 10-го сего месяца (июнь 1833) объявлял следующий приговор: Эффиз Толяя из Сассари, лейтенант 1-го полка бригады Пиньероля, приговорен к позорной смертной казни... Приговор в отношении Толяя приведен в исполнение 11 сего месяца («Савойская газета», 22 июня 1833 года).

... По решению от 18 сего месяца (июнь 1833) военный совет Шанбери объявлял следующие приговоры: Александро де-Губернатис, уроженец Горбио, провинции Ниццы, сержант-фурьер Шарль Агости... Жан Мораска... Жозеф Пантассо... Феликс Беррути... Луи Кайре... Фердинанд Аламанно... Жозеф Кабиати... обвиняемые в том, что имели в руках мятежные сочинения и знали, не донося о том, о заговорах, направленных к низвержению правительства Его Величества для утверждения демократического правительства, которое охватило бы всю Италию, осуждены: де-Губернатис к позорной смерти... Приговор в отношении де-Губернатиса приведен в исполнение вчера утром (21 июня 1833)... («Савойская газета», 22 июня 1833 г.).

Несомненным откликом этих казней является стихотворение «Королю Сардинии», появившееся на столбцах «Красного человека» 30 июня. «Единственный до сих пор из всех легитимных чудовищ, ты еще не косил тысячами свои жертвы. Но вот, помазанный кровью, ты стал теперь настоящим королем. Имя твое будет сиять среди их знаменитых имен. Мигуэль¹⁾ и Николай²⁾ почувствуют к тебе зависть, потому что твое королевство страдает, как Варшава... Потому что никогда ни один португалец не пылал в своем трепещущем сердце такую жаждой крови к своему королю. Твой народ конечно вскрыет тебе артерии, палачей ты также найдешь на своей дороге, и из всех могил, которые ты, о, король, населяешь, одна открыта и послужит для тебя самого».

1) Мигуэль — король Португалии.
2) Николай I.

Тайно посетив Савойю, Вейра напечатал 27 июля, вернувшись в Лион, одно из самых сильных своих стихотворений «Паломничество в Савойю»: «На свежей еще могиле, где почует Толяя, я упал трепеща на колени... И там я истребовал отмщения, как за кровь Авеля, этому королю-убийце и всей его гнусной породе... Там, над Губернатисом и над Тамбурелли, святою четой героев, превознесенных смертью, я плакал от ярости... И, терзая свое оружие, по блестящей бронзе которого струились мои слезы, я дал себе железную клятву над ним и над ними, обещая тиранам адскую месть. Ах, их убили как презренных рабов, а это были благородные, смелые сердца, которые в последний час умирали без покаяния, верные своей вере мучеников, подобно последователям Христа!»

Бертье, везде и всюду старающийся скомпрометировать Вейра, как революционного поэта, спешит указать, что редактор «Красного человека» ошибся и приводит соответствующую справку из «Савойской газеты», где речь идет о том, что Толяя, Губернатис и Тамбурелли «умерли христианами». Наивный биограф и мысли не допускает, что правительственная газета могла «переиначить» факты из политических соображений или что Вейра, если умершие действительно покаяться и если это ему было известно, мог все-таки утверждать обратное из тех же агитационных соображений. Бертье не заинтересован этим: он поглощен назойливым желанием уличать Вейра в ошибках до тех самых пор, пока последний, сломленный нищетой и голодом, не «раскается» в конце концов к великой радости всех французских и савойских ханжей.

Оплакав павших революционеров, Вейра осыпает проклятиями Шарля Альбера.

Кинжал возмездия! О, сколько раз тебя
На пламенной груди искали мы, скорбя!
В те дни, как истина тиранам не по нраву,
Господь, избрав Юдифь, вручает ей расправу!
О, неужель Кордэ, ужель Джавиоли
Средь подданных твоих еще не расцвели,
И не дерзнет никто, побрезговав судьбою,
Во имя родины расправиться с тобою?

... День, когда народный вал, свирепый.
Гудя и грохоча, твой трон расколется в щепы...

Король Сардинии, король Иерусалима,
Тебя поволокут на суд неумолимый,
Тебе, дрожащему, — запомни наперед, —
Единоголосно — смерть — вотирует народ!

Три раза, государь, с веревкою на шее,
Приложишься к земле...

И вот, развенчанный, взойдешь на эшафот;
Торжественно палач твою сломает шпагу,
Отпрынет голова — и пурпурную влагу
Рукоплексаями осыплют...

И попрошайками, в далекие страны,
В изгнание вечное уйдут твои сыны!..

Нельзя отрицать, что нападение «Красного человека» на Шарля Альбера отличается исключительной оскорбительностью. Если этот пыл, если эта потребность «неистовых проклятий» и объяснялась у Вейра жаждой отмщения за многочисленных жертв савойской реакции, то с тем большим неудовольствием должна была эта реакция относиться к подобной деятельности «Красного человека». Вполне обоснованным является поэтому замечание Жюль Филиппа в его антологии «Поэты Савойи», изданной в 1865 году: «Вейра был принужден прекратить издание своего журнала вследствие представлений, сделанных французскому правительству кабинетом Турина, которого приводил в ужас этот враг, обосновавшийся на самой границе королевства»¹⁾. Ларданше²⁾, а за ним Бертье конечно считают, что Жюль Филипп ошибся, и расценивают его замечания только как «наивность». Бертье пишет: «Кабинет Турина делал французскому правительству не больше представлений, чем кабинеты С.-Петербурга, Мадрида, Лисабона и Вены, которые имели столько же поводов жаловаться на деятельность «Красного человека», как и он»³⁾. Классовая природа иронического недоверия Ларданше и Бертье слишком очевидна, чтобы нуждаться в «разъяснении». Но если ирония Ларданше основана только на его собственных домыслах, то и Бертье, несмотря на увесистый тон его цитаты, нигде не указывает, что он производил соответствующие разыскания,

скажем, в архивах министерства иностранных дел и т. п. Между тем поински, предпринятые в этом направлении, может быть, пролили бы некоторый свет, так как совершенно непонятно, почему «Красный человек» прекратил свое существование 28 августа 1833 года, всего за семь месяцев до апрельского восстания, и в ту пору, когда лионский пролетариат, оправившись после подавления ноябрьского восстания, начинал переходить к агрессивной тактике. Уже в самом начале 1833 года в Лионе имело место новое столкновение между рабочими и фабрикантами. «Если причины ноябрьского мятежа коренились в плохом положении промышленности, то столкновение 1833 года произошло в момент самого блестящего положения дел. Это благоприятное положение дел было использовано рабочими для наступления на фабрикантов... Фабриканты под угрозой прекращения работ принуждены были итти на уступки. Рабочие на этот раз оказались победителями, как это часто бывает при стачках наступательных»¹⁾.

Разбирая вопрос о причинах прекращения издания «Красного человека», Ларданше и Бертье утверждают, что журнал просто периодически терял своих читателей и наконец растерял их совсем. Оба биографа усиленно черпают свою аргументацию из стихотворения «Три месяца», появившегося 26 июня: «Пусть же хоть немного попомнят о нашей усталости, о нас, которые, борясь со всеми плотинами власти, так часто заканчивали в полночь свой рабочий день... Ведь не из-за личных целей поглощены мы этою драмой, и чтобы ее закончить, мы отдаем ей свою душу днем и ночью». Ларданше и Бертье расценивают этот отрывок как жалобный призыв поэтов к читателям, как мольбу спасти от смерти «Красного человека». Верить ли этому? Правда, «книги имеют свои судьбы», но трудно допустить, чтобы в эту пору, в пору активной подготовки апрельского восстания, в пору, когда Лион был переполнен сенсимонистами, фурьеристами, итальянскими и савойскими эмигрантами, — чтобы в эту пору и накануне второго восстания

¹⁾ Книга J. Philippe была, к сожалению, нам недоступна.

²⁾ H. Lardanchet — Les enfants perdus du romantisme, Paris 1905, p. 62.

³⁾ Berthier, p. 88.

¹⁾ С. Моносов. Два восстания лионских ткачей. «Пролетарий», 1925, стр. 37.

1834 г., которое сопровождалось республиканскими лозунгами, оппозиционные слои лионского общества не поддержали свой же оппозиционный журнал. Если бы еще авторы изменили принятому ими тону, если бы они еще «смягчили» свой наступательный пыл. После циничного стихотворения «Мое оправдание» публика сразу отшатнулась от Бартеlemi, и этот поэт потерял свою популярность. Ничего подобного мы не видим у авторов «Красного человека». Они не смиряются, не идут на уступки. Сохраняя христианско-библейскую терминологию, они готовы отказаться от самой религии, если она помешает выполнению революционного дела: «...Мы хотели бы быть настолько сильными, чтобы исхлестать ремнями всех тех, которые идут старую колеей культа, догмы и религии!» Они рушат все старое, глядят в будущее, безоговорочно связывают себя с революцией и горят одним огнем восстания. («...Антони¹⁾). душа которого была похищена у небесного огня, принадлежит теперь земле, и здесь его жизнь на каждом шагу стала нашей собственной жизнью».

В стихотворении «Кровь», напечатанном в последнем номере «Красного человека», мы видим то же благородное стремление неуклонно, прямолинейно идти к революции. Поэты слышат обычные упреки, с которыми к ним, революционерам, мятежникам, возмутителям, обращаются «мирные люди». Вот эти упреки: «Стыд и горе вам, кровожадные поэты, бессмысленные доктринеры гильотины, проповедующие миру в монтаньярском стиле сегодня эшафот, а завтра кинжал! Стыд и горе вам, которых слепой гнев заставляет ломать плотину народного потока, не желая видеть, что если бы этот поток сдвинулся со своего ложа и затопил берега, он рванулся бы в жажде разрушения и на великие города, бодрствующие по берегам, и на разбросанные деревушки, которые смотрят в небо, желая узнать, какой ветер приносит оттуда гром и молнию! Стыд и горе вам, роковые существа, обманчивыми своими голосами возбуждающие к битве, к резне, возбуждающие сатану против неба! Стыд и горе вам!..» Выслушав эти упреки, по-

эты «Красного человека» мужественно принимают их, не уклоняются от ответа. Они говорят: «...Двадцать раз нелепо и скандально окрещивали и угощали нас этими словами проклятий... Но что за дело нам, посланцам бога, пришедшим в наше время, находящимся в нашем положении, — что нам за дело до этой ненависти, до этой брани?.. У нас была заветная цель в этом мире, и мы шли, не оглядываясь по сторонам. Так и всегда хотим мы сообща продолжать до конца соединяющий нас труд, и, если нам бросят под ноги какое-нибудь человеческое препятствие, мы не заметим его: мы идем, устремив глаза к небу». Даже Бертье чувствует некоторое уважение к этой прямолинейности и не видит здесь тех преувеличений, в которых он обычно укоряет авторов «Красного человека»: «Вейра в своей революционной логике говорил, что, если принципы верны, нужно следовать им до конца и что никто не имеет права обвинять шиповник в преувеличении за то, что он производит красивые цветы, или обвинять в жестокости кактус, который выставляет напоказ пучки своих зеленых кинжалов»¹⁾.

Таким образом причины прекращения «Красного человека» зависели отнюдь не от какого бы то ни было изменения его «направления», но, с другой стороны, и упадок интереса к этому журналу представляется весьма трудно объяснимым. Вот почему версия Жюль Филиппа остается полной интереса. Причина смерти боевого и непримиримого журнала не в том конечно заключалась, что на Вейра и Берто было произведено какое-нибудь прямое полицейское давление, — они не побоялись бы рассказать об этом на страницах того же «Красного человека», — а в том, что вокруг издания «Красного человека» могла быть создана соответствующая атмосфера, где например значительную роль мог играть неведомый издатель (типограф) этого журнала. Быть может, в дальнейшем будут найдены какие-нибудь документы, которые позволят более точно разобраться в этом вопросе, остающемся в настоящее время к сожалению неразрешимым.

¹⁾ Персонаж одноименной драмы Дюма.

¹⁾ Berthier, p. 89.

За рубежом

ПОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕТКОЙ

(После английских выборов)

С. Гальперин

«Результаты поразительны, сокрушительны, — так заявил Макдональд, возвращаясь утром 28 октября из своего избирательного округа (Сихем) в Лондон. — Две победы мне особенно приятны: Томаса и Герберта Самюзля, ибо они подчеркивают национальный характер выборов. Дело идет о торжестве нации, а не партий».

Если прибавить к этому третью победу, — самого Макдональда, — которая была очень сомнительной (Макдональд прошел в Сихеме большинством всего 5 тыс. голосов против его лебористского противника), то несомненно этим почти исчерпывается список избирательных побед, «особенно приятных» английскому премьер-министру. Ибо действительно сокрушительная победа консерваторов оставляет очень мало места для «национального» энтузиазма бывшего лидера британской рабочей партии.

Можно в зависимости от партийных симпатий по-разному интерпретировать сказавшееся на исходе выборов настроение избирателей, но одно не подлежит сомнению — на предстоящие пять лет парламентской легислатуры большинство нового парламента будет определять свою политику в соответствии с своими партийными соображениями, а не с настроением голосовавшей 27 октября массы. От выборов до выборов в Англии «народ безмолвствует». Так по крайней мере дело обстоит по конституции, которая не предусматривает прямого действия трудящихся масс. Но в кризисный период капитализма случается многое, что британской конституцией не предвидено.

Большинство нового парламента не собирается пока руководиться соображениями об этих «непредвиденных» возможностях: оно исходит из того, что английский «народ» на 5 лет вручил ему власть. Состав же этого большинства изменился по сравнению с старым парламентом в очень невыгодную для Макдональда сторону.

В палате созыва 1929 г. этикетка «нацио-

нального» правительства при всей ее внутренней фальши имела определенный политический смысл: только коалиция консерваторов, либералов и макдональдовской группы создавала возможность существования правительства, против которого выступала лебористская партия. Предоставление поста главы «национального» правительства Макдональду при прежнем составе парламента также оправдывалось тем, что как бы ни была мала его фракционная группировка, но лишь разрыв Макдональда с лебористами создавал предпосылки для образования новой коалиции.

Непосредственно перед роспуском парламента лебористская оппозиционная фракция насчитывала (без макдональдовцев) 265 членов против 263 консерваторов. Из 58 либералов группа Ллойд-Джорджа также тяготела скорее к лебористам, чем к консерваторам. При таких условиях 15 «национал-лебористов» во главе с Макдональдом, провозгласившим лозунг «национального блока» и вовлекшим в него значительную часть либералов, могли еще до некоторой степени ставить свои условия консерваторам.

Состав новой палаты иной. Консерваторы имеют 473 места, составляя подавляющее большинство не только «национального блока» (556 депутатов), но и парламента в целом (615 депутатов). Оппозиция состоит всего из 56 депутатов (52 лебориста и 4 либерала группы Ллойд-Джорджа). невыяснена позиция лишь 3 внепартийных депутатов. Совершенно ясно, что с точки зрения парламентского большинства Макдональд консерваторам больше не нужен, и если они и сохраняют его у власти, то по иным соображениям, о которых мы будем говорить в дальнейшем.

Для точного представления о размерах того сдвига в настроении избирателей, который определил победу консерваторов, необходимо иметь в виду, что динамика движения голосов, поданных за каждую партию, в Англии далеко не совпадает с

кривой, определяющей изменения в распределении депутатских мест. В круглых цифрах распределение голосов между партиями определяется следующими данными: консерваторы увеличили число своих голосов по сравнению с выборами 1929 г. с 8,6 млн. до 12 млн. голосов; либералы понесли значительную потерю — с 5,3 до 2 млн. голосов; число поданных за лебористов голосов уменьшилось с 8,4 до 6,8 млн. Помимо того, «национал-лебористы», т. е. группа Макдональда, получили 340 тыс. голосов, и группа Ллойд-Джорджа с независимыми оппозиционными кандидатами собрала 700 тыс.

На распределении депутатских мест эта динамика голосования отразилась весьма своеобразно. Число собранных консерваторами голосов увеличилось на 35 проц., а количество полученных ими мандатов — почти на 80 проц; либералы (включая туда и группу Ллойд-Джорджа) потеряли половину своих прежних голосов, но число оставшихся им мест в парламенте выросло с 58 до 70; лебористы потеряли 20 проц своих избирателей, а их парламентское представительство сократилось с 285 до 52, т. е. более чем в 5 раз. Не менее курьезным представляется и тот факт, что либералы при 2½ млн. голосов (включая группу Ллойд-Джорджа) получили 70 мест в парламенте, а лебористы при 6,8 млн. голосов — только 52 места.

Но такова английская избирательная сила, лишенная подобия какой-либо пропорциональности в распределении парламентских мест. Голосование производится по округам, при чем округа неодинаковы: сельские округа, сравнительно мало населенные (обычно в них преобладают консерваторы), представлены в парламенте одним депутатом так же, как и огромные промышленные округа. Если прибавить к этому, что в отличие от всех остальных стран для избрания в парламент достаточно не абсолютное, а относительное большинство (когда голосуются не два, а более кандидатов), то ясно, что о какой-либо пропорциональности между числом собранных голосов и числом полученных мандатов не может быть и речи.

При всех своих несовершенствах с точки зрения пропорционального представительства английская избирательная система имеет ту особенность, что она все же делает очень выпуклым сдвиг в настроении избирателей: она, так сказать, утрирует его. В частности результаты выборов 27 октября ясно показывают, что сфера влияния консерваторов расширилась, а клиентура лебористов сузилась, хотя, разумеется, далеко не в таких размерах, как об этом можно было бы судить по количеству полученных теми и другими мест в парламенте.

Банкротство социал-соглашательства

В чем же дело? Почему в год величайшего экономического кризиса, в период кра-

ха политических, экономических и культурных устоев английского капитализма свыше половины английских избирателей (в том числе несомненно и некоторая часть рабочего класса) отдали свои голоса кандидатам партии буржуазной реакции? Как объяснить столь значительное падение влияния британской рабочей партии, до последнего времени фактически почти монополизировавшей политическое представительство рабочего класса в парламенте? Как могло случиться, что даже в твердых леборизма, в рабочих районах, в которых выставляли свои кандидатуры лидеры рабочей партии, — Гейдерсон, Клайне, Маргарита Бонфильд, Бен Тиллет и другие, — победа осталась за их консервативными или национал-либеральными конкурентами?

Ответ может быть только один: победу консерваторов обеспечили всем своим прошлым и настоящим поведением сами лебористы. Отход от леборизма трех его виднейших лидеров — Макдональда, Томаса и Сноудена — не мог не рассматриваться рабочими массами иначе, как доказательство внутреннего развала рабочей партии, как свидетельство ее несостоятельности перед лицом нависших над капиталистической Англией бедствий.

Раскол в самый серьезный момент лебористскую партию, Макдональд выкинул затем на новых выборах «национальное» знамя, что дало консерваторам возможность отвоевать под этой этикеткой часть лебористских избирателей. И если что-либо дает Макдональду право претендовать на пост главы консервативного правительства, так это лишь его заслуги в деле победы консерваторов на выборах.

Макдональд и Сноуден были лучшими избирательными агентами консервативной партии. Если обратиться напр. к речи, прочтенной по радио Болдуином 22 окт. т. е. за 5 дней до выборов, то мы увидим, что вся она состоит из ссылок на Макдональда и Сноудена. Сначала Болдуин использует Макдональда для доказательства того, что режим экономии и сокращения пособий безработным были абсолютной необходимостью в условиях финансового кризиса, а затем, ссылаясь на Сноудена, уверяет избирателей, что и сами лебористы были готовы идти на это сокращение и отказались от этой мысли лишь под влиянием профсоюзных лидеров, предпочитавших иные методы ограбления рабочего класса.

Сноуден оказался на этих выборах злым гением леборизма. Отбросив в сторону традицию соблюдения тайны правительственных заседаний, он безжалостно разоблачил все шатания лебористских министров в последний период существования лебористского кабинета. Он доказал, что уже лебористское правительство решило предложить парламенту закон о режиме экономии, предусматривавший сокращение расходов по фонду безработицы на

22 млн. ф., снижение зарплаты учителей на 15 проц. и других правительственных служащих — на 12½—25 проц. Когда Английский банк признал проект лебористского кабинета об экономии на сумму 56 млн. ф. недостаточным, то свыше половины членов лебористского кабинета голосовало и за дальнейшие меры по режиму экономии, в том числе и сокращение пособий безработным на 10 проц. (См. речи Болдуина и Сноудена в англ. газетах от 22 и 23 окт.)

Убийственными оказались разоблачения Сноудена и относительно позиции лебористов в вопросе о таможенных пошлинах. На выборах лебористы выступали в качестве защитников свободной торговли против протекционизма консерваторов, и Ллойд-Джордж даже рекомендовал всем сторонникам свободной торговли из либерального лагеря голосовать за лебористских кандидатов. Сноуден заявил, что в лебористском кабинете вопрос о продовольственных пошлинах голосовался дважды: предложение о 10-процентной ввозной пошлине на фабрикаты и полуфабрикаты было одобрено 15 голосами против 5, а предложение об установлении таможенных пошлин на все товары, в том числе сырье и продовольствие, было отвергнуто 15 голосами против 5, при чем лебористский министр торговли Грэхем был в числе этих 5 сторонников крайнего протекционизма.

Что оставалось прибавить к этим разоблачениям, кроме некоторого количества обычной консервативной демаггии? Болдуин напирал на то, что лебористские министры переменяли свою позицию в вопросе о снижении пособий безработным только по требованию генсовета тред-юнионов, и пустился в разглагольствования о том, что в Англии существует «демократия», а не диктатура профсоюзов, и что каждый англичанин должен быть в первую голову гражданином, а затем уже членом профсоюза.

Другой аргумент Болдуина, раздвувшийся во время выборов всей консервативной прессой, сводился к следующему: хотя национальное правительство не могло сохранить золотой стандарт, но благодаря принятым им мерам экономии оно сохранило покупательную силу фунта на внутреннем рынке и предотвратило инфляцию, при которой упало бы реальное значение не только пособий безработным, но и зарплаты занятых рабочих, при чем упало бы не на 10, а на 75 проц., как это было в Германии в годы инфляции. Таким образом «национальное правительство спасло рабочих от разорения».

Вся эта агитация, поддерживаемая Макдональдом и Сноуденом, на которых рабочие привыкли смотреть как на столпов леборизма, несомненно подрывала среди рабочих авторитет лебористской партии и являлась водой на мельницу консерваторов. Наименее сознательная часть рабочих склонна была верить, что «национальный блок» спас их от инфляции, при чем неко-

торую роль сыграло также и то обстоятельство, что в экспортных отраслях промышленности замечалось в последнее время некоторое оживление. «Morning post» печатала даже ежедневные сводки по районам об этом улучшении, прославляя благотворное влияние мер экономии, хотя на деле некоторое увеличение заграничных заказов английской текстильной и угольной промышленности было вызвано вовсе не мерами экономии, а падением фунта стерлингов на внешнем рынке на 20 проц.

В итоге консерваторы и макдональдовская группа отвоевали у лебористов полтора миллиона голосов. И если лебористы все же сохранили за собой 6,8 млн. рабочих избирателей, то это объясняется лишь тем, что больше голосовали им не за кого было. Компартия выставила своих кандидатов только в 25 округах (выставить большее число кандидатур она не могла, так как рабочие не могли собрать средств для внесения требуемых залогов), что не могло оказать решающего влияния на результаты выборов в целом. Да и в тех округах, где были выставлены кандидаты компартии, многие рабочие, сочувствовавшие компартии в ее критике лебористского соглашения, все же голосовали за лебористов, опасаясь разбивки голосов и победы еще более ненавистных им консерваторов. И если при таких условиях компартия все же увеличила число собиравшихся с ее голосов с 50 тыс. (на выборах 1929 г.) до 75 тыс., то это имеет несомненное симптоматическое значение.

Во славу британского империализма

Сохранится ли в Англии при полном засильи консерваторов в парламенте «национальное» правительство с Макдональдом во главе—вот вопрос, который естественно возникает при создавшихся условиях. С точки зрения парламентской арифметики для этого нет, как мы уже указывали, никаких оснований: консерваторы имеют полную возможность взять власть непосредственно в свои руки. Тем не менее английская консервативная пресса предпочитает в настоящее время не муссировать этот вопрос. Не только «Times», который почти превратился в лейборган Макдональда, но и «Morning post» считают необходимым продолжать разыгрывать на выборах комедию «национального единства». «Одна нация—одна партия»—провозглашает в своей передовой и в ряде аншлагов «Morning post» от 29 октября, когда уже определилась полная победа консерваторов.

Само собой разумеется, что некоторую роль здесь играет соблюдение «приличий». Неудобно ведь на другой день после выборов разоблачать перед избирателями, что уважаемая «нация» была использована на выборах лишь для победы консерваторов. Но основная причина лежит не в этих тонкостях.

Коалиция с национал-лебористами и национал-либералами и даже предоставление Макдональду первого места в правительстве сами по себе очень мало стесняют консерваторов. «Союзники» по сути дела являются пленниками консерваторов. И они сами это прекрасно сознают. Когда на выборах против Герберта Самюэля (лидер национал-либералов) была выставлена кандидатура консерватора, — впрочем провалившаяся, — то Самюэль воскликнул: «Я не знал, что консерваторы расстреливают своих пленных». И Макдональд, и Самюэль смогут проводить в «национальном» правительстве лишь политику консерваторов. А когда дело дойдет до серьезного конфликта, то им придется самим очистить место для кабинета Болдуина.

Но это — дело будущего. Самого Макдональда ни в какой мере не привлекает перспектива сменить пост главы правительства на роль лидера ничтожной группы в 14 человек и он естественно будет стремиться возможно дольше ладить со своими консервативными коллегами, тем более, что принципиальных расхождений у них очень мало.

Консерваторы же еще нуждаются в «национальном» прикрытии своей политики по соображениям и внутренней, и внешней, и финансовой политики. С точки зрения внутренней политики они не могут игнорировать того факта, что даже в исключительно благоприятных для них условиях избирательной кампании оппозиция все же собрала свыше 7 млн. голосов. Консерваторы учитывают, что их основная политико-экономическая задача — восстановление хозяйственного равновесия за счет снижения жизненного уровня прелетарата — неизбежно вызовет сильный отпор рабочих масс. Соучастие в этой политике Макдональда будет ими использовано для внесения разброда в ряды рабочего класса.

С точки зрения финансовой политики лозунг «национального единства» имеет более крупное значение. Он играет роль внешнего показателя «устойчивости» социально-политического уклада Англии, и консерваторы рассчитывают, что он поможет и восстановлению устойчивости фунта стерлингов. Практика однако показывает, что эти политико-психологические соображения являются очень слабым заслоном против разрушительного действия финансово-экономического кризиса, который имеет гораздо более глубокие корни, чем партийный состав английского правительства. Достаточно указать для этого, что уже через два-три дня после выборов курс фунта стерлингов снова понизился, упав ниже той точки, на которой он стоял перед выборами.

Консерваторам придется прибегнуть к более сильно действующим средствам, в

частности к излюбленной ими протекционистской политике. Эта система должна, с одной стороны, дать бюджету некоторые добавочные средства и, с другой — оградить от иностранного импорта те отрасли промышленности, которые работают на национальный английский рынок. Ее отрицательной стороной является увеличение трудностей для экспорта отраслей промышленности, ибо протекционизм в Англии вызывает соответствующие контрмеры со стороны других государств против ввоза английских товаров.

Консерваторы рассчитывают однако, что сокращение экспорта в другие страны они возместят увеличением экспорта в доминионы и колонии. Средством для этого является система имперского предпочтения, заключающаяся в том, что Англия, с одной стороны, и доминионы — с другой, взаимно предоставляют друг другу льготный тариф, создающий привилегированное положение для английских товаров на рынке доминионов и для продукции доминионов — на английском рынке.

В этом отношении для консерваторов играют роль не только и не столько экономические соображения, сколько политические. Система имперского предпочтения должна, по мысли консерваторов, укрепить пошатнувшуюся связь между частями Британской империи. А это в свою очередь должно усилить мощь британского империализма.

Эта забота об укреплении империалистического могущества Британии воодушевляет сейчас не только консерваторов, но и весь национальный блок в целом. И недаром Сноуден в своей оценке исхода выборов подчеркнул, что они «бесконечно укрепляют позицию Великобритании во всем мире» (см. интервью с Сноуденом в «Morning post» от 29 октября).

Мы несомненно стоим перед переходом Англии к более активной империалистической политике. Традиционная установка консерваторов на совместную с Францией борьбу против американского империализма снова станет решающей осью международной политики. Это предопределяет и финансовое сотрудничество фунта и франка. И недаром французская пресса, которая отдает себе отчет в том, что введение протекционистской системы в Англии является сильным ударом по французскому экспорту, все же считает, что эта экономическая невыгода компенсируется политическими преимуществами франко-английского сближения.

Обострение империалистических противоречий как в экономической области (в связи с переходом Англии к протекционистской системе), так и в политической, — англо-французская Антанта всегда играла в этом отношении огромную роль, — вот основной итог английских выборов с международной точки зрения.

Книжное обозрение

1. НИКОЛАЙ МОСКВИН „Гибель реального“. Бориса Анибала. — 2. ОЛЬГА ФОРШ „Сумасшедший корабль“. Л. ДобрANOва. 3. Н. ЮРГИН „Перпендикуляр“. Я Бучилова. — 4. М. ГАЛЯУ „Муть“. Бориса Гроссмана — 5. Н. АШУКИН „Литературная мозаика“ К. Локса

Николай Москвин. — «Гибель реального». Роман-хроника 1912—1919 гг. ГИХЛ. М.—Л. Стр. 304. Ц. 2 р. 40 коп.

Москвину так и не удалось погубить реального: за его классами, учительской, коридорами и актовым залом почти не видно единой советской трудовой школы, тенью возникающей где-то на третьем плане.

Все, что относится к реальному, написано во всяком случае неплохо. Автор видит и знает то, что пишет, но его реалисты, их родители, учителя и наставники значительно выиграли бы, если бы он не так легко скользил по книге. В иных случаях трудно установить, что более интересует автора—классовое расслоение учащихся или анекдоты о в'езде Иисуса в Иерусалим на извозчике и о крокодиле с усами.

Гибели старорежимной средней школы, гибели, обусловленной падением всего режима и потому неизбежной, в его книге нет. Есть просто реальное, «реалка», продолжающая свое существование и после революции, лишь перестроившись, но не истребив своего духа.

Роман имеет претензии на оригинальность: вместо обычного деления на части он делится на «этажи»—первый, второй и третий, соответственно младшим, средним и старшим классам. Эту постройку предваряет «вход», обыкновенно называемый прологом или вступлением. Изложение свидетельствует о стилистических ухищрениях автора. Влияние на него Андрея Белого довольно очевидно, но не благотворно. При всем этом необыкновенном великолепии грамотность у Москвина не в чести, так напр. на стр. 12 он неожиданно подкатывает к изумленному читателю «тонконогую (?!) пролетку».

Борис Анибал.

Ольга Форш. — «Сумасшедший корабль». Издательство писателей в Ленинграде. 1931 г. Стр. 187. Ц. 1 р. 70 к., пер. 30 коп.

Тема столкновения рафинированного интеллигентского сознания и революционной действительности достаточно широко развита в нашей литературе. Можно сказать, что не было почти ни одного писателя из

кругов «попутнической» интеллигенции, который в той или иной мере не отдал бы дань этой теме. В литературе революционных лет можно найти все оттенки интеллигентского осознания революции, от активной ее неприятия и осмеяния, от «обиды» той или иной степени и качества до всевозможнейших попыток включения себя в революционную действительность, вплоть до активного соучастия в социалистическом строительстве, ведущего к коренной самопеределке буржуазно-интеллигентского сознания.

Также разнообразен и топ «исповедывающихся» интеллигентов—от тяжких сетований унтер-офицерской вдовы Пошлепкиной, которая сама себя считает, до радостной бодрости давно ищущего и наконец найденного человека, от высокомерной претензии на духовную экстерриториальность до «выдавливании» из себя «индивидуалистического гноя».

3—5 лет назад именно эта тема давала тон почти всему попутническому крылу литературы. Только реконструктивный период резко «сократил штаты» разбушевавшихся интеллигентских чувств и отодвинул эту начавшую уже набивать оскомину тему другими безмерно важными: темой рождения нового коллективистического человека и темой рождения самой новой действительности.

В «Сумасшедшем корабле» Ольга Форш влечет читателя тематически назад, к уже пройденному этапу, вновь ставя вопрос об интеллигенции в революции на материале эпохи гражданской войны и бытия и бытия в ней людей искусства.

«Сумасшедший корабль»—книга острая и, несмотря на устарелость и, надо прямо сказать, несвоевременность ее тематики, волнующая.

Пусть в ней решается в основном уже решенный вопрос об искусстве в революции, о пределах возможной и нужной автономии этого искусства и пусть он решается неверно под углом зрения символических реминисценций, книга жива проникающим ее духом искреннего и глубокого волнения, в котором слышится набрав-

шие, хотя и незаконные, из ошибочных торней идеализма возникшие недоумение и обида.

«Сумасшедший корабль» переключается в этом отношении с «Братями» К. Федина и с «Завистью» Ю. Олеси. Но у О. Форш нет ни академического спокойствия и холодка К. Федина, ни самобичующей, самоозоблачающей иронии Ю. Олеси. Изящная и женственно-мягкая ирония О. Форш направлена не по адресу индивидуалистического сознания художника (в этом отношении лирические ноты у нее все время заглушают кое-где возникающую иронию и самокритику), а по адресу эпохи, якобы грубо, элементарно и нетактично подходящей к проблеме искусства.

Именно этот основной идеологический напор книги, не говоря уже о бесчисленных выпадах против «серости» и «тусклости» выступивших на авансцену истории масс, дает книге ее несомненный реакционный отпечаток, делает ее в условиях 1931 г. близкой к необуржуазной литературе.

Для О. Форш «Сумасшедший корабль» — большой шаг вправо.

Но эта книга, заслуживающая идеологического осуждения, не может быть просто отброшена как вредная. В ней есть, помимо чрезвычайно интересного литературного оформления, развития сюжета по принципу ассоциации, «взрывание пограничных столбов времени», редкий жанр, представляющий любопытное смещение повести, мемуара и литературно-философского этюда, помимо большой культурности и свежести, хотя и несколько вычурного языка, ценное содержание. О. Форш с болью, с надрывом, с насмешкой, с лирическим волнением, между прочим показывая ряд больших людей искусства, говорит иттично о главным для представляемой ею социальной группы — о возможности и праве сохранить творческую индивидуальность, как кажется О. Форш, не укладывающуюся на «Прокрустово ложе» пролетарской идеологии.

Решительно отмечая это идеалистическое по происхождению и реакционное по политическому значению утверждение, мы не можем не считать интересным и значительным его талантливое высказывание автором, в основном принявшим революцию и искренно желающим включиться в революционную действительность.

Книги, подобные «Сумасшедшему кораблю», помогают понять психологию многочисленной, но благодаря своей исключительной квалификации, важной группы интеллигенции, которая, искренно сотрудничая с пролетариатом, только постепенно, по мере углубления и расширения революции, обнаруживала свой глубокий и трагический разрыв с пролетарским мировоззрением в наиболее чувствительной для нее области — области профессионального призвания.

Без такого понимания невозможно и самое воздействие на творчество этой груп-

пы, от которого преждевременно и терпацио-нально было бы отказываться.

Ю. Добранов.

Н. Юргин. — «Перпендикуляр». «Изд. писателей в Ленинграде». 1931 г. Стр. 162. Цена 1 р. 50 коп., пер. 30 коп.

Проблема литературной тематики — актуальная и серьезная проблема. Все более и более возрастает требование целеустремленности, идейности художественной литературы.

И это понятно. Литература является одним из могучих рычагов идеологического воздействия на психику масс, одним из рычагов социалистического переустройства.

Прочтя книжку Н. Юргина «Перпендикуляр», невольно ставишь себе (и издательству) вопрос: «кому это нужно?» Зачем усугублять бумажный кризис, издавая подобные вещи? Автор па протяжении 150 страниц повествует о «житии» и похождениях некоего Горбуна, молодого ученого-правоведа, которого природа надарила, с одной стороны, уродством, и, с другой — недюжинным умом и богатой фантазией.

Представляя читателю своего героя, автор развертывает философские воззрения Горбуна:

«Он был виталистом (разумеется, с приставкой «нео») и копекструитировал свой витализм по Дришу».

Далее автор показывает, как его герой понимал и истолковывал мир явлений, «который представляет собой не что иное, как совокупность огромного количества перпендикуляров. Каждый предметный феномен, каждая вещь и живое существо и каждый человек — перпендикуляр. Вы, читатель, и я, любой из наших собеседников, и сам Горбун, мы — перпендикуляры. И кошка — перпендикуляр, бухта — перпендикуляр, Волга — перпендикуляр, мыло — перпендикуляр, шина — перпендикуляр, Пушкин — перпендикуляр, Шуппе — перпендикуляр, свадьба — перпендикуляр, ведьма — перпендикуляр!» (?)

После такой «философической» тарбарщины автор виталкивает своего героя в реальный мир, где разыгрывается Февральская революция, и таким образом под произведение подводится «социальный базис».

Испугавшись общей неурядицы («как бы чего не вышло!»), Горбун спешает устроить свои личные семейные дела: женится на такой же, как и он, патологической особе (излобленные герои автора!) и затем уже выглядывает в окно своей семейной квартиры. Благодаря случайности (встреча со школьным товарищем, впоследствии видимым анархистом) Горбун втягивается в политическую жизнь, становится одним из «лидеров» анархистской коммуны.

Далее описывается жизнь и работа этой организации и наконец разгром ее.

Вот содержание, вся «соль» произведения.

Еще более бессодержателен и второй рассказ — «Самозгаец», где тоже герой-

одиночка (я тоже урод—хромоногий!) ищет применения своих способностей и талантов, по и его предприятие тоже кончается крахом.

Автор старается щегольнуть ученостью, богатством эрудиции, что сказывается в стиле повествования, но все же книжка от этого не выигрывает и остается ненужным чтивом, не дающим, как говорится, ничего ни уму, ни сердцу.

Я. Бучилов.

М. Галаю.—«Муть». Перевод с татарского Гайши Шариповой. Предисловие И. Бороздина. Изд. ГИХЛ (серия татарской литературы). Стр. 238. Ц. 1 р. 85 к.

М. Галаю прекрасно знает быт старой татарской деревни, знает его как исследователь, до мельчайших деталей. С точки зрения «объективного» познания татарской деревни роман «Муть» дает много ценного материала.

«Муть» следует характеризовать как бытовой роман-хронику. Действие его разворачивается чрезвычайно замедленными темпами. Автор, весьма подробно показывая ряд семейств, рассказывает о них с нерушимым эпическим спокойствием. Время действия—конец XIX века.

Одна из центральных сюжетных линий романа—борьба между Шамси—муллой и Сабирзяном—муэдзином. Автору удалось показать подноготную этой борьбы, показать, что священнослужители-конкуренты не гнушались никакими средствами для укрепления собственного положения и ущемления противника. Очень интересны отдельные эпизоды борьбы муллы с муэдзином; убедительно вскрывается продажа мусульманской церкви. Интересен показ расслоения патриархальной семьи Муллибаевых.

Сисключительной хронологической и логической последовательностью показывает Галаю позорный путь, которым добились богатства и экономического авторитета купцы.

Роман М. Галаю читается с интересом, а в отдельных эпизодах и страницах его (например сбор оброка во время голода) ощущается незаурядный художественный темперамент автора. По приемам работы, по стилю, по знанию быта татарской деревни М. Галаю во многом напоминает известного татарского писателя Галимджана Ибрагимова.

Однако все эти положительные качества не могут снять основного греха с произведения. «Грех» этот заключается в том, что развернутая в романе критика самодержавия (которая по сравнению со второй слабее в первой части «Мути»), духовенства и купечества не освещена диалектически ни ведущей идеей, ни человеком, который был бы носителем революционных идей. Может быть, М. Галаю хотел сделать революционером бедняка, неукротимого бунтаря Таджи, но тогда попытка автора не удалась,

ибо образ этого крестьянина, наделенного некоторыми анархическими чертами, художественно и политически по существу не расшифрован.

Борис Гроссман.

Н. Ашукин.—«Литературная мозаика». Очерки—неизданные материалы. Моск. Тов. Писателей. 1931 г. Стр. 211. Ц. 1 р. 60 коп.

В книгу Ашукина вошли статьи о Пушкине, Некрасове, Льве Толстом, Бартенева и Брюсове. Автор строго ограничил свои задачи историко-литературными и бытовыми деталями, не задаваясь целью дать критическую оценку творчества того или иного писателя. Такая книга, обличающая полное знание изучаемой эпохи, нужна в наше время, сводящее свои счеты с историей и особенно остро чувствующее прошлое. Каждая деталь биографии, каждая бытовая подробность в руках умелого и опытного исследователя поддержит и укрепит теоретический вывод, и, что важнее всего, передаст живое ощущение прошлого. С этой точки зрения книга Ашукина безусловно интересна. Умелый подбор мемуарных данных о Пушкине напомнит живой облик поэта, рассказ о помещице-беге охотника Некрасова и его завещании целиком восстановит житейский образ другого. А «день Льва Толстого» сжато передает основные черты его писательского быта.

Несколько особняком выделяются статьи о Брюсове. Первая статья о нем и Бартенева особенно хорошо удалась автору и отмечена чертами подлинной художественной изобразительности. Чудаковатый образ старика Бартенева прямо просится в исторический роман, а прекрасно выдержанный и верно понятый образ молодого Брюсова дан в качестве любопытного контраста, в то же время близкого своею любовью к истории.

Небезынтересны и два небольших очерка о стихотворении Брюсова «Каменщик» и его увлечении авионавтикой.

Строгий и точный подбор материала, умелая композиция, четкий и твердый рисунок—все это неотъемлемые положительные качества автора, сообщающие его книге ту хорошую объективность, когда говорят сами факты и хронологические даты ощущаются, как живые вехи пройденного историей пути. На вид автору нужно поставить недостаточно последовательно проведенный метод пользования материалом. Иногда он настолько увлекается, что начинает писать на языке изучаемой эпохи, в то время как следовало бы более резко подчеркнуть ее особенности со стороны.

К. Локс.

Редакция:

И. М. Гронский
А. Г. Мальшин
В. П. Полонский
В. И. Соловьев

Отв. редактор
В. П. Полонский